# Карты
# Нечисть
# Безумие



РАССКАЗЫ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

# Карты. Нечисть. Безумие. Рассказы русских писателей

## Леонид Николаевич Андреев, Михаил Юрьевич Лермонтов, Александр Иванович Куприн, Александр Степанович Грин, Валерий Яковлевич Брюсов, Николай Васильевич Гоголь


Аннотация
Карты. Нечисть. Безумие
Николай Гоголь. Портрет
  Часть I
  Часть II
Михаил Лермонтов. Штосс
  1
  2
  3
Валерий Брюсов. Студный бог
Леонид Андреев. Воскресение всех мертвых
  Мечта
  Дневник Сатаны
    I
    II

III
IV
Александр Куприн
Звезда Соломона
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ночная фиалка
Александр Грин
Мрак
I
II
Серый автомобиль
I
II
III
IV

V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

## Аннотация

Все страсти людские нашли отражение на страницах этого сборника: тут и честолюбие на грани с одержимостью, и сжигающий все рамки приличия азарт, и хтонический страх перед чем-то древним и неизведанным…

А главное – безграничное любопытство в исследовании всех темных уголков человеческой души. Да такое, что сам Сатана спускается на землю и пишет свой дневник.

Здесь вы найдете избранные мистические произведения от лучших русских прозаиков середины XIX – начала XX века – Гоголя, Андреева, Куприна и др.

Дизайн этого лимитированного издания серии «Яркие страницы» вдохновлен принтом обоев Уильяма Морриса, созданным в 1896 году для поместья Комптон-холл близ Вулвергемптона.

# Карты. Нечисть. Безумие

© Мартыненко А.М., 2024
© Новгородова М.И., 2024
© Парамонова А.М., составление, 2024
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

# Николай Гоголь
# Портрет

# Часть I

Нигде не останавливалось столько народа, как перед картинною лавочкою на Щукином дворе. Эта лавочка представляла, точно, самое разнородное собрание диковинок: картины большею частью были писаны масляными красками, покрыты темно-зеленым лаком, в темно-желтых мишурных рамах. Зима с белыми деревьями, совершенно красный вечер, похожий на зарево пожара, фламандский мужик с трубкою и выломанною рукою, похожий более на индейского петуха в манжетах, нежели на человека, — вот их обыкновенные сюжеты. К этому нужно присовокупить несколько гравированных изображений: портрет Хозрева-Мирзы в бараньей шапке, портреты каких-то генералов в треугольных шляпах, с кривыми носами. Сверх того, двери такой лавочки обыкновенно бывают увешаны связками произведений, отпечатанных лубками на больших листах, которые свидетельствуют самородное дарованье русского человека. На одном была царевна Миликтриса Кирбитьевна, на другом город Иерусалим, по домам и церквам которого без церемонии прокатилась красная

краска, захватившая часть земли и двух молящихся русских мужиков в рукавицах.

Покупателей этих произведений обыкновенно немного, но зато зрителей — куча. Какой-нибудь забулдыга-лакей уже, верно, зевает перед ними, держа в руке судки с обедом из трактира для своего барина, который, без сомнения, будет хлебать суп не слишком горячий. Перед ним уже, верно, стоит в шинели солдат, этот кавалер толкучего рынка, продающий два перочинные ножика; торговка-охтенка с коробкою, наполненною башмаками. Всякий восхищается по-своему: мужики обыкновенно тыкают пальцами; кавалеры рассматривают серьезно; лакеи-мальчики и мальчишки-мастеровые смеются и дразнят друг друга нарисованными карикатурами; старые лакеи во фризовых шинелях смотрят потому только, чтобы где-нибудь позевать; а торговки, молодые русские бабы, спешат по инстинкту, чтобы послушать, о чем калякает народ, и посмотреть, на что он смотрит.

В это время невольно остановился перед лавкою проходивший мимо молодой художник Чартков. Старая шинель и нещегольское платье показывали в нем того человека, который с самоотвержением предан был своему труду и не

имел времени заботиться о своем наряде, всегда имеющем таинственную привлекательность для молодости. Он остановился перед лавкою и сперва внутренно смеялся над этими уродливыми картинами. Наконец овладело им невольное размышление: он стал думать о том, кому бы нужны были эти произведения. Что русский народ заглядывается на *Ерусланов Лазаревичей,* на *объедал и обпивал,* на *Фому и Ерему,* это не казалось ему удивительным: изображенные предметы были очень доступны и понятны народу;

но где покупатели этих пестрых, грязных масляных малеваний? кому нужны эти фламандские мужики, эти красные и голубые пейзажи, которые показывают какое-то притязание на несколько уже высший шаг искусства, но в котором выразилось всё глубокое его унижение? Это, казалось, не были вовсе труды ребенка-самоучки. Иначе в них бы, при всей бесчувственной карикатурности целого, вырывался острый порыв. Но здесь было видно просто тупоумие, бессильная, дряхлая бездарность, которая самоуправно стала в ряды искусств, тогда как ей место было среди низких ремесл, бездарность, которая была верна, однако ж, своему призванию и внесла в самое искусство свое ремесло. Те же краски, та же манера, та же

набившаяся, приобыкшая рука, принадлежавшая скорее грубо сделанному автомату, нежели человеку!.. Долго стоял он пред этими грязными картинами, уже, наконец, не думая вовсе о них, а между тем хозяин лавки, серенький человечек во фризовой шинели, с бородой, небритой с самого воскресенья, толковал ему уже давно, торговался и условливался в цене, еще не узнав, что ему понравилось и что нужно.

— Вот за этих мужичков и за ландшафтик возьму беленькую. Живопись-то какая! Просто глаз прошибет; только что получены с биржи; еще лак не высох. Или вот зима, возьмите зиму! Пятнадцать рублей! Одна рамка чего стоит. Вон она какая зима! — Тут купец дал легкого щелчка в полотно, вероятно, чтобы показать всю доброту зимы. — Прикажете связать их вместе и снести за вами? Где изволите жить? Эй, малый, подай веревочку.

— Постой, брат, не так скоро, — сказал очнувшийся художник, видя, что уж проворный купец принялся не в шутку их связывать вместе. Ему сделалось несколько совестно не взять ничего, застоявшись так долго в лавке, и он сказал:

— А вот постой, я посмотрю, нет ли для меня чего-нибудь здесь, — и, наклонившись, стал до-

ставать с полу наваленные громоздко, истертые, запыленные старые малеванья, не пользовавшиеся, как видно, никаким почетом. Тут были старинные фамильные портреты, которых потомков, может быть, и на свете нельзя было отыскать, совершенно неизвестные изображения с прорванным холстом, рамки, лишенные позолоты, — словом, всякий ветхий сор. Но художник принялся рассматривать, думая втайне: «Авось что-нибудь и отыщется». Он слышал не раз рассказы о том, как иногда у лубочных продавцов были отыскиваемы в сору картины великих мастеров.

Хозяин, увидев, куда полез он, оставил свою суетливость и, принявши обыкновенное положение и надлежащий вес, поместился сызнова у дверей, зазывая прохожих и указывая им одной рукой на лавку: «Сюда, батюшка, вот картины! зайдите, зайдите; с биржи получены». Уже накричался он вдоволь и большею частью бесплодно, наговорился досыта с лоскутным продавцом, стоявшим насупротив его также у дверей своей лавочки, и, наконец, вспомнив, что у него в лавке есть покупатель, поворотил народу спину и отправился вовнутрь ее. «Что, батюшка, выбрали что-нибудь?» Но художник уже стоял несколько

времени неподвижно перед одним портретом в больших, когда-то великолепных рамах, но на которых чуть блестели теперь следы позолоты.

Это был старик с лицом бронзового цвета, скулистым, чахлым; черты лица, казалось, были схвачены в минуту судорожного движенья и отзывались не северною силою. Пламенный полдень был запечатлен в них. Он был драпирован в широкий азиатский костюм. Как ни был поврежден и запылен портрет, но когда удалось ему счистить с лица пыль, он увидел следы работы высокого художника. Портрет, казалось, был не кончен; но сила кисти была разительна. Необыкновеннее всего были глаза: казалось, в них употребил всю силу кисти и всё старательное тщание свое художник. Они просто глядели, глядели даже из самого портрета, как будто разрушая его гармонию своею странною живостью. Когда поднес он портрет к дверям, еще сильнее глядели глаза. Впечатление почти то же произвели они и в народе. Женщина, остановившаяся позади его, вскрикнула: «Глядит, глядит», и попятилась назад. Какое-то неприятное, непонятное самому себе чувство почувствовал он и поставил портрет на землю.

— А что ж, возьмите портрет! — сказал хозяин.

— А сколько? — сказал художник.

— Да что за него дорожиться? три четвертачка давайте!

— Нет.

— Ну, да что ж дадите?

— Двугривенный, — сказал художник, готовясь идти.

— Эк цену какую завернули! да за двугривенный одной рамки не купишь. Видно, завтра собираетесь купить? Господин, господин, воротитесь! гривенничек хоть прикиньте. Возьмите, возьмите, давайте двугривенный. Право, для почину только, вот только, что первый покупатель.

За сим он сделал жест рукой, как будто бы говоривший: «Так уж и быть, пропадай картина!»

Таким образом Чартков совершенно неожиданно купил старый портрет и в то же время подумал: «Зачем я его купил? на что он мне?» Но делать было нечего. Он вынул из кармана двугривенный, отдал хозяину, взял портрет под мышку и потащил его с собою. Дорогою он вспомнил, что двугривенный, который он отдал, был у него последний. Мысли его вдруг омрачились; досада и равнодушная пустота обняли его в ту же минуту. «Черт побери! гадко на све-

те!» — сказал он с чувством русского, у которого дела плохи. И почти машинально шел скорыми шагами, полный бесчувствия ко всему. Красный свет вечерней зари оставался еще на половине неба; еще домы, обращенные к той стороне, чуть озарялись ее теплым светом; а между тем уже холодное синеватое сиянье месяца становилось сильнее. Полупрозрачные легкие тени хвостами падали на землю, отбрасываемые домами и ногами пешеходцев. Уже художник начинал мало-помалу заглядываться на небо, озаренное каким-то прозрачным, тонким, сомнительным светом, и почти в одно время излетали из уст его слова: «Какой легкий тон!», и слова: «Досадно, черт побери!» И он, поправляя портрет, беспрестанно съезжавший из-под мышек, ускорял шаг.

Усталый и весь в поту, дотащился он к себе в Пятнадцатую линию на Васильевский остров.

С трудом и с отдышкой взобрался он по лестнице, облитой помоями и украшенной следами кошек и собак. На стук его в дверь не было никакого ответа: человека не было дома. Он прислонился к окну и расположился ожидать терпеливо, пока не раздались, наконец, позади его шаги парня в синей рубахе, его приспешника, натурщика, краскотерщика и выметателя полов, пачкавшего

их тут же своими сапогами. Парень назывался Никитою и проводил всё время за воротами, когда барина не было дома. Никита долго силился попасть ключом в замочную дырку, вовсе незаметную по причине темноты. Наконец дверь была отперта. Чартков вступил в свою переднюю, нестерпимо холодную, как всегда бывает у художников, чего, впрочем, они не замечают. Не отдавая Никите шинели, он вошел вместе с нею в свою студию, квадратную комнату, большую, но низенькую, с мерзнувшими окнами, уставленную всяким художеским хламом: кусками гипсовых рук, рамками, обтянутыми холстом, эскизами начатыми и брошенными, драпировкой, развешанной по стульям. Он устал сильно, скинул шинель, поставил рассеянно принесенный портрет между двух небольших холстов и бросился на узкий диванчик, о котором нельзя было сказать, что он обтянут кожею, потому что ряд медных гвоздиков, когда-то прикреплявших ее, давно уже остался сам по себе, а кожа осталась тоже сверху сама по себе, так что Никита засовывал под нее черные чулки, рубашки и всё немытое белье. Посидев и разлегшись, сколько можно было разлечься на этом узеньком диване, он, наконец, спросил свечу.

— Свечи нет, — сказал Никита.

— Как нет?

— Да ведь и вчера еще не было, — сказал Никита.

Художник вспомнил, что действительно и вчера еще не было свечи, успокоился и замолчал. Он дал себя раздеть и надел свой крепко и сильно заношенный халат.

— Да вот еще, хозяин был, — сказал Никита.

— Ну, приходил за деньгами? знаю, — сказал художник, махнув рукой.

— Да он не один приходил, — сказал Никита.

— С кем же?

— Не знаю, с кем… какой-то квартальный.

— А квартальный зачем?

— Не знаю, зачем; говорит, затем, что за квартиру не плачено.

— Ну, что ж из того выйдет?

— Я не знаю, что выйдет; он говорил: коли не хочет, так пусть, говорит, съезжает с квартиры; хотели завтра еще прийти оба.

— Пусть их приходят, — сказал с грустным равнодушием Чартков. И ненастное расположение духа овладело им вполне.

Молодой Чартков был художник с талантом, пророчившим многое: вспышками и мгновенья-

ми его кисть отзывалась наблюдательностию, соображением, шибким порывом приблизиться более к природе. «Смотри, брат, — говорил ему не раз его профессор, — у тебя есть талант; грешно будет, если ты его погубишь. Но ты нетерпелив. Тебя одно что-нибудь заманит, одно что-нибудь тебе полюбится — ты им занят, а прочее у тебя дрянь, прочее тебе нипочем, ты уж и глядеть на него не хочешь. Смотри, чтоб из тебя не вышел модный живописец. У тебя и теперь уже что-то начинают слишком бойко кричать краски. Рисунок у тебя не строг, а подчас и вовсе слаб, линия не видна; ты уж гоняешься за модным освещеньем, за тем, что бьет на первые глаза. Смотри, как раз попадешь в английский род. Берегись; тебя уж начинает свет тянуть; уж я вижу у тебя иной раз на шее щегольской платок, шляпа с лоском… Оно заманчиво, можно пуститься писать модные картинки, портретики за деньги. Да ведь на этом губится, а не развертывается талант. Терпи. Обдумывай всякую работу, брось щегольство — пусть их набирают другие деньги. Твое от тебя не уйдет».

Профессор был отчасти прав. Иногда хотелось, точно, нашему художнику кутнуть, щегольнуть, — словом, кое-где показать свою молодость.

Но при всем том он мог взять над собою власть. Временами он мог позабыть всё, принявшись за кисть, и отрывался от нее не иначе, как от прекрасного прерванного сна. Вкус его развивался заметно. Еще не понимал он всей глубины Рафаэля, но уже увлекался быстрой, широкой кистью Гвида, останавливался перед портретами Тициана, восхищался фламандцами. Еще потемневший облик, облекающий старые картины, не весь сошел пред ним; но он уж прозревал в них кое-что, хотя внутренно не соглашался с профессором, чтобы старинные мастера так недосягаемо ушли от нас; ему казалось даже, что девятнадцатый век кое в чем значительно их опередил, что подражание природе как-то сделалось теперь ярче, живее, ближе; словом, он думал в этом случае так, как думает молодость, уже постигшая кое-что и чувствующая это в гордом внутреннем сознании. Иногда становилось ему досадно, когда он видел, как заезжий живописец, француз или немец, иногда даже вовсе не живописец по призванью, одной только привычной замашкой, бойкостью кисти и яркостью красок производил всеобщий шум и скапливал себе вмиг денежный капитал. Это приходило к нему на ум не тогда, когда, занятый весь своей работой, он забывал

и питье, и пищу, и весь свет, но тогда, когда, наконец, сильно приступала необходимость, когда не на что было купить кистей и красок, когда неотвязчивый хозяин приходил раз по десяти на день требовать платы за квартиру. Тогда завидно рисовалась в голодном его воображеньи участь богача-живописца; тогда пробегала даже мысль, пробегающая часто в русской голове: бросить всё и закутить с горя назло всему. И теперь он почти был в таком положении.

— Да! терпи, терпи! — произнес он с досадою. — Есть же, наконец, и терпенью конец. Терпи! а на какие деньги я завтра буду обедать? Взаймы ведь никто не даст. А понеси я продавать все мои картины и рисунки, за них мне за все двугривенный дадут. Они полезны, конечно, я это чувствую: каждая из них предпринята недаром, в каждой из них я что-нибудь узнал. Да ведь что пользы? этюды, попытки — и всё будут этюды, попытки, и конца не будет им. Да и кто купит, не зная меня по имени? да и кому нужны рисунки с антиков из натурного класса, или моя неоконченная любовь Психеи, или перспектива моей комнаты, или портрет моего Никиты, хотя он, право, лучше портретов какого-нибудь модного живописца? Что в самом деле? Зачем я мучусь и, как ученик,

копаюсь над азбукой, тогда как мог бы блеснуть ничем не хуже других и быть таким, как они, с деньгами.

Произнесши это, художник вдруг задрожал и побледнел: на него глядело, высунувшись из-за поставленного холста, чье-то судорожно искаженное лицо. Два страшные глаза прямо вперились в него, как бы готовясь сожрать его; на устах написано было грозное повеленье молчать. Испуганный, он хотел вскрикнуть и позвать Никиту, который уже успел запустить в своей передней богатырское храпенье; но вдруг остановился и засмеялся. Чувство страха отлегло вмиг. Это был им купленный портрет, о котором он позабыл вовсе. Сияние месяца, озаривши комнату, упало и на него и сообщило ему странную живость. Он принялся его рассматривать и оттирать. Омакнул в воду губку, прошел ею по нем несколько раз, смыв с него почти всю накопившуюся и набившуюся пыль и грязь, повесил перед собой на стену и подивился еще более необыкновенной работе: всё лицо почти ожило, и глаза взглянули на него так, что он, наконец, вздрогнул и, попятившись назад, произнес изумленным голосом: «Глядит, глядит человеческими глазами!» Ему пришла вдруг на ум история, слы-

шанная давно им от своего профессора, об одном портрете знаменитого Леонардо да Винчи, над которым великий мастер трудился несколько лет и всё еще почитал его неоконченным и который, по словам Вазари, был, однако же, почтен от всех за совершеннейшее и окончательнейшее произведение искусства. Окончательнее всего были в нем глаза, которым изумлялись современники; даже малейшие, чуть видные в них жилки были не упущены и приданы полотну. Но здесь, однако же, в сем, ныне бывшем пред ним, портрете было что-то странное. Это было уже не искусство: это разрушало даже гармонию самого портрета. Это были живые, это были человеческие глаза! Казалось, как будто они были вырезаны из живого человека и вставлены сюда. Здесь не было уже того высокого наслажденья, которое объемлет душу при взгляде на произведение художника, как ни ужасен взятый им предмет; здесь было какое-то болезненное, томительное чувство. «Что это? — невольно вопрошал себя художник. — Ведь это, однако же, натура, это живая натура; отчего же это странно-неприятное чувство? Или рабское, буквальное подражание натуре есть уже проступок и кажется ярким, нестройным криком? Или, если возьмешь пред-

мет безучастно, бесчувственно, не сочувствуя с ним, он непременно предстанет только в одной ужасной своей действительности, не озаренный светом какой-то непостижимой, скрытой во всем мысли, предстанет в той действительности, какая открывается тогда, когда, желая постигнуть прекрасного человека, вооружаешься анатомическим ножом, рассекаешь его внутренность и видишь отвратительного человека? Почему же простая, низкая природа является у одного художника в каком-то свету, и не чувствуешь никакого низкого впечатления; напротив, кажется, как будто насладился, и после того спокойнее и ровнее всё течет и движется вокруг тебя? И почему же та же самая природа у другого художника кажется низкою, грязною, а, между прочим, он так же был верен природе? Но нет, нет в ней чего-то озаряющего. Всё равно как вид в природе: как он ни великолепен, а всё недостает чего-то, если нет на небе солнца».

Он опять подошел к портрету, с тем чтобы рассмотреть эти чудные глаза, и с ужасом заметил, что они точно глядят на него. Это уже не была копия с натуры, это была та странная живость, которою бы озарилось лицо мертвеца, вставшего из могилы. Свет ли месяца, несущий с собой бред

мечты и облекающий всё в иные образы, противоположные положительному дню, или что другое было причиною тому, только ему сделалось вдруг, неизвестно отчего, страшно сидеть одному в комнате. Он тихо отошел от портрета, отворотился в другую сторону и старался не глядеть на него, а между тем глаз невольно, сам собою, косясь, окидывал его. Наконец ему сделалось даже страшно ходить по комнате; ему казалось, как будто сей же час кто-то другой станет ходить позади его, и всякий раз робко оглядывался он назад. Он не был никогда труслив; но воображенье и нервы его были чутки, и в этот вечер он сам не мог истолковать себе своей невольной боязни. Он сел в уголок, но и здесь казалось ему, что кто-то вот-вот взглянет через плечо к нему в лицо. Самое храпенье Никиты, раздававшееся из передней, не прогоняло его боязни. Он, наконец, робко, не подымая глаз, поднялся с своего места, отправился к себе за ширмы и лег в постель. Сквозь щелки в ширмах он видел освещенную месяцем свою комнату и видел прямо висевший на стене портрет. Глаза еще страшнее, еще значительнее вперились в него и, казалось, не хотели ни на что другое глядеть, как только на него. Полный тягостного чувства, он решился встать с постели,

схватил простыню и, приблизясь к портрету, закутал его всего.

Сделавши это, он лег в постель покойнее, стал думать о бедности и жалкой судьбе художника, о тернистом пути, предстоящем ему на этом свете; а между тем глаза его невольно глядели сквозь щелку ширм на закутанный простынею портрет. Сиянье месяца усиливало белизну простыни, и ему казалось, что страшные глаза стали даже просвечивать сквозь холстину. Со страхом вперил он пристальнее глаза, как бы желая увериться, что это вздор. Но, наконец, уже в самом деле… он видит, видит ясно: простыни уже нет… портрет открыт весь и глядит мимо всего, что ни есть вокруг, прямо в него, глядит просто к нему вовнутрь… У него захолонуло сердце. И видит: старик пошевелился и вдруг уперся в рамку обеими руками. Наконец приподнялся на руках и, высунув обе ноги, выпрыгнул из рам… Сквозь щелку ширм видны были уже одни только пустые рамы. По комнате раздался стук шагов, который, наконец, становился ближе и ближе к ширмам. Сердце стало сильнее колотиться у бедного художника. С занявшимся от страха дыханьем он ожидал, что вот-вот глянет к нему за ширмы старик. И вот он глянул, точно, за ширмы, с тем же

бронзовым лицом и поводя большими глазами. Чартков силился вскрикнуть — и почувствовал, что у него нет голоса, силился пошевельнуться, сделать какое-нибудь движенье — не движутся члены. С раскрытым ртом и замершим дыханьем смотрел он на этот страшный фантом высокого роста, в какой-то широкой азиатской рясе и ждал, что станет он делать. Старик сел почти у самых ног его и вслед за тем что-то вытащил из-под складок своего широкого платья.

Это был мешок. Старик развивал его и, схвативши за два конца, встряхнул: с глухим звуком упали на пол тяжелые свертки в виде длинных столбиков; каждый был завернут в синюю бумагу, и на каждом было выставлено: «1000 червонных». Высунув свои длинные костистые руки из широких рукавов, старик начал разворачивать свертки. Золото блеснуло. Как ни велико было тягостное чувство и обеспамятевший страх художника, но он вперился весь в золото, глядя неподвижно, как оно разворачивалось в костистых руках, блестело, звенело тонко и глухо и заворачивалось вновь. Тут заметил он один сверток, откатившийся подалее от других, у самой ножки его кровати, в головах у него. Почти судорожно схватил он его и, полный страха, смотрел,

не заметит ли старик. Но старик был, казалось, очень занят. Он собрал все свертки свои, уложил их снова в мешок и, не взглянувши на него, ушел за ширмы. Сердце билось сильно у Чарткова, когда он услышал, как раздавался по комнате шелест удалявшихся шагов. Он сжимал покрепче сверток свой в руке, дрожа всем телом за него, и вдруг услышал, что шаги вновь приближаются к ширмам, — видно, старик вспомнил, что недоставало одного свертка. И вот — он глянул к нему вновь за ширмы. Полный отчаяния, стиснул он всею силою в руке своей сверток, употребил всё усилие сделать движенье, вскрикнул — и проснулся.

Холодный пот облил его всего; сердце его билось так сильно, как только можно было биться; грудь была так стеснена, как будто хотело улететь из нее последнее дыханье. «Неужели это был сон?» — сказал он, взявши себя обеими руками за голову; но страшная живость явленья не была похожа на сон. Он видел, уже пробудившись, как старик ушел в рамки, мелькнула даже пола его широкой одежды, и рука его чувствовала ясно, что держала за минуту пред сим какую-то тяжесть. Свет месяца озарял комнату, заставляя выступать из темных углов ее где холст, где гипсо-

вую руку, где оставленную на стуле драпировку, где панталоны и нечищенные сапоги. Тут только заметил он, что не лежит в постеле, а стоит на ногах прямо перед портретом. Как он добрался сюда — уж этого никак не мог он понять. Еще более изумило его, что портрет был открыт весь и простыни на нем действительно не было. С неподвижным страхом глядел он на него и видел, как прямо вперились в него живые человеческие глаза. Холодный пот выступил на лице его; он хотел отойти, но чувствовал, что ноги его как будто приросли к земле. И видит он: это уже не сон, — черты старика двинулись, и губы его стали вытягиваться к нему, как будто бы хотели его высосать… С воплем отчаянья отскочил он — и проснулся.

«Неужели и это был сон?» С биющимся на разрыв сердцем ощупал он руками вокруг себя. Да, он лежит на постеле в таком точно положеньи, как заснул. Пред ним ширмы; свет месяца наполнял комнату. Сквозь щель в ширмах виден был портрет, закрытый как следует простынею, — так, как он сам закрыл его. Итак, это был тоже сон! Но сжатая рука чувствует доныне, как будто бы в ней что-то было. Биение сердца было сильно, почти страшно; тягость в груди невыносимая. Он

вперил глаза в щель и пристально глядел на простыню. И вот видит ясно, что простыня начинает раскрываться, как будто бы под нею барахтались руки и силились ее сбросить. «Господи, Боже мой, что это!» — вскрикнул он, крестясь отчаянно, и проснулся!

И это был также сон! Он вскочил с постели, полоумный, обеспамятевший, и уже не мог изъяснить, что это с ним делается: давленье ли кошмара или домового, бред ли горячки или живое виденье. Стараясь утишить сколько-нибудь душевное волненье и расколыхавшуюся кровь, которая билась напряженным пульсом по всем его жилам, он подошел к окну и открыл форточку. Холодный пахнувший ветер оживил его. Лунное сияние лежало всё еще на крышах и белых стенах домов, хотя небольшие тучи стали чаще переходить по небу. Всё было тихо: изредка долетало до слуха отдаленное дребезжанье дрожек извозчика, который где-нибудь в невидном переулке спал, убаюкиваемый своею ленивою клячею, поджидая запоздалого седока. Долго глядел он, высунувши голову в форточку. Уже на небе рождались признаки приближающейся зари; наконец почувствовал он приближающуюся дремоту, захлопнул форточку, отошел прочь,

лег в постель и скоро заснул как убитый, самым крепким сном.

Проснулся он очень поздно и почувствовал в себе то неприятное состояние, которое овладевает человеком после угара; голова его неприятно болела. В комнате было тускло; неприятная мокрота сеялась в воздухе и проходила сквозь щели его окон, заставленные картинами или нагрунтованным холстом. Пасмурный, недовольный, как мокрый петух, уселся он на своем оборванном диване, не зная сам, за что приняться, что делать, и вспомнил, наконец, весь свой сон. По мере припоминанья сон этот представлялся в его воображеньи так тягостно жив, что он даже стал подозревать, точно ли это был сон и простой бред, не было ли здесь чего-то другого, не было ли это виденье. Сдернувши простыню, он рассмотрел при дневном свете этот страшный портрет. Глаза, точно, поражали своей необыкновенной живостью, но ничего он не находил в них особенно страшного; только как будто какое-то неизъяснимое, неприятное чувство оставалось на душе. При всем том он всё-таки не мог совершенно увериться, чтобы это был сон. Ему казалось, что среди сна был какой-то страшный отрывок из действительности. Казалось, даже в самом

взгляде и выражении старика как будто что-то говорило, что он был у него эту ночь; рука его чувствовала только что лежавшую в себе тяжесть, как будто бы кто-то за одну только минуту пред сим ее выхватил у него. Ему казалось, что если бы он держал только покрепче сверток, он, верно, остался бы у него в руке и после пробуждения «Боже мой, если бы хотя часть этих денег!» — сказал он, тяжело вздохнувши; и в воображеньи его стали высыпаться из мешка все виденные им свертки с заманчивой надписью: «1000 червонных». Свертки разворачивались, золото блестело, заворачивалось вновь, и он сидел, уставивши неподвижно и бессмысленно свои глаза в пустой воздух, не будучи в состояньи оторваться от такого предмета, — как ребенок, сидящий пред сладким блюдом и видящий, глотая слюнки, как едят его другие. Наконец у дверей раздался стук, заставивший его неприятно очнуться. Вошел хозяин с квартальным надзирателем, которого появление для людей мелких, как известно, еще неприятнее, нежели для богатых лицо просителя. Хозяин небольшого дома, в котором жил Чартков, был одно из творений, какими обыкновенно бывают владетели домов где-нибудь в Пятнадцатой линии Васильевского острова, на Петербургской

стороне или в отдаленном углу Коломны, — творенье, каких много на Руси и которых характер так же трудно определить, как цвет изношенного сюртука. В молодости своей он был капитан и крикун, употреблялся и по штатским делам, мастер был хорошо высечь, был и расторопен, и щеголь, и глуп;

но в старости своей он слил в себе все эти резкие особенности в какую-то тусклую неопределенность. Он был уже вдов, был уже в отставке, уже не щеголял, не хвастал, не задирался, любил только пить чай и болтать за ним всякий вздор; ходил по комнате, поправлял сальный огарок; аккуратно по истечении каждого месяца наведывался к своим жильцам за деньгами; выходил на улицу с ключом в руке, для того, чтобы посмотреть на крышу своего дома; выгонял несколько раз дворника из его конуры, куда он запрятывался спать; одним словом, человек в отставке, которому после всей забубенной жизни и тряски на перекладных остаются одни пошлые привычки.

— Извольте сами глядеть, Варух Кузьмич, — сказал хозяин, обращаясь к квартальному и расставив руки, — вот не платит за квартиру, не платит.

— Что ж, если нет денег? Подождите, я запла-

чу.

— Мне, батюшка, ждать нельзя, — сказал хозяин в сердцах, делая жест ключом, который держал в руке, — у меня вот Потогонкин подполковник живет, семь лет уж живет; Анна Петровна Бухмистерова и сарай и конюшню нанимает на два стойла, три при ней дворовых человека, — вот какие у меня жильцы. У меня, сказать вам откровенно, нет такого заведенья, чтобы не платить за квартиру. Извольте сейчас же заплатить деньги, да и съезжать вон.

— Да, уж если порядились, так извольте платить, — сказал квартальный надзиратель, с небольшим потряхиваньем головы и заложив палец за пуговицу своего мундира.

— Да чем платить? — вопрос. У меня нет теперь ни гроша.

— В таком случае удовлетворите Ивана Ивановича издельями своей профессии, — сказал квартальный, — он, может быть, согласится взять картинами.

— Нет, батюшка, за картины спасибо. Добро бы были картины с благородным содержанием, чтобы можно было на стену повесить, хоть какой-нибудь генерал со звездой или князя Кутузова портрет, а то вон мужика нарисовал, мужика

в рубахе, слуги-то, что трет краски. Еще с него, свиньи, портрет рисовать! Ему я шею наколочу: он у меня все гвозди из задвижек повыдергивал, мошенник. Вот посмотрите, какие предметы: вот комнату рисует. Добро бы уж взял комнату прибранную, опрятную, а он вон как нарисовал ее, со всем сором и дрязгом, какой ни валялся. Вот посмотрите, как запакостил у меня комнату, извольте сами видеть. Да у меня по семи лет живут жильцы, полковники, Бухмистерова Анна Петровна… Нет, я вам скажу: нет хуже жильца, как живописец: свинья свиньей живет, просто не приведи Бог.

И всё это должен был выслушать терпеливо бедный живописец. Квартальный надзиратель между тем занялся рассматриваньем картин и этюдов и тут же показал, что у него душа живее хозяйской и даже была не чужда художественным впечатлениям.

— Хе, — сказал он, тыкнув пальцем на один холст, где была изображена нагая женщина, — предмет, того… игривый. А у этого зачем так под носом черно? табаком, что ли, он себе засыпал?

— Тень, — отвечал на это сурово и не обращая на него глаз Чартков.

— Ну, ее бы можно куда-нибудь в другое место

отнести, а под носом слишком видное место, — сказал квартальный. — А это чей портрет? — продолжал он, подходя к портрету старика. — Уж страшен слишком. Будто он в самом деле был такой страшный? Ахти, да он просто глядит! Эх, какой Громобой! С кого вы писали?

— А это с одного… — сказал Чартков, и не кончил слова: послышался треск. Квартальный пожал, видно, слишком крепко раму портрета, благодаря топорному устройству полицейских рук своих; боковые досточки вломились вовнутрь, одна упала на пол, и вместе с нею упал, тяжело звякнув, сверток в синей бумаге. Чарткову бросилась в глаза надпись: «1000 червонных». Как безумный, бросился он поднять его, схватил сверток, сжал его судорожно в руке, опустившейся вниз от тяжести.

— Никак деньги зазвенели, — сказал квартальный, услышавший стук чего-то упавшего на пол и не могший увидать его за быстротой движенья, с какою бросился Чартков прибрать.

— А вам какое дело знать, что у меня есть?

— А такое дело, что вы сейчас должны заплатить хозяину за квартиру; что у вас есть деньги, да вы не хотите платить, — вот что.

— Ну, я заплачу ему сегодня.

— Ну, а зачем же вы не хотели заплатить прежде, да доставляете беспокойство хозяину, да вот и полицию тоже тревожите?

— Потому что этих денег мне не хотелось трогать; я ему сегодня же ввечеру всё заплачу и съеду с квартиры завтра же, потому что не хочу оставаться у такого хозяина.

— Ну, Иван Иванович, он вам заплатит, — сказал квартальный, обращаясь к хозяину. — А если насчет того, что вы не будете удовлетворены как следует сегодня ввечеру, тогда уж извините, господин живописец.

Сказавши это, он надел свою треугольную шляпу и вышел в сени, а за ним хозяин, держа вниз голову и, как казалось, в каком-то раздумьи.

— Слава Богу, черт их унес! — сказал Чартков, когда услышал затворившуюся в передней дверь.

Он выглянул в переднюю, услал за чем-то Никиту, чтобы быть совершенно одному, запер за ним дверь и, возвратившись к себе в комнату, принялся с сильным сердечным трепетаньем разворачивать сверток. В нем были червонцы, все до одного новые, жаркие, как огонь. Почти обезумев, сидел он за золотою кучею, всё еще спрашивая себя, не во сне ли всё это. В свертке было ровно

их тысяча; наружность его была совершенно такая, в какой они виделись ему во сне. Несколько минут он перебирал их, пересматривал и всё еще не мог прийти в себя. В воображении его воскресли вдруг все истории о кладах, шкатулках с потаенными ящиками, оставляемых предками для своих разорившихся внуков, в твердой уверенности на будущее их промотавшееся положение. Он мыслил так: не придумал ли и теперь какой-нибудь дедушка оставить своему внуку подарок, заключив его в рамку фамильного портрета? Полный романического бреда, он стал даже думать, нет ли здесь какой-нибудь тайной связи с его судьбою: не связано ли существованье портрета с его собственным существованьем, и самое приобретение его не есть ли уже какое-то предопределение? Он принялся с любопытством рассматривать рамку портрета. В одном боку ее был выдолбленный желобок, задвинутый дощечкой так ловко и неприметно, что если бы капитальная рука квартального надзирателя не произвела пролома, червонцы остались бы до скончания века в покое. Рассматривая портрет, он подивился вновь высокой работе, необыкновенной отделке глаз; они уже не казались ему страшными, но всё еще в душе оставалось всякий

раз невольно неприятное чувство. «Нет, — сказал он сам в себе, — чей бы ты ни был дедушка, а я тебя поставлю за стекло и сделаю тебе за это золотые рамки». Здесь он набросил руку на золотую кучу, лежавшую пред ним, и сердце забилось сильно от такого прикосновенья. «Что с ними сделать? — думал он, уставив на них глаза. — Теперь я обеспечен по крайней мере на три года, могу запереться в комнату, работать. На краски теперь у меня есть; на обед, на чай, на содержанье, на квартиру есть; мешать и надоедать мне теперь никто не станет; куплю себе отличный манкен, закажу гипсовый торсик, сформую ножки, поставлю Венеру, накуплю гравюр с первых картин. И если поработаю три года для себя, не торопясь, не на продажу, я зашибу их всех, и могу быть славным художником».

Так говорил он заодно с подсказывавшим ему рассудком; но извнутри раздавался другой голос, слышнее и звонче. И как взглянул он еще раз на золото, не то заговорили в нем двадцать два года и горячая юность. Теперь в его власти было всё то, на что он глядел доселе завистливыми глазами, чем любовался издали, глотая слюнки. Ух, как в нем забилось ретивое, когда он только подумал о том! Одеться в модный фрак, разговеться после

долгого поста, нанять себе славную квартиру, отправиться тот же час в театр, в кондитерскую, в… и прочее, — и он, схвативши деньги, был уже на улице.

Прежде всего зашел к портному, оделся с ног до головы и, как ребенок, стал обсматривать себя беспрестанно; накупил духов, помад, нанял, не торгуясь, первую попавшуюся великолепнейшую квартиру на Невском проспекте, с зеркалами и цельными стеклами; купил нечаянно в магазине дорогой лорнет, нечаянно накупил тоже бездну всяких галстуков, более нежели было нужно, завил у парикмахера себе локоны, прокатился два раза по городу в карете без всякой причины, объелся без меры конфектов в кондитерской и зашел к ресторану-французу, о котором доселе слышал такие же неясные слухи, как о китайском государстве. Там он обедал подбоченившись, бросая довольно гордые взгляды на других и поправляя беспрестанно против зеркала завитые локоны. Там он выпил бутылку шампанского, которое тоже доселе было ему знакомо более по слуху. Вино несколько зашумело в голове, и он вышел на улицу живой, бойкий, по русскому выражению: черту не брат. Прошелся по тротуару гоголем, наводя на всех лорнет. На мосту заметил

он своего прежнего профессора и шмыгнул лихо мимо его, как будто бы не заметив его вовсе, так что остолбеневший профессор долго еще стоял неподвижно на мосту, изобразив вопросительный знак на лице своем.

Все вещи и всё, что ни было: станок, холст, картины, были в тот же вечер перевезены на великолепную квартиру. Он расставил то, что было получше, на видные места, что похуже — забросил в угол и расхаживал по великолепным комнатам, беспрестанно поглядывая в зеркала. В душе его возродилось желанье непреоборимое схватить славу сей же час за хвост и показать себя свету. Уже чудились ему крики: «Чартков, Чартков! видали вы картину Чарткова? Какая быстрая кисть у Чарткова! Какой сильный талант у Чарткова!» Он ходил в восторженном состоянии у себя по комнате, уносился невесть куда. На другой же день, взявши десяток червонцев, отправился он к одному издателю ходячей газеты, прося великодушной помощи; был принят радушно журналистом, назвавшим его тот же час «почтеннейший», пожавшим ему обе руки, расспросившим подробно об имени, отчестве, месте жительства. И на другой же день появилась в газете вслед за объявлением о новоизобретен-

ных сальных свечах статья с таким заглавием: «*О необыкновенных талантах Чарткова*»: «Спешим обрадовать образованных жителей столицы прекрасным, можно сказать, во всех отношениях приобретением. Все согласны в том, что у нас есть много прекраснейших физиогномий и прекраснейших лиц, но не было до сих пор средства передать их на чудотворный холст, для передачи потомству; теперь недостаток этот пополнен: отыскался художник, соединяющий в себе, что нужно. Теперь красавица может быть уверена, что она будет передана со всей грацией своей красоты воздушной, легкой, очаровательной, чудесной, подобной мотылькам, порхающим по весенним цветкам. Почтенный отец семейства увидит себя окруженным своей семьей. Купец, воин, гражданин, государственный муж — всякий с новой ревностью будет продолжать свое поприще. Спешите, спешите, заходите с гулянья, с прогулки, предпринятой к приятелю, к кузине, в блестящий магазин, спешите, откуда бы ни было. Великолепная мастерская художника (Невский проспект, такой-то номер) уставлена вся портретами его кисти, достойной Вандиков и Тицианов. Не знаешь, чему удивляться: верности ли и сходству с оригиналами, или необыкновенной

яркости и свежести кисти. Хвала вам, художник! вы вынули счастливый билет из лотереи. Виват, Андрей Петрович (журналист, как видно, любил фамильярность)! Прославляйте себя и нас. Мы умеем ценить вас. Всеобщее стечение, а вместе с тем и деньги, хотя некоторые из нашей же братьи журналистов и восстают против них, будут вам наградою».

С тайным удовольствием прочитал художник это объявление; лицо его просияло. О нем заговорили печатно — это было для него новостию; несколько раз перечитывал он строки. Сравнение с Вандиком и Тицианом ему сильно польстило. Фраза «Виват, Андрей Петрович!» также очень понравилась; печатным образом называют его по имени и по отчеству — честь, доныне ему совершенно неизвестная. Он начал ходить скоро по комнате, ерошить себе волоса, то садился на кресла, то вскакивал с них и садился на диван, представляя поминутно, как он будет принимать посетителей и посетительниц, подходил к холсту и производил над ним лихую замашку кисти, пробуя сообщить грациозные движения руке. На другой день раздался колокольчик у дверей его; он побежал отворять. Вошла дама, предводимая лакеем в ливрейной шинели на меху, и вместе с

дамой вошла молоденькая восемнадцатилетняя девочка, дочь ее.

— Вы мсьё Чартков? — сказала дама.

Художник поклонился.

— Об вас столько пишут; ваши портреты, говорят, верх совершенства. — Сказавши это, дама наставила на глаз лорнет и побежала быстро осматривать стены, на которых ничего не было. — А где же ваши портреты?

— Вынесли, — сказал художник, несколько смешавшись, — я только что переехал еще на эту квартиру, так они еще в дороге… не доехали.

— Вы были в Италии? — сказала дама, наводя на него лорнет, не найдя ничего другого, на что бы можно было навесть его.

— Нет, я не был, но хотел быть… впрочем, теперь покамест я отложил… Вот кресла-с, вы устали?..

— Благодарю, я сидела долго в карете. А, вон, наконец, вижу вашу работу! — сказала дама, побежав к супротивной стене и наводя лорнет на стоявшие на полу его этюды, программы, перспективы и портреты. — C'est charmant! Lise, Lise, venez ici![1]Комната во вкусе Теньера, видишь:

---

**[1] Примечания: 1**

Это очаровательно! Лиза, Лиза, пойди сюда! *(франц.)*

беспорядок, беспорядок, стол, на нем бюст, рука, палитра; вон пыль, — видишь, как пыль нарисована! C'est charmant! А вот на другом холсте женщина, моющая лицо, — quelle jolie figure![2]Ах, мужичок! Lise, Lise, мужичок в русской рубашке! смотри: мужичок! Так вы занимаетесь не одними только портретами?

— О, это вздор… Так, шалил… этюды…

— Скажите, какого вы мнения насчет нынешних портретистов? Не правда ли, теперь нет таких, как был Тициан? Нет той силы в колорите, нет той… как жаль, что я не могу вам выразить по-русски (дама была любительница живописи и оббегала с лорнетом все галереи в Италии). Однако мсьё Ноль… ах, как он пишет! Какая необыкновенная кисть! Я нахожу, что у него даже больше выраженья в лицах, нежели у Тициана. Вы не знаете мсьё Ноля?

— Кто этот Ноль? — спросил художник.

— Мсьё Ноль. Ах, какой талант! он написал с нее портрет, когда ей было только двенадцать лет. Нужно, чтобы вы непременно у нас были. Lise, ты ему покажи свой альбом. Вы знаете, что мы приехали с тем, чтобы сей же час начали с

---

**[2] Примечания: 2**
Какое красивое лицо! *(франц.)*

нее портрет.

— Как же, я готов сию минуту.

И в одно мгновенье придвинул он станок с готовым холстом, взял в руки палитру, вперил глаз в бледное личико дочери. Если бы он был знаток человеческой природы, он прочел бы на нем в одну минуту начало ребяческой страсти к балам, начало тоски и жалоб на длинноту времени до обеда и после обеда, желанья побегать в новом платье на гуляньях, тяжелые следы безучастного прилежания к разным искусствам, внушаемого матерью для возвышения души и чувств. Но художник видел в этом нежном личике одну только заманчивую для кисти почти фарфоровую прозрачность тела, увлекательную легкую томность, тонкую светлую шейку и аристократическую легкость стана. И уже заранее готовился торжествовать, показать легкость и блеск своей кисти, имевшей доселе дело только с жесткими чертами грубых моделей, с строгими антиками и копиями кое-каких классических мастеров. Он уже представлял себе в мыслях, как выйдет это легонькое личико.

— Знаете ли, — сказала дама с несколько даже трогательным выражением лица, — я бы хотела… на ней теперь платье; я бы, признаюсь, не хотела,

чтобы она была в платье, к которому мы так привыкли; я бы хотела, чтоб она была одета просто и сидела бы в тени зелени, в виду каких-нибудь полей, чтобы стада вдали или роща… чтобы незаметно было, что она едет куда-нибудь на бал или модный вечер. Наши балы, признаюсь, так убивают душу, так умерщвляют остатки чувств… простоты, простоты чтобы было больше.

Увы! на лицах и матушки и дочери написано было, что они до того исплясались на балах, что обе сделались чуть не восковыми.

Чартков принялся за дело, усадил оригинал, сообразил несколько всё это в голове; провел по воздуху кистью, мысленно устанавливая пункты; прищурил несколько глаз, подался назад, взглянул издали — и в один час начал и кончил подмалевку. Довольный ею, он принялся уже писать, работа его завлекла. Уже он позабыл всё, позабыл даже, что находится в присутствии аристократических дам, начал даже выказывать иногда кое-какие художнические ухватки, произнося вслух разные звуки, временами подпевая, как случается с художником, погруженным всею душою в свое дело. Без всякой церемонии, одним движеньем кисти заставлял он оригинал поднимать голову, который, наконец, начал сильно

вертеться и выражать совершенную усталость.

— Довольно, на первый раз довольно, — сказала дама.

— Еще немножко, — говорил позабывшийся художник.

— Нет, пора! Lise, три часа! — сказала она, вынимая маленькие часы, висевшие на золотой цепи у ее кушака, и вскрикнула: — Ах, как поздно!

— Минуточку только, — говорил Чартков простодушным и просящим голосом ребенка.

Но дама, кажется, совсем не была расположена угождать на этот раз его художественным потребностям и обещала вместо того просидеть в другой раз долее.

«Это, однако ж, досадно, — подумал про себя Чартков, — рука только что расходилась». И вспомнил он, что его никто не перебивал и не останавливал, когда он работал в своей мастерской на Васильевском острове; Никита, бывало, сидел не ворохнувшись на одном месте — пиши с него сколько угодно; он даже засыпал в заказанном ему положении. И, недовольный, положил он свою кисть и палитру на стул и остановился смутно пред холстом. Комплимент, сказанный светской дамой, пробудил его из усыпления. Он бросился быстро к дверям провожать их; на лест-

нице получил приглашение бывать, прийти на следующей неделе обедать, и с веселым видом возвратился к себе в комнату. Аристократическая дама совершенно очаровала его. До сих пор он глядел на подобные существа как на что-то недоступное, которые рождены только для того, чтобы пронестись в великолепной коляске с ливрейными лакеями и щегольским кучером и бросить равнодушный взгляд на бредущего пешком, в небогатом плащишке человека. И вдруг теперь одно из этих существ вошло к нему в комнату; он пишет портрет, приглашен на обед в аристократический дом. Довольство овладело им необыкновенное; он был упоен совершенно и наградил себя за это славным обедом, вечерним спектаклем и опять проехался в карете по городу без всякой нужды.

Во все эти дни обычная работа ему не шла вовсе на ум. Он только приготовлялся и ждал минуты, когда раздастся звонок. Наконец аристократическая дама приехала вместе с своею бледненькою дочерью. Он усадил их, придвинул холст уже с ловкостью и претензиями на светские замашки и стал писать. Солнечный день и ясное освещение много помогли ему. Он увидел в легоньком своем оригинале много такого, что, быв уловлено и

передано на полотно, могло придать высокое достоинство портрету; увидел, что можно сделать кое-что особенное, если выполнить всё в такой окончательности, в какой теперь представлялась ему натура. Сердце его начало даже слегка трепетать, когда он почувствовал, что выразит то, чего еще не заметили другие. Работа заняла его всего, весь погрузился он в кисть, позабыв опять об аристократическом происхождении оригинала. С занимавшимся дыханием видел, как выходили у него легкие черты и это почти прозрачное тело семнадцатилетней девушки. Он ловил всякий оттенок, легкую желтизну, едва заметную голубизну под глазами и уже готовился даже схватить небольшой прыщик, выскочивший на лбу, как вдруг услышал над собою голос матери: «Ах, зачем это? это не нужно, — говорила дама. — У вас тоже… вот, в некоторых местах… как будто бы несколько желто и вот здесь совершенно как темные пятнышки». Художник стал изъяснять, что эти-то пятнышки и желтизна именно разыгрываются хорошо, что они составляют приятные и легкие тоны лица. Но ему отвечали, что они не составят никаких тонов и совсем не разыгрываются; и что это ему только так кажется. «Но позвольте здесь в одном

только месте тронуть немножко желтенькой краской», — сказал простодушно художник. Но этого-то ему и не позволили. Объявлено было, что Lise только сегодня немножко не расположена, а что желтизны в ней никакой не бывает и лицо поражает особенно свежестью краски. С грустью принялся он изглаживать то, что кисть его заставила выступить на полотно. Исчезло много почти незаметных черт, а вместе с ними исчезло отчасти и сходство. Он бесчувственно стал сообщать ему тот общий колорит, который дается наизусть и обращает даже лица, взятые с натуры, в какие-то холодно-идеальные, видимые на ученических программах. Но дама была довольна тем, что обидный колорит был изгнан вовсе. Она изъявила только удивленье, что работа идет так долго, и прибавила, что слышала, будто он в два сеанса оканчивает совершенно портрет. Художник ничего не нашелся на это отвечать. Дамы поднялись и собирались выйти. Он положил кисть, проводил их до дверей и после того долго оставался смутным на одном и том же месте перед своим портретом. Он глядел на него глупо, а в голове его между тем носились те легкие женственные черты, те оттенки и воздушные тоны, им подмеченные, которые уничтожила

безжалостно его кисть. Будучи весь полон ими, он отставил портрет в сторону и отыскал у себя где-то заброшенную головку Психеи, которую когда-то давно и эскизно набросал на полотно. Это было личико, ловко написанное, но совершенно идеальное, холодное, состоявшее из одних общих черт, не принявшее живого тела. От нечего делать он теперь принялся проходить его, припоминая на нем всё, что случилось ему подметить в лице аристократической посетительницы. Уловленные им черты, оттенки и тоны здесь ложились в том очищенном виде, в каком являются они тогда, когда художник, наглядевшись на природу, уже отдаляется от нее и производит ей равное создание. Психея стала оживать, и едва сквозившая мысль начала мало-помалу облекаться в видимое тело. Тип лица молоденькой светской девицы невольно сообщился Психее, и чрез то получила она своеобразное выражение, дающее право на название истинно оригинального произведения. Казалось, он воспользовался по частям и вместе всем, что представил ему оригинал, и привязался совершенно к своей работе. В продолжение нескольких дней он был занят только ею. И за этой самой работой застал его приезд знакомых дам. Он не успел снять со станка картину.

Обе дамы издали радостный крик изумленья и всплеснули руками.

— Lise, Lise! Ах, как похоже! Superbe, superbe![3]Как хорошо вы вздумали, что одели ее в греческий костюм. Ах, какой сюрприз!

Художник не знал, как вывести дам из приятного заблуждения. Совестясь и потупя голову, он произнес тихо:

— Это Психея.

— В виде Психеи? C'est charmant![4]— сказала мать, улыбнувшись, причем улыбнулась также и дочь. — Не правда ли, Lise, тебе больше всего идет быть изображенной в виде Психеи? Quelle idee delicieuse![5]Но какая работа! Это Корредж. Признаюсь, я читала и слышала о вас, но я не знала, что у вас такой талант. Нет, вы непременно должны написать также и с меня портрет.

Даме, как видно, хотелось также предстать в виде какой-нибудь Психеи.

«Что мне с ними делать? — подумал художник. — Если они сами того хотят, так пусть Психея

---

**[3] Примечания: 3**
Великолепно! Великолепно! *(франц.)*

**[4] Примечания: 4**
Это очаровательно! *(франц.)*

**[5] Примечания: 5**
Какая восхитительная мысль! *(франц.)*

пойдет за то, что им хочется», — и произнес вслух:

— Потрудитесь еще немножко присесть, я кое-что немножко трону.

— Ах, я боюсь, чтобы вы как-нибудь не… она так теперь похожа.

Но художник понял, что опасенья были насчет желтизны, и успокоил их, сказав, что он только придаст более блеску и выраженья глазам. А по справедливости, ему было слишком совестно и хотелось хотя сколько-нибудь более придать сходства с оригиналом, дабы не укорил его кто-нибудь в решительном бесстыдстве. И точно, черты бледной девушки стали, наконец, выходить яснее из облика Психеи.

— Довольно! — сказала мать, начинавшая бояться, чтобы сходство не приблизилось, наконец, уже чересчур близко.

Художник был награжден всем: улыбкой, деньгами, комплиментом, искренним пожатьем руки, приглашеньем на обеды; словом, получил тысячу лестных наград. Портрет произвел по городу шум. Дама показала его приятельницам; все изумлялись искусству, с каким художник умел сохранить сходство и вместе с тем придать красоту оригиналу. Последнее замечено было, разумеется,

не без легкой краски зависти в лице. И художник вдруг был осажден работами. Казалось, весь город хотел у него писаться. У дверей поминутно раздавался звонок. С одной стороны, это могло быть хорошо, представляя ему бесконечную практику разнообразием, множеством лиц. Но, на беду, это всё был народ, с которым было трудно ладить, народ торопливый, занятой или же принадлежащий свету, — стало быть, еще более занятой, нежели всякий другой, и потому нетерпеливый до крайности. Со всех сторон только требовали, чтоб было хорошо и скоро. Художник увидел, что оканчивать решительно было невозможно, что всё нужно было заменить ловкостью и быстрой бойкостью кисти. Схватывать одно только целое, одно общее выраженье и не углубляться кистью в утонченные подробности; одним словом, следить природу в ее окончательности было решительно невозможно. Притом нужно прибавить, что у всех почти писавшихся много было других притязаний на разное. Дамы требовали, чтобы преимущественно только душа и характер изображались в портретах, чтобы остального иногда вовсе не придерживаться, округлить все углы, облегчить все изъянцы и даже, если можно, избежать их вовсе. Словом, чтобы на лицо можно

было засмотреться, если даже не совершенно влюбиться. И вследствие этого, садясь писаться, они принимали иногда такие выражения, которые приводили в изумленье художника: та старалась изобразить в лице своем меланхолию, другая мечтательность, третья во что бы ни стало хотела уменьшить рот и сжимала его до такой степени, что он обращался, наконец, в одну точку, не больше булавочной головки. И, несмотря на всё это, требовали от него сходства и непринужденной естественности. Мужчины тоже были ничем не лучше дам. Один требовал себя изобразить в сильном, энергическом повороте головы; другой с поднятыми кверху вдохновенными глазами; гвардейский поручик требовал непременно, чтобы в глазах виден был Марс; гражданский сановник норовил так, чтобы побольше было прямоты, благородства в лице и чтобы рука оперлась на книгу, на которой бы четкими словами было написано: «Всегда стоял за правду». Сначала художника бросали в пот такие требованья: всё это нужно было сообразить, обдумать, а между тем сроку давалось очень немного. Наконец он добрался, в чем было дело, и уж не затруднялся нисколько. Даже из двух, трех слов смекал вперед, кто чем хотел изобразить

себя. Кто хотел Марса, он в лицо совал Марса; кто метил в Байрона, он давал ему байроновское положенье и поворот. Коринной ли, Ундиной, Аспазией ли желали быть дамы, он с большой охотой соглашался на всё и прибавлял от себя уже всякому вдоволь благообразия, которое, как известно, нигде не подгадит и за что простят иногда художнику и самое несходство. Скоро он уже сам начал дивиться чудной быстроте и бойкости своей кисти. А писавшиеся, само собою разумеется, были в восторге и провозглашали его гением.

Чартков сделался модным живописцем во всех отношениях. Стал ездить на обеды, сопровождать дам в галереи и даже на гулянья, щегольски одеваться и утверждать гласно, что художник должен принадлежать к обществу, что нужно поддержать его званье, что художники одеваются, как сапожники, не умеют прилично вести себя, не соблюдают высшего тона и лишены всякой образованности. Дома у себя, в мастерской он завел опрятность и чистоту в высшей степени, определил двух великолепных лакеев, завел щегольских учеников, переодевался несколько раз в день в разные утренние костюмы, завивался, занялся улучшением разных манер, с которыми принимать посетителей, занялся украшением

всеми возможными средствами своей наружности, чтобы произвести ею приятное впечатление на дам; одним словом, скоро нельзя было в нем вовсе узнать того скромного художника, который работал когда-то незаметно в своей лачужке на Васильевском острове. О художниках и об искусстве он изъяснялся теперь резко: утверждал, что прежним художникам уже чересчур много приписано достоинства, что все они до Рафаэля писали не фигуры, а селедки; что существует только в воображении рассматривателей мысль, будто бы видно в них присутствие какой-то святости; что сам Рафаэль даже писал не всё хорошо и за многими произведениями его удержалась только по преданию слава; что Микель-Анжел хвастун, потому что хотел только похвастать знанием анатомии, что грациозности в нем нет никакой и что настоящий блеск, силу кисти и колорит нужно искать только теперь, в нынешнем веке. Тут, натурально, невольным образом доходило дело и до себя.

— Нет, я не понимаю, — говорил он, — напряженья других сидеть и корпеть за трудом. Этот человек, который копается по нескольку месяцев над картиною, по мне, труженик, а не художник. Я не поверю, чтобы в нем был талант. Гений творит

смело, быстро. Вот у меня, — говорил он, обращаясь обыкновенно к посетителям, — этот портрет я написал в два дня, эту головку в один день, это в несколько часов, это в час с небольшим. Нет, я… я, признаюсь, не признаю художеством того, что лепится строчка за строчкой; это уж ремесло, а не художество.

Так рассказывал он своим посетителям, и посетители дивились силе и бойкости его кисти, издавали даже восклицания, услышав, как быстро они производились, и потом пересказывали друг другу: «Это талант, истинный талант! Посмотрите, как он говорит, как блестят его глаза! Il a quelque chose d'extraordinaire dans toute sa figure!»[6]

Художнику было лестно слышать о себе такие слухи. Когда в журналах появлялась печатная хвала ему, он радовался как ребенок, хотя эта хвала была куплена им за свои же деньги. Он разносил такой печатный лист везде и, будто бы ненарочно, показывал его знакомым и приятелям, и это его тешило до самой простодушной наивности. Слава его росла, работы и заказы увеличивались. Уже стали ему надоедать одни

---

**[6] Примечания: 6**

Есть что-то необыкновенное во всей его внешности! *(франц.)*

и те же портреты и лица, которых положенье и обороты сделались ему заученными. Уже без большой охоты он писал их, стараясь набросать только кое-как одну голову, а остальное давал доканчивать ученикам. Прежде он всё-таки искал дать какое-нибудь новое положение, поразить силою, эффектом. Теперь и это становилось ему скучно. Ум уставал придумывать и обдумывать. Это было ему невмочь, да и некогда: рассеянная жизнь и общество, где он старался сыграть роль светского человека, — всё это уносило его далеко от труда и мыслей. Кисть его хладела и тупела, и он нечувствительно заключился в однообразные, определенные, давно изношенные формы. Однообразные, холодные, вечно прибранные и, так сказать, застегнутые лица чиновников, военных и штатских не много представляли поля для кисти: она позабывала и великолепные драпировки, и сильные движения, и страсти.

О группах, о художественной драме, о высокой ее завязке нечего было и говорить. Пред ним были только мундир, да корсет, да фрак, пред которыми чувствует холод художник и падает всякое воображение. Даже достоинств самых обыкновенных уже не было видно в его произведениях, а между тем они всё еще пользовались славою, хотя

истинные знатоки и художники только пожимали плечами, глядя на последние его работы. А некоторые, знавшие Чарткова прежде, не могли понять, как мог исчезнуть в нем талант, которого признаки оказались уже ярко в нем при самом начале, и напрасно старались разгадать, каким образом может угаснуть дарованье в человеке, тогда как он только что достигнул еще полного развития всех сил своих.

Но этих толков не слышал упоенный художник. Уже он начинал достигать поры степенности ума и лет; стал толстеть и видимо раздаваться в ширину. Уже в газетах и журналах читал он прилагательные: «почтенный наш Андрей Петрович», «заслуженный наш Андрей Петрович». Уже стали ему предлагать по службе почетные места, приглашать на экзамены, в комитеты. Уже он начинал, как всегда случается в почетные лета, брать сильно сторону Рафаэля и старинных художников, — не потому, что убедился вполне в их высоком достоинстве, но потому, чтобы колоть ими в глаза молодых художников. Уже он начинал, по обычаю всех, вступающих в такие лета, укорять без изъятья молодежь в безнравственности и дурном направлении духа. Уже начинал он верить, что всё на свете делается

просто, вдохновенья свыше нет и всё необходимо должно быть подвергнуто под один строгий порядок аккуратности и однообразья. Одним словом, жизнь его уже коснулась тех лет, когда всё, дышащее порывом, сжимается в человеке, когда могущественный смычок слабее доходит до души и не обвивается пронзительными звуками около сердца, когда прикосновенье красоты уже не превращает девственных сил в огонь и пламя, но все отгоревшие чувства становятся доступнее к звуку золота, вслушиваются внимательней в его заманчивую музыку и мало-помалу нечувствительно позволяют ей совершенно усыпить себя. Слава не может дать наслажденья тому, кто украл ее, а не заслужил; она производит постоянный трепет только в достойном ее. И потому все чувства и порывы его обратились к золоту. Золото сделалось его страстью, идеалом, страхом, наслажденьем, целью. Пуки ассигнаций росли в сундуках, и как всякий, кому достается в удел этот страшный дар, он начал становиться скучным, недоступным ко всему, кроме золота, беспричинным скрягой, беспутным собирателем и уже готов был обратиться в одно из тех странных существ, которых много попадается в нашем бесчувственном свете, на которых с ужасом глядит исполненный жизни и

сердца человек, которому кажутся они движущимися каменными гробами с мертвецом внутри наместо сердца. Но одно событие сильно потрясло и разбудило весь его жизненный состав.

В один день увидел он на столе своем записку, в которой Академия художеств просила его, как достойного ее члена, приехать дать суждение свое о новом, присланном из Италии, произведении усовершенствовавшегося там русского художника. Этот художник был один из прежних его товарищей, который от ранних лет носил в себе страсть к искусству, с пламенной душой труженика погрузился в него всей душою своей, оторвался от друзей, от родных, от милых привычек и помчался туда, где в виду прекрасных небес спеет величавый рассадник искусств, — в тот чудный Рим, при имени которого так полно и сильно бьется пламенное сердце художника. Там, как отшельник, погрузился он в труд и в неразвлекаемые ничем занятия. Ему не было до того дела, толковали ли о его характере, о его неумении обращаться с людьми, о несоблюдении светских приличий, о унижении, которое он причинял званию художника своим скудным, нещегольским нарядом. Ему не было нужды, сердилась ли, или нет на него его братья. Всем

пренебрегал он, всё отдал искусству. Неутомимо посещал галереи, по целым часам застаивался перед произведениями великих мастеров, ловя и преследуя чудную кисть. Ничего он не оканчивал без того, чтобы не поверить себя несколько раз с сими великими учителями и чтобы не прочесть в их созданьях безмолвного и красноречивого себе совета. Он не входил в шумные беседы и споры; он не стоял ни за пуристов, ни против пуристов. Он равно всему отдавал должную ему часть, извлекая изо всего только то, что было в нем прекрасно, и, наконец, оставил себе в учители одного божественного Рафаэля. Подобно как великий поэт-художник, перечитавший много всяких творений, исполненных многих прелестей и величавых красот, оставлял, наконец, себе настольною книгой одну только «Илиаду» Гомера, открыв, что в ней всё есть, чего хочешь, и что нет ничего, что бы не отразилось уже здесь в таком глубоком и великом совершенстве. И зато вынес он из своей школы величавую идею созданья, могучую красоту мысли, высокую прелесть небесной кисти.

Вошедши в залу, Чартков нашел уже целую огромную толпу посетителей, собравшихся перед картиною. Глубочайшее безмолвие, какое ред-

ко бывает между многолюдными ценителями, на этот раз царствовало всюду. Он поспешил принять значительную физиогномию знатока и приблизился к картине; но, Боже, что он увидел!

Чистое, непорочное, прекрасное, как невеста, стояло пред ним произведение художника. Скромно, божественно, невинно и просто, как гений, возносилось оно над всем. Казалось, небесные фигуры, изумленные столькими устремленными на них взорами, стыдливо опустили прекрасные ресницы. С чувством невольного изумления созерцали знатоки новую, невиданную кисть. Всё тут, казалось, соединилось вместе: изученье Рафаэля, отраженное в высоком благородстве положений, изучение Корреджия, дышавшее в окончательном совершенстве кисти. Но властительней всего видна была сила созданья, уже заключенная в душе самого художника. Последний предмет в картине был им проникнут; во всем постигнут закон и внутренняя сила. Везде уловлена была эта плывучая округлость линий, заключенная в природе, которую видит только один глаз художника-создателя и которая выходит углами у копииста. Видно было, как всё извлеченное из внешнего мира художник заключил сперва себе в душу и уже оттуда, из душевного родника,

устремил его одной согласной, торжественной песнью. И стало ясно даже непосвященным, какая неизмеримая пропасть существует между созданьем и простой копией с природы. Почти невозможно было выразить той необыкновенной тишины, которою невольно были объяты все, вперившие глаза на картину, — ни шелеста, ни звука; а картина между тем ежеминутно казалась выше и выше; светлей и чудесней отделялась от всего и вся превратилась, наконец, в один миг, плод налетевшей с небес на художника мысли, миг, к которому вся жизнь человеческая есть одно только приготовление. Невольные слезы готовы были покатиться по лицам посетителей, окруживших картину. Казалось, все вкусы, все дерзкие, неправильные уклонения вкуса слились в какой-то безмолвный гимн божественному произведению. Неподвижно, с отверстым ртом стоял Чартков перед картиною, и, наконец, когда мало-помалу посетители и знатоки зашумели и начали рассуждать о достоинстве произведения и когда, наконец, обратились к нему с просьбою объявить свои мысли, он пришел в себя; хотел принять равнодушный, обыкновенный вид, хотел сказать обыкновенное, пошлое суждение зачерствелых художников, вроде следующего:

«Да, конечно, правда, нельзя отнять таланта от художника; есть кое-что; видно, что хотел он выразить что-то; однако же, что касается до главного…» И вслед за этим прибавить, разумеется, такие похвалы, от которых бы не поздоровилось никакому художнику. Хотел это сделать, но речь умерла на устах его, слезы и рыдания нестройно вырвались в ответ, и он, как безумный, выбежал из залы.

С минуту, неподвижный и бесчувственный, стоял он посреди своей великолепной мастерской. Весь состав, вся жизнь его была разбужена в одно мгновение, как будто молодость возвратилась к нему, как будто потухшие искры таланта вспыхнули снова. С очей его вдруг слетела повязка. Боже! и погубить так безжалостно лучшие годы своей юности; истребить, погасить искру огня, может быть теплившегося в груди, может быть развившегося бы теперь в величии и красоте, может быть также исторгнувшего бы слезы изумления и благодарности! И погубить всё это, погубить без всякой жалости! Казалось, как будто в эту минуту разом и вдруг ожили в душе его те напряжения и порывы, которые некогда были ему знакомы.

Он схватил кисть и приблизился к холсту. Пот

усилия проступил на его лице; весь обратился он в одно желание и загорелся одною мыслию: ему хотелось изобразить отпадшего ангела. Эта идея была более всего согласна с состоянием его души.

Но, увы! фигуры его, позы, группы, мысли ложились принужденно и несвязно. Кисть его и воображение слишком уже заключились в одну мерку, и бессильный порыв преступить границы и оковы, им самим на себя наброшенные, уже отзывался неправильностию и ошибкою. Он пренебрег утомительную, длинную лестницу постепенных сведений и первых основных законов будущего великого. Досада его проникла. Он велел вынесть прочь из своей мастерской все последние произведенья, все безжизненные модные картинки, все портреты гусаров, дам и статских советников. Заперся один в своей комнате, не велел никого впускать и весь погрузился в работу. Как терпеливый юноша, как ученик, сидел он за своим трудом. Но как беспощадно-неблагодарно было всё то, что выходило из-под его кисти! На каждом шагу он был останавливаем незнанием самых первоначальных стихий; простой, незначащий механизм охлаждал весь порыв и стоял неперескочимым порогом для

воображения.

Кисть невольно обращалась к затверженным формам, руки складывались на один заученный манер, голова не смела сделать необыкновенного поворота, даже самые складки платья отзывались вытверженным и не хотели повиноваться и драпироваться на незнакомом положении тела. И он чувствовал, он чувствовал и видел это сам!

«Но точно ли был у меня талант? — сказал он наконец. — Не обманулся ли я?» И, произнесши эти слова, он подошел к прежним своим произведениям, которые работались когда-то так чисто, так бескорыстно, там, в бедной лачужке на уединенном Васильевском острову, вдали людей, изобилья и всяких прихотей. Он подошел теперь к ним и стал внимательно рассматривать их все, и вместе с ними стала представать в его памяти вся прежняя бедная жизнь его. «Да, — проговорил он отчаянно, — у меня был талант. Везде, на всем видны его признаки и следы…»

Он остановился и вдруг затрясся всем телом: глаза его встретились с неподвижно-вперившимися на него глазами. Это был тот необыкновенный портрет, который он купил на Щукином дворе. Всё время он был закрыт, загроможден другими картинами и вовсе вышел у него из мыслей.

Теперь же, как нарочно, когда были вынесены все модные портреты и картины, наполнявшие мастерскую, он выглянул наверх вместе с прежними произведениями его молодости. Как вспомнил он всю странную его историю, как вспомнил, что некоторым образом он, этот странный портрет, был причиной его превращенья, что денежный клад, полученный им таким чудесным образом, родил в нем все суетные побужденья, погубившие его талант, — почти бешенство готово было ворваться к нему в душу.

Он в ту ж минуту велел вынести прочь ненавистный портрет. Но душевное волненье оттого не умирилось: все чувства и весь состав были потрясены до дна, и он узнал ту ужасную муку, которая, как поразительное исключение, является иногда в природе, когда талант слабый силится выказаться в превышающем его размере и не может выказаться; ту муку, которая в юноше рождает великое, но в перешедшем за грань мечтаний обращается в бесплодную жажду; ту страшную муку, которая делает человека способным на ужасные злодеяния.

Им овладела ужасная зависть, зависть до бешенства. Желчь проступала у него на лице, когда он видел произведение, носившее печать талан-

та. Он скрежетал зубами и пожирал его взором василиска. В душе его возродилось самое адское намерение, какое когда-либо питал человек, и с бешеною силою бросился он приводить его в исполнение. Он начал скупать всё лучшее, что только производило художество. Купивши картину дорогою ценою, осторожно приносил в свою комнату и с бешенством тигра на нее кидался, рвал, разрывал ее, изрезывал в куски и топтал ногами, сопровождая смехом наслажденья. Бесчисленные собранные им богатства доставляли ему все средства удовлетворять этому адскому желанию. Он развязал все свои золотые мешки и раскрыл сундуки. Никогда ни одно чудовище невежества не истребило столько прекрасных произведений, сколько истребил этот свирепый мститель. На всех аукционах, куда только показывался он, всякий заранее отчаивался в приобретении художественного создания. Казалось, как будто разгневанное небо нарочно послало в мир этот ужасный бич, желая отнять у него всю его гармонию. Эта ужасная страсть набросила какой-то страшный колорит на него: вечная желчь присутствовала на лице его. Хула на мир и отрицание изображалось само собой в чертах его. Казалось, в нем олицетворился тот

страшный демон, которого идеально изобразил Пушкин. Кроме ядовитого слова и вечного порицанья, ничего не произносили его уста. Подобно какой-то гарпии, попадался он на улице, и все его даже знакомые, завидя его издали, старались увернуться и избегнуть такой встречи, говоря, что она достаточна отравить потом весь день.

К счастию мира и искусств, такая напряженная и насильственная жизнь не могла долго продолжаться: размер страстей был слишком неправилен и колоссален для слабых сил ее. Припадки бешенства и безумия начали оказываться чаще, и, наконец, всё это обратилось в самую ужасную болезнь. Жестокая горячка, соединенная с самою быстрою чахоткою, овладела им так свирепо, что в три дня оставалась от него одна тень только. К этому присоединились все признаки безнадежного сумасшествия. Иногда несколько человек не могли удержать его. Ему начали чудиться давно забытые, живые глаза необыкновенного портрета, и тогда бешенство его было ужасно. Все люди, окружавшие его постель, казались ему ужасными портретами. Он двоился, четверился в его глазах; все стены казались увешаны портретами, вперившими в него свои неподвижные, живые глаза. Страшные

портреты глядели с потолка, с полу, комната расширялась и продолжалась бесконечно, чтобы более вместить этих неподвижных глаз. Доктор, принявший на себя обязанность его пользовать и уже несколько наслышавшийся о странной его истории, старался всеми силами отыскать тайное отношение между грезившимися ему привидениями и происшествиями его жизни, но ничего не мог успеть. Больной ничего не понимал и не чувствовал, кроме своих терзаний, и издавал одни ужасные вопли и непонятные речи. Наконец жизнь его прервалась в последнем, уже безгласном, порыве страдания. Труп его был страшен. Ничего тоже не могли найти от огромных его богатств; но, увидевши изрезанные куски тех высоких произведений искусства, которых цена превышала миллионы, поняли ужасное их употребление.

## Часть II

Множество карет, дрожек и колясок стояло перед подъездом дома, в котором производилась аукционная продажа вещей одного из тех богатых любителей искусств, которые сладко продремали всю жизнь свою, погруженные в зефиры и амуры, которые невинно прослыли меценатами и простодушно издержали для этого миллионы, накопленные их основательными отцами, а часто даже собственными прежними трудами. Таких меценатов, как известно, теперь уже нет, и наш XIX век давно уже приобрел скучную физиогномию банкира, наслаждающегося своими миллионами только в виде цифр, выставляемых на бумаге. Длинная зала была наполнена самою пестрою толпой посетителей, налетевших, как хищные птицы, на неприбранное тело. Тут была целая флотилия русских купцов из Гостиного двора и даже толкучего рынка, в синих немецких сюртуках. Вид их и выраженье лиц были здесь как-то тверже, вольнее и не означались той приторной услужливостью, которая так видна в русском купце, когда он у себя в лавке перед покупщиком. Тут они вовсе не чинились,

несмотря на то что в этой же зале находилось множество тех аристократов, перед которыми они в другом месте готовы были своими поклонами смести пыль, нанесенную своими же сапогами. Здесь они были совершенно развязны, щупали без церемонии книги и картины, желая узнать доброту товара, и смело перебивали цену, набавляемую графами-знатоками. Здесь были многие необходимые посетители аукционов, постановившие каждый день бывать в нем вместо завтрака; аристократы-знатоки, почитавшие обязанностью не упустить случая умножить свою коллекцию и не находившие другого занятия от 12 до 1 часа; наконец те благородные господа, которых платья и карманы очень худы, которые являются ежедневно без всякой корыстолюбивой цели, но единственно, чтобы посмотреть, чем что кончится, кто будет давать больше, кто меньше, кто кого перебьет и за кем что останется.

Множество картин было разбросано совершенно без всякого толку; с ними были перемешаны и мебели, и книги с вензелями прежнего владетеля, может быть не имевшего вовсе похвального любопытства в них заглядывать. Китайские вазы, мраморные доски для столов, новые и старые мебели с выгнутыми линиями, с грифами, сфинк-

сами и львиными лапами, вызолоченные и без позолоты, люстры, кенкеты — всё было навалено, и вовсе не в таком порядке, как в магазинах. Всё представляло какой-то хаос искусств. Вообще ощущаемое нами чувство при виде аукциона страшно: в нем всё отзывается чем-то похожим на погребальную процессию. Зал, в котором он производится, всегда как-то мрачен; окна, загроможденные мебелями и картинами, скупо изливают свет, безмолвие, разлитое на лицах, и погребальный голос аукциониста, постукивающего молотком и отпевающего панихиду бедным, так странно встретившимся здесь искусствам. Всё это, кажется, усиливает еще более странную неприятность впечатленья.

Аукцион, казалось, был в самом разгаре. Целая толпа порядочных людей, сдвинувшись вместе, хлопотала о чем-то наперерыв. Со всех сторон раздававшиеся слова: «Рубль, рубль, рубль» — не давали времени аукционисту повторять надбавляемую цену, которая уже возросла вчетверо больше объявленной. Обступившая толпа хлопотала из-за портрета, который не мог не остановить всех, имевших сколько-нибудь понятия в живописи. Высокая кисть художника выказывалась в нем очевидно. Портрет, по-видимому, уже

несколько раз был ресторирован и поновлен и представлял смуглые черты какого-то азиатца в широком платье, с необыкновенным, странным выраженьем в лице; но более всего обступившие были поражены необыкновенной живостью глаз. Чем более всматривались в них, тем более они, казалось, устремлялись каждому вовнутрь. Эта странность, этот необыкновенный фокус художника заняли вниманье почти всех. Много уже из состязавшихся о нем отступились, потому что цену набили неимоверную. Остались только два известные аристократа, любители живописи, не хотевшие ни за что отказаться от такого приобретенья. Они горячились и набили бы, вероятно, цену до невозможности, если бы вдруг один из тут же рассматривавших не произнес:

— Позвольте мне прекратить на время ваш спор. Я, может быть, более нежели всякий другой, имею право на этот портрет.

Слова эти вмиг обратили на него внимание всех. Это был стройный человек, лет тридцати пяти, с длинными черными кудрями. Приятное лицо, исполненное какой-то светлой беззаботности, показывало душу, чуждую всех томящих светских потрясений; в наряде его не было никаких притязаний на моду: всё показывало в нем

артиста. Это был, точно, художник Б., знаемый лично многими из присутствовавших.

— Как ни странны вам покажутся слова мои, — продолжал он, видя устремившееся на себя всеобщее внимание, — но если вы решитесь выслушать небольшую историю, может быть вы увидите, что я был вправе произнести их. Всё меня уверяет, что портрет есть тот самый, которого я ищу.

Весьма естественное любопытство загорелось почти на лицах всех, и самый аукционист, разинув рот, остановился с поднятым в руке молотком, приготовляясь слушать. В начале рассказа многие обращались невольно глазами к портрету, но потом все вперились в одного рассказчика, по мере того как рассказ его становился занимательней.

— Вам известна та часть города, которую называют Коломною. — Так он начал. — Тут всё непохоже на другие части Петербурга; тут не столица и не провинция; кажется, слышишь, перейдя в коломенские улицы, как оставляют тебя всякие молодые желанья и порывы. Сюда не заходит будущее, здесь всё тишина и отставка; всё, что осело от столичного движенья. Сюда переезжают на житье отставные чиновники, вдовы, небогатые

люди, имеющие знакомство с сенатом и потому осудившие себя здесь почти на всю жизнь; выслужившиеся кухарки, толкающиеся целый день на рынках, болтающие вздор с мужиком в мелочной лавочке и забирающие каждый день на пять копеек кофию да на четыре сахару, и, наконец, весь тот разряд людей, который можно назвать одним словом: пепельный, — людей, которые с своим платьем, лицом, волосами, глазами имеют какую-то мутную, пепельную наружность, как день, когда нет на небе ни бури, ни солнца, а бывает просто ни се ни то: сеется туман и отнимает всякую резкость у предметов. Сюда можно причислить отставных театральных капельдинеров, отставных титулярных советников, отставных питомцев Марса с выколотым глазом и раздутою губою. Эти люди вовсе бесстрастны: идут, ни на что не обращая глаз, молчат, ни о чем не думая. В комнате их не много добра; иногда просто штоф чистой русской водки, которую они однообразно сосут весь день без всякого сильного прилива в голове, возбуждаемого сильным приемом, какой обыкновенно любит задавать себе по воскресным дням молодой немецкий ремесленник, этот удалец Мещанской улицы, один владеющий всем тротуаром, когда время перешло за двенадцать

часов ночи.

Жизнь в Коломне страх уединенна: редко покажется карета, кроме разве той, в которой ездят актеры, которая громом, звоном и бряканьем своим одна смущает всеобщую тишину. Тут всё пешеходы; извозчик весьма часто без седока плетется, таща сено для бородатой лошаденки своей. Квартиру можно сыскать за пять рублей в месяц, даже с кофием поутру. Вдовы, получающие пенсион, тут самые аристократические фамилии; они ведут себя хорошо, метут часто свою комнату, толкуют с приятельницами о дороговизне говядины и капусты; при них часто бывает молоденькая дочь, молчаливое, безгласное, иногда миловидное существо, гадкая собачонка и стенные часы с печально постукивающим маятником. Потом следуют актеры, которым жалованье не позволяет выехать из Коломны, народ свободный, как все артисты, живущие для наслажденья. Они, сидя в халатах, чинят пистолет, клеют из картона всякие вещицы, полезные для дома, играют с пришедшим приятелем в шашки и карты, и так проводят утро, делая почти то же ввечеру, с присоединеньем кое-когда пунша. После сих тузов и аристократства Коломны следует необыкновенная дробь и мелочь. Их

так же трудно поименовать, как исчислить то множество насекомых, которое зарождается в старом уксусе. Тут есть старухи, которые молятся; старухи, которые пьянствуют; старухи, которые и молятся и пьянствуют вместе; старухи, которые перебиваются непостижимыми средствами, как муравьи — таскают с собою старое тряпье и белье от Калинкина мосту до толкучего рынка, с тем чтобы продать его там за пятнадцать копеек; словом, часто самый несчастный осадок человечества, которому бы ни один благодетельный политический эконом не нашел средств улучшить состояние.

Я для того привел их, чтобы показать вам, как часто этот народ находится в необходимости искать одной только внезапной, временной помощи, прибегать к займам; и тогда поселяются между ними особого рода ростовщики, снабжающие небольшими суммами под заклады и за большие проценты. Эти небольшие ростовщики бывают в несколько раз бесчувственней всяких больших, потому что возникают среди бедности и ярко выказываемых нищенских лохмотьев, которых не видит богатый ростовщик, имеющий дело только с приезжающими в каретах. И потому уже слишком рано умирает в душах их всякое

чувство человечества. Между такими ростовщиками был один… но не мешает вам сказать, что происшествие, о котором я принялся рассказать, относится к прошедшему веку, именно к царствованию покойной государыни Екатерины Второй. Вы можете сами понять, что самый вид Коломны и жизнь внутри ее должны были значительно измениться. Итак, между ростовщиками был один — существо во всех отношениях необыкновенное, поселившееся уже давно в сей части города. Он ходил в широком азиатском наряде; темная краска лица указывала на южное его происхождение, но какой именно был он нации: индеец, грек, персиянин, об этом никто не мог сказать наверно. Высокий, почти необыкновенный рост, смуглое, тощее, запаленное лицо и какой-то непостижимо-страшный цвет его, большие, необыкновенного огня глаза, нависнувшие густые брови отличали его сильно и резко от всех пепельных жителей столицы. Самое жилище его не похоже было на прочие маленькие деревянные домики. Это было каменное строение, вроде тех, которых когда-то настроили вдоволь генуэзские купцы, — с неправильными, неравной величины окнами, с железными ставнями и засовами. Этот ростовщик отличался от других

ростовщиков уже тем, что мог снабдить какою угодно суммою всех, начиная от нищей старухи до расточительного придворного вельможи. Пред домом его показывались часто самые блестящие экипажи, из окон которых иногда глядела голова роскошной светской дамы. Молва, по обыкновению, разнесла, что железные сундуки его полны без счету денег, драгоценностей, бриллиантов и всяких залогов, но что, однако же, он вовсе не имел той корысти, какая свойственна другим ростовщикам. Он давал деньги охотно, распределяя, казалось, весьма выгодно сроки платежей; но какими-то арифметическими странными выкладками заставлял их восходить до непомерных процентов. Так по крайней мере говорила молва. Но что страннее всего и что не могло не поразить многих — это была странная судьба всех тех, которые получали от него деньги: все они оканчивали жизнь несчастным образом. Было ли это просто людское мнение, нелепые суеверные толки или с умыслом распущенные слухи — это осталось неизвестно. Но несколько примеров, случившихся в непродолжительное время пред глазами всех, были живы и разительны.

Из среды тогдашнего аристократства скоро обратил на себя глаза юноша лучшей фамилии,

отличившийся уже в молодых летах на государственном поприще, жаркий почитатель всего истинного, возвышенного, ревнитель всего, что породило искусство и ум человека, пророчивший в себе мецената. Скоро он был достойно отличен самой государыней, вверившей ему значительное место, совершенно согласное с собственными его требованиями, место, где он мог много произвести для наук и вообще для добра. Молодой вельможа окружил себя художниками, поэтами, учеными.

Ему хотелось всему дать работу, всё поощрить. Он предпринял на собственный счет множество полезных изданий, надавал множество заказов, объявил поощрительные призы, издержал на это кучи денег и, наконец, расстроился. Но, полный великодушного движенья, он не хотел отстать от своего дела, искал везде занять и, наконец, обратился к известному ростовщику. Сделавши значительный заем у него, этот человек в непродолжительное время изменился совершенно: стал гонителем, преследователем развивающегося ума и таланта. Во всех сочинениях стал видеть дурную сторону, толковал криво всякое слово. Тогда, на беду, случилась французская революция. Это послужило ему вдруг орудием

для всех возможных гадостей. Он стал видеть во всем какое-то революционное направление, во всем ему чудились намеки. Он сделался подозрительным до такой степени, что начал, наконец, подозревать самого себя, стал сочинять ужасные, несправедливые доносы, наделал тьму несчастных. Само собой разумеется, что такие поступки не могли не достигнуть, наконец, престола.

Великодушная государыня ужаснулась и, полная благородства души, украшающего венценосцев, произнесла слова, которые хотя не могли перейти к нам во всей точности, но глубокий смысл их впечатлелся в сердцах многих. Государыня заметила, что не под монархическим правлением угнетаются высокие, благородные движенья души, не там презираются и преследуются творенья ума, поэзии и художеств; что, напротив, одни монархи бывали их покровителями; что Шекспиры, Мольеры процветали под их великодушной защитой, между тем как Дант не мог найти угла в своей республиканской родине; что истинные гении возникают во время блеска и могущества государей и государств, а не во время безобразных политических явлений и терроризмов республиканских, которые доселе не подарили миру ни одного поэта; что нужно от-

личать поэтов-художников, ибо один только мир и прекрасную тишину низводят они в душу, а не волненье и ропот; что ученые, поэты и все производители искусств суть перлы и бриллианты в императорской короне: ими красуется и получает еще больший блеск эпоха великого государя. Словом, государыня, произнесшая сии слова, была в эту минуту божественно прекрасна. Я помню, что старики не могли об этом говорить без слез. В деле все приняли участие. К чести нашей народной гордости надобно заметить, что в русском сердце всегда обитает прекрасное чувство взять сторону угнетенного. Обманувший доверенность вельможа был наказан примерно и отставлен от места. Но наказание гораздо ужаснейшее читал он на лицах своих соотечественников. Это было решительное и всеобщее презрение. Нельзя рассказать, как страдала тщеславная душа; гордость, обманутое честолюбие, разрушившиеся надежды — всё соединилось вместе, и в припадках страшного безумия и бешенства прервалась его жизнь.

Другой разительный пример произошел тоже в виду всех: из красавиц, которыми не бедна была тогда наша северная столица, одна одержала решительное первенство над всеми. Это было какое-то чудное слиянье нашей северной красоты с

красотой полудня, бриллиант, какой попадается на свете редко. Отец мой признавался, что никогда он не видывал во всю жизнь свою ничего подобного. Всё, казалось, в ней соединилось: богатство, ум и душевная прелесть. Искателей была толпа, и в числе их замечательнее всех был князь Р., благороднейший, лучший из всех молодых людей, прекраснейший и лицом и рыцарскими, великодушными порывами, высокий идеал романов и женщин, Грандиссон во всех отношениях. Князь Р. был влюблен страстно и безумно; такая же пламенная любовь была ему ответом. Но родственникам показалась партия неровною. Родовые вотчины князя уже давно ему не принадлежали, фамилия была в опале, и плохое положенье дел его было известно всем. Вдруг князь оставляет на время столицу, будто бы с тем, чтобы поправить свои дела, и, спустя непродолжительное время, является окруженный пышностью и блеском неимоверным. Блистательные балы и праздники делают его известным двору. Отец красавицы становится благосклонным, и в городе разыгрывается интереснейшая свадьба. Откуда произошла такая перемена и неслыханное богатство жениха, этого не мог наверно изъяснить никто; но по-

говаривали стороною, что он вошел в какие-то условия с непостижимым ростовщиком и сделал у него заем. Как бы то ни было, но свадьба заняла весь город. И жених и невеста были предметом общей зависти. Всем была известна их жаркая, постоянная любовь, долгие томленья, претерпенные с обеих сторон, высокие достоинства обоих. Пламенные женщины начертывали заранее то райское блаженство, которым будут наслаждаться молодые супруги. Но вышло всё иначе. В один год произошла страшная перемена в муже. Ядом подозрительной ревности, нетерпимостью и неистощимыми капризами отравился дотоле благородный и прекрасный характер. Он стал тираном и мучителем жены своей и, чего бы никто не мог предвидеть, прибегнул к самым бесчеловечным поступкам, даже побоям. В один год никто не мог узнать той женщины, которая еще недавно блистала и влекла за собою толпы покорных поклонников.

Наконец, не в силах будучи выносить долее тяжелой судьбы своей, она первая заговорила о разводе. Муж пришел в бешенство при одной мысли о том. В первом движеньи неистовства ворвался он к ней в комнату с ножом и, без сомнения, заколол бы ее тут же, если бы его не схватили

и не удержали. В порыве исступленья и отчаянья он обратил нож на себя — и в ужаснейших муках окончил жизнь.

Кроме сих двух примеров, совершившихся в глазах всего общества, рассказывали множество случившихся в низших классах, которые почти все имели ужасный конец. Там честный, трезвый человек делался пьяницей; там купеческий приказчик обворовал своего хозяина; там извозчик, возивший несколько лет честно, за грош зарезал седока. Нельзя, чтобы такие происшествия, рассказываемые иногда не без прибавлений, не навели род какого-то невольного ужаса на скромных обитателей Коломны. Никто не сомневался о присутствии нечистой силы в этом человеке. Говорили, что он предлагал такие условия, от которых дыбом поднимались волоса и которых никогда потом не посмел несчастный передавать другому; что деньги его имеют прожигающее свойство, раскаляются сами собою и носят какие-то странные знаки… словом, много было всяких нелепых толков. И замечательно то, что всё это коломенское население, весь этот мир бедных старух, мелких чиновников, мелких артистов и, словом, всей мелюзги, которую мы только поименовали, соглашались лучше терпеть и выносить

последнюю крайность, нежели обратиться к страшному ростовщику; находили даже умерших от голода старух, которые лучше соглашались умертвить свое тело, нежели погубить душу. Встречаясь с ним на улице, невольно чувствовали страх. Пешеход осторожно пятился и долго еще озирался после того назад, следя пропадавшую вдали его непомерную высокую фигуру.

В одном уже образе было столько необыкновенного, что всякого заставило бы невольно приписать ему сверхъестественное существование. Эти сильные черты, врезанные так глубоко, как не случается у человека; этот горячий бронзовый цвет лица; эта непомерная гущина бровей, невыносимые, страшные глаза, даже самые широкие складки его азиатской одежды — всё, казалось, как будто говорило, что пред страстями, двигавшимися в этом теле, были бледны все страсти других людей. Отец мой всякий раз останавливался неподвижно, когда встречал его, и всякий раз не мог удержаться, чтобы не произнести: «Дьявол, совершенный дьявол!» Но надобно вас поскорее познакомить с моим отцом, который, между прочим, есть настоящий сюжет этой истории.

Отец мой был человек замечательный во мно-

гих отношениях. Это был художник, каких мало, одно из тех чуд, которых извергает из непочатого лона своего только одна Русь, художник-самоучка, отыскавший сам в душе своей, без учителей и школы, правила и законы, увлеченный только одною жаждою усовершенствованья и шедший, по причинам, может быть, неизвестным ему самому, одною только указанною из души дорогою; одно из тех самородных чуд, которых часто современники честят обидным словом «невежи» и которые не охлаждаются от охулений и собственных неудач, получают только новые рвенья и силы и уже далеко в душе своей уходят от тех произведений, за которые получили титло невежи. Высоким внутренним инстинктом почуял он присутствие мысли в каждом предмете; постигнул сам собой истинное значение слова «историческая живопись»; постигнул, почему простую головку, простой портрет Рафаэля, Леонардо да Винчи, Тициана, Корреджио можно назвать историческою живописью и почему огромная картина исторического содержания всё-таки будет tableau de genre[7], несмотря на все притязанья художника на историческую

**[7] Примечания: 7**
Жанровая, то есть бытовая картина *(франц.).*

живопись.

И внутреннее чувство, и собственное убеждение обратили кисть его к христианским предметам, высшей и последней ступени высокого. У него не было честолюбия или раздражительности, так неотлучной от характера многих художников. Это был твердый характер, честный, прямой человек, даже грубый, покрытый снаружи несколько черствой корою, не без некоторой гордости в душе, отзывавшийся о людях вместе и снисходительно, и резко. «Что на них глядеть, — обыкновенно говорил он, — ведь я не для них работаю. Не в гостиную понесу я мои картины, их поставят в церковь. Кто поймёт меня — поблагодарит, не поймет — всё-таки помолится Богу. Светского человека нечего винить, что он не смыслит живописи; зато он смыслит в картах, знает толк в хорошем вине, в лошадях, — зачем знать больше барину? Еще, пожалуй, как попробует того да другого да пойдет умничать, тогда и житья от него не будет! Всякому свое, всякий пусть занимается своим. По мне, уж лучше тот человек, который говорит прямо, что он не знает толку, нежели тот, который корчит лицемера, говорит, будто бы знает то, чего не знает, и только гадит да портит». Он работал за небольшую

плату, то есть за плату, которая была нужна ему только для поддержанья семейства и для доставленья возможности трудиться. Кроме того, он ни в каком случае не отказывался помочь другому и протянуть руку помощи бедному художнику; веровал простой, благочестивой верою предков, и оттого, может быть, на изображенных им лицах являлось само собою то высокое выраженье, до которого не могли докопаться блестящие таланты. Наконец постоянством своего труда и неуклонностью начертанного себе пути он стал даже приобретать уважение со стороны тех, которые честили его невежей и доморощенным самоучкой. Ему давали беспрестанно заказы в церкви, и работа у него не переводилась. Одна из работ заняла его сильно. Не помню уже, в чем именно состоял сюжет ее, знаю только то — на картине нужно было поместить духа тьмы. Долго думал он над тем, какой дать ему образ; ему хотелось осуществить в лице его всё тяжелое, гнетущее человека. При таких размышлениях иногда проносился в голове его образ таинственного ростовщика, и он думал невольно: «Вот бы с кого мне следовало написать дьявола». Судите же об его изумлении, когда один раз, работая в своей мастерской, услышал он стук в дверь и вслед за

тем прямо вошел к нему ужасный ростовщик. Он не мог не почувствовать какой-то внутренней дрожи, которая пробежала невольно по его телу.

— Ты художник? — сказал он без всяких церемоний моему отцу.

— Художник, — сказал отец в недоуменьи, ожидая, что будет далее.

— Хорошо. Нарисуй с меня портрет. Я, может быть, скоро умру, детей у меня нет; но я не хочу умереть совершенно, я хочу жить. Можешь ли ты нарисовать такой портрет, чтобы был совершенно как живой?

Отец мой подумал: «Чего лучше? — он сам просится в дьяволы ко мне на картину». Дал слово. Они уговорились во времени и цене, и на другой же день, схвативши палитру и кисти, отец мой уже был у него. Высокий двор, собаки, железные двери и затворы, дугообразные окна, сундуки, покрытые старинными коврами, и, наконец, сам необыкновенный хозяин, севший неподвижно перед ним, — всё это произвело на него странное впечатление. Окна, как нарочно, были заставлены и загромождены снизу так, что давали свет только с одной верхушки. «Черт побери, как теперь хорошо осветилось его лицо!» — сказал он про себя и принялся жадно писать, как бы

опасаясь, чтобы как-нибудь не исчезло счастливое освещенье. «Экая сила! — повторил он про себя. — Если я хотя вполовину изображу его так, как он есть теперь, он убьет всех моих святых и ангелов; они побледнеют пред ним. Какая дьявольская сила! он у меня просто выскочит из полотна, если только хоть немного буду верен натуре. Какие необыкновенные черты!» — повторял он беспрестанно, усугубляя рвенье, и уже видел сам, как стали переходить на полотно некоторые черты. Но чем более он приближался к ним, тем более чувствовал какое-то тягостное, тревожное чувство, непонятное себе самому. Однако же, несмотря на то, он положил себе преследовать с буквальною точностью всякую незаметную черту и выраженье. Прежде всего занялся он отделкою глаз. В этих глазах столько было силы, что, казалось, нельзя бы и помыслить передать их точно, как были в натуре. Однако же во что бы то ни стало он решился доискаться в них последней мелкой черты и оттенка, постигнуть их тайну… Но как только начал он входить и углубляться в них кистью, в душе его возродилось такое странное отвращенье, такая непонятная тягость, что он должен был на несколько времени бросить кисть и потом приниматься вновь. Наконец уже

не мог он более выносить, он чувствовал, что эти глаза вонзались ему в душу и производили в ней тревогу непостижимую. На другой, на третий день это было еще сильнее. Ему сделалось страшно. Он бросил кисть и сказал наотрез, что не может более писать с него. Надобно было видеть, как изменился при этих словах странный ростовщик. Он бросился к нему в ноги и молил кончить портрет, говоря, что от сего зависит судьба его и существованье в мире, что уже он тронул своею кистью его живые черты, что если он передаст их верно, жизнь его сверхъестественною силою удержится в портрете, что он чрез то не умрет совершенно, что ему нужно присутствовать в мире. Отец мой почувствовал ужас от таких слов: они ему показались до того странны и страшны, что он бросил и кисти и палитру и бросился опрометью вон из комнаты.

Мысль о том тревожила его весь день и всю ночь, а поутру он получил от ростовщика портрет, который принесла ему какая-то женщина, единственное существо, бывшее у него в услугах, объявившая тут же, что хозяин не хочет портрета, не дает за него ничего и присылает назад. Ввечеру того же дни узнал он, что ростовщик умер и что собираются уже хоронить его по обрядам его рели-

гии. Всё это казалось ему неизъяснимо странно. А между тем с этого времени оказалась в характере его ощутительная перемена: он чувствовал неспокойное, тревожное состояние, которому сам не мог понять причины, и скоро произвел он такой поступок, которого бы никто не мог от него ожидать. С некоторого времени труды одного из учеников его начали привлекать внимание небольшого круга знатоков и любителей. Отец мой всегда видел в нем талант и оказывал ему за то свое особенное расположенье.

Вдруг почувствовал он к нему зависть. Всеобщее участие и толки о нем сделались ему невыносимы.

Наконец, к довершенью досады, узнает он, что ученику его предложили написать картину для вновь отстроенной богатой церкви. Это его взорвало. «Нет, не дам же молокососу восторжествовать! — говорил он. — Рано, брат, вздумал стариков сажать в грязь! Еще, слава Богу, есть у меня силы.

Вот мы увидим, кто кого скорее посадит в грязь».

И прямодушный, честный в душе человек употребил интриги и происки, которыми дотоле всегда гнушался; добился, наконец, того, что на

картину объявлен был конкурс и другие художники могли войти также с своими работами. После чего заперся он в свою комнату и с жаром принялся за кисть. Казалось, все свои силы, всего себя хотел он сюда собрать. И, точно, это вышло одно из лучших его произведений. Никто не сомневался, чтобы не за ним осталось первенство. Картины были представлены, и все прочие показались пред нею, как ночь пред днем. Как вдруг один из присутствовавших членов, если не ошибаюсь духовная особа, сделал замечание, поразившее всех. «В картине художника, точно, есть много таланта, — сказал он, — но нет святости в лицах; есть даже, напротив того, что-то демонское в глазах, как будто бы рукою художника водило нечистое чувство». Все взглянули и не могли не убедиться в истине сих слов. Отец мой бросился вперед к своей картине, как бы с тем, чтобы поверить самому такое обидное замечание, и с ужасом увидел, что он всем почти фигурам придал глаза ростовщика. Они так глядели демонски-сокрушительно, что он сам невольно вздрогнул. Картина была отвергнута, и он должен был, к неописанной своей досаде, услышать, что первенство осталось за его учеником. Невозможно было описать того бешенства, с

которым он возвратился домой. Он чуть не прибил мать мою, разогнал детей, переломал кисти и мольберт, схватил со стены портрет ростовщика, потребовал ножа и велел разложить огонь в камине, намереваясь изрезать его в куски и сжечь. На этом движеньи застал его вошедший в комнату приятель, живописец, как и он, весельчак, всегда довольный собой, не заносившийся никакими отдаленными желаньями, работавший весело всё, что попадалось, и еще веселей того принимавшийся за обед и пирушку.

— Что ты делаешь, что собираешься жечь? — сказал он и подошел к портрету. — Помилуй, это одно из самых лучших твоих произведений. Это ростовщик, который недавно умер; да это совершеннейшая вещь. Ты ему просто попал не в бровь, а в самые глаза залез. Так в жизнь никогда не глядели глаза, как они глядят у тебя.

— А вот я посмотрю, как они будут глядеть в огне, — сказал отец, сделавши движенье швырнуть его в камин.

— Остановись, ради Бога! — сказал приятель, удержав его. — Отдай его уж лучше мне, если он тебе до такой степени колет глаз.

Отец сначала упорствовал, наконец согласился, и весельчак, чрезвычайно довольный своим

приобретением, утащил портрет с собою.

По уходе его отец мой вдруг почувствовал себя спокойнее. Точно как будто бы вместе с портретом свалилась тяжесть с его души. Он сам изумился своему злобному чувству, своей зависти и явной перемене своего характера. Рассмотревши поступок свой, он опечалился душою и не без внутренней скорби произнес:

— Нет, это Бог наказал меня; картина моя поделом понесла посрамленье. Она была замышлена с тем, чтобы погубить брата. Демонское чувство зависти водило моею кистью, демонское чувство должно было и отразиться в ней.

Он немедленно отправился искать бывшего ученика своего, обнял его крепко, просил у него прощенья и старался, сколько мог, загладить пред ним вину свою. Работы его вновь потекли по-прежнему безмятежно; но задумчивость стала показываться чаще на его лице. Он больше молился, чаще бывал молчалив и не выражался так резко о людях; самая грубая наружность его характера как-то умягчилась. Скоро одно обстоятельство еще более потрясло его. Он уже давно не видался с товарищем своим, выпросившим у него портрет. Уже собирался было идти его проведать, как вдруг он сам вошел неожиданно в

его комнату. После нескольких слов и вопросов с обеих сторон он сказал:

— Ну, брат, недаром ты хотел сжечь портрет. Черт его побери, в нем есть что-то странное… Я ведьмам не верю, но, воля твоя: в нем сидит нечистая сила…

— Как? — сказал отец мой.

— А так, что с тех пор, как повесил я к себе его в комнату, почувствовал тоску такую… точно как будто бы хотел кого-то зарезать. В жизнь мою я не знал, что такое бессонница, а теперь испытал не только бессонницу, но сны такие… я и сам не умею сказать, сны ли это, или что другое: точно домовой тебя душит, и всё мерещится проклятый старик. Одним словом, не могу рассказать тебе моего состояния. Подобного со мной никогда не бывало. Я бродил как шальной все эти дни: чувствовал какую-то боязнь, неприятное ожиданье чего-то. Чувствую, что не могу сказать никому веселого и искреннего слова; точно как будто возле меня сидит шпион какой-нибудь. И только с тех пор, как отдал портрет племяннику, который напросился на него, почувствовал, что с меня вдруг будто какой-то камень свалился с плеч: вдруг почувствовал себя веселым, как видишь. Ну, брат, состряпал ты черта!

Во время этого рассказа отец мой слушал его с неразвлекаемым вниманием и, наконец, спросил:

— И портрет теперь у твоего племянника?

— Куда у племянника! не выдержал, — сказал весельчак, — знать, душа самого ростовщика переселилась в него: он выскакивает из рам, расхаживает по комнате; и то, что рассказывает племянник, просто уму непонятно. Я бы принял его за сумасшедшего, если бы отчасти не испытал сам. Он его продал какому-то собирателю картин, да и тот не вынес его и тоже кому-то сбыл с рук.

Этот рассказ произвел сильное впечатленье на моего отца. Он задумался не в шутку, впал в ипохондрию и, наконец, совершенно уверился в том, что кисть его послужила дьявольским орудием, что часть жизни ростовщика перешла в самом деле как-нибудь в портрет и тревожит теперь людей, внушая бесовские побуждения, совращая художника с пути, порождая страшные терзанья зависти, и проч., и проч. Три случившиеся вслед за тем несчастия, три внезапные смерти — жены, дочери и малолетнего сына — почел он небесною казнью себе и решился непременно оставить свет. Как только минуло мне девять лет, он поместил меня в Академию художеств и,

расплатясь с своими должниками, удалился в одну уединенную обитель, где скоро постригся в монахи. Там строгостью жизни, неусыпным соблюдением всех монастырских правил он изумил всю братью. Настоятель монастыря, узнавши об искусстве его кисти, требовал от него написать главный образ в церковь. Но смиренный брат сказал наотрез, что он недостоин взяться за кисть, что она осквернена, что трудом и великими жертвами он должен прежде очистить свою душу, чтобы удостоиться приступить к такому делу. Его не хотели принуждать. Он сам увеличивал для себя, сколько было возможно, строгость монастырской жизни. Наконец уже и она становилась ему недостаточною и не довольно строгою. Он удалился с благословенья настоятеля в пустынь, чтоб быть совершенно одному. Там из древесных ветвей выстроил он себе келью, питался одними сырыми кореньями, таскал на себе камни с места на место, стоял от восхода до заката солнечного на одном и том же месте с поднятыми к небу руками, читая беспрерывно молитвы. Словом, изыскивал, казалось, все возможные степени терпенья и того непостижимого самоотверженья, которому примеры можно разве найти в одних житиях святых.

Таким образом долго, в продолжение нескольких лет, изнурял он свое тело, подкрепляя его в то же время живительною силою молитвы. Наконец в один день пришел он в обитель и сказал твердо настоятелю: «Теперь я готов. Если Богу угодно, я совершу свой труд». Предмет, взятый им, было Рождество Иисуса. Целый год сидел он за ним, не выходя из своей кельи, едва питая себя суровой пищей, молясь беспрестанно. По истечении года картина была готова. Это было, точно, чудо кисти.

Надобно знать, что ни братья, ни настоятель не имели больших сведений в живописи, но все были поражены необыкновенной святостью фигур. Чувство божественного смиренья и кротости в лице Пречистой Матери, склонившейся над младенцем, глубокий разум в очах Божественного Младенца, как будто уже что-то прозревающих вдали, торжественное молчанье пораженных божественным чудом царей, повергнувшихся к ногам его, и, наконец, святая, невыразимая тишина, обнимающая всю картину, — всё это предстало в такой согласной силе и могуществе красоты, что впечатленье было магическое. Вся братья поверглась на колена пред новым образом, и умиленный настоятель произнес: «Нет,

нельзя человеку с помощью одного человеческого искусства произвести такую картину:

святая, высшая сила водила твоею кистью, и благословенье небес почило на труде твоем».

В это время окончил я свое ученье в Академии, получил золотую медаль и вместе с нею радостную надежду на путешествие в Италию — лучшую мечту двадцатилетнего художника. Мне оставалось только проститься с моим отцом, с которым уже двенадцать лет я расстался. Признаюсь, даже самый образ его давно исчезнул из моей памяти. Я уже несколько наслышался о суровой святости его жизни и заранее воображал встретить черствую наружность отшельника, чуждого всему в мире, кроме своей кельи и молитвы, изнуренного, высохшего от вечного поста и бденья. Но как же я изумился, когда предстал предо мною прекрасный, почти божественный старец! И следов изможденья не было заметно на его лице: оно сияло светлостью небесного веселия. Белая, как снег, борода и тонкие, почти воздушные волосы такого же серебристого цвета рассыпались картинно по груди и по складкам его черной рясы и падали до самого вервия, которым опоясывалась его убогая монашеская одежда; но более всего изумительно было для меня услы-

шать из уст его такие слова и мысли об искусстве, которые, признаюсь, я долго буду хранить в душе и желал бы искренно, чтобы всякий мой собрат сделал то же.

— Я ждал тебя, сын мой, — сказал он, когда я подошел к его благословенью. — Тебе предстоит путь, по которому отныне потечет жизнь твоя. Путь твой чист, не совратись с него. У тебя есть талант; талант есть драгоценнейший дар Бога — не погуби его. Исследуй, изучай всё, что ни видишь, покори всё кисти, но во всем умей находить внутреннюю мысль и пуще всего старайся постигнуть высокую тайну созданья. Блажен избранник, владеющий ею. Нет ему низкого предмета в природе. В ничтожном художник-создатель так же велик, как и в великом; в презренном у него уже нет презренного, ибо сквозит невидимо сквозь него прекрасная душа создавшего, и презренное уже получило высокое выражение, ибо протекло сквозь чистилище его души. Намек о божественном, небесном рае заключен для человека в искусстве, и по тому одному оно уже выше всего. И во сколько раз торжественный покой выше всякого волненья мирского; во сколько раз творенье выше разрушенья; во сколько раз ангел одной только чистой невинностью светлой души своей

выше всех несметных сил и гордых страстей сатаны, — во столько раз выше всего, что ни есть на свете, высокое созданье искусства. Всё принеси ему в жертву и возлюби его всей страстью. Не страстью, дышащей земным вожделением, но тихой небесной страстью; без нее не властен человек возвыситься от земли и не может дать чудных звуков успокоения. Ибо для успокоения и примирения всех нисходит в мир высокое созданье искусства. Оно не может поселить ропота в душе, но звучащей молитвой стремится вечно к Богу. Но есть минуты, темные минуты…

Он остановился, и я заметил, что вдруг омрачился светлый лик его, как будто бы на него набежало какое-то мгновенное облако.

— Есть одно происшествие в моей жизни, — сказал он. — Доныне я не могу понять, что был тот странный образ, с которого я написал изображение. Это было точно какое-то дьявольское явление. Я знаю, свет отвергает существованье дьявола, и потому не буду говорить о нем. Но скажу только, что я с отвращением писал его, я не чувствовал в то время никакой любви к своей работе. Насильно хотел покорить себя и бездушно, заглушив всё, быть верным природе. Это не было созданье искусства, и потому чувства, кото-

рые объемлют всех при взгляде на него, суть уже мятежные чувства, тревожные чувства, — не чувства художника, ибо художник и в тревоге дышит покоем. Мне говорили, что портрет этот ходит по рукам и рассевает томительные впечатленья, зарождая в художнике чувство зависти, мрачной ненависти к брату, злобную жажду производить гоненья и угнетенья. Да хранит тебя Всевышний от сих страстей! Нет их страшнее. Лучше вынести всю горечь возможных гонений, нежели нанести кому-либо одну тень гоненья. Спасай чистоту души своей. Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть душою. Другому простится многое, но ему не простится. Человеку, который вышел из дому в светлой праздничной одежде, стоит только быть обрызну-ту одним пятном грязи из-под колеса, и уже весь народ обступил его, и указывает на него пальцем, и толкует об его неряшестве, тогда как тот же народ не замечает множества пятен на других проходящих, одетых в будничные одежды. Ибо на будничных одеждах не замечаются пятна.

Он благословил меня и обнял. Никогда в жизни не был я так возвышенно подвигнут. Благоговейно, более нежели с чувством сына, прильнул я к груди его и поцеловал в рассыпавшиеся его

серебряные волосы. Слеза блеснула в его глазах.

— Исполни, сын мой, одну мою просьбу, — сказал он мне уже при самом расставаньи. — Может быть, тебе случится увидеть где-нибудь тот портрет, о котором я говорил тебе. Ты его узнаешь вдруг по необыкновенным глазам и неестественному их выражению, — во что бы то ни было истреби его…

Вы можете судить сами, мог ли я не обещать клятвенно исполнить такую просьбу. В продолжение целых пятнадцати лет не случалось мне встретить ничего такого, что бы хотя сколько-нибудь походило на описание, сделанное моим отцом, как вдруг теперь, на аукционе…

Здесь художник, не договорив еще своей речи, обратил глаза на стену, с тем чтобы взглянуть еще раз на портрет. То же самое движение сделала в один миг вся толпа слушавших, ища глазами необыкновенного портрета. Но, к величайшему изумлению, его уже не было на стене. Невнятный говор и шум пробежал по всей толпе, и вслед за тем послышались явственно слова: «Украден». Кто-то успел уже стащить его, воспользовавшись вниманьем слушателей, увлеченных рассказом. И долго все присутствовавшие оставались в недоумении, не зная, действительно ли они видели

эти необыкновенные глаза, или это была просто мечта, представшая только на миг глазам их, утружденным долгим рассматриваньем старинных картин.

*1833*

# Михаил Лермонтов
# Штосс

# 1

У графа В… был музыкальный вечер. Первые артисты столицы платили своим искусством за честь аристократического приема; в числе гостей мелькало несколько литераторов и ученых; две или три модные красавицы; несколько барышень и старушек и один гвардейский офицер. Около десятка доморощенных львов красовалось в дверях второй гостиной и у камина; все шло своим чередом; было ни скучно, ни весело.

В ту самую минуту как новоприезжая певица подходила к роялю и развертывала ноты… одна молодая женщина зевнула, встала и вышла в соседнюю комнату, на это время опустевшую, На ней было черное платье, кажется по случаю придворного траура. На плече, пришпиленный к голубому банту, сверкал бриллиантовый вензель; она была среднего роста, стройна, медленна и ленива в своих движениях; черные, длинные, чудесные волосы оттеняли ее еще молодое, правильное, но бледное лицо, и на этом лице сияла печать мысли.

— Здравствуйте, мсье Лугин, — сказала Минская кому-то, — я устала… скажите что-нибудь! —

и она опустилась в широкое пате возле камина; тот, к кому она обращалась, сел против нее и ничего не отвечал. В комнате их было только двое, и холодное молчание Лугина показывало ясно, что он не принадлежал к числу ее обожателей.

— Скучно, — сказала Минская и снова зевнула, — вы видите, я с вами не церемонюсь! — прибавила она.

— И у меня сплин! — отвечал Лугин.

— Вам опять хочется в Италию? — сказала она после некоторого молчания. — Не правда ли?

Лугин, в свою очередь, не слыхал вопроса; он продолжал, положив ногу на ногу и уставя глаза безотчетливо на беломраморные плечи своей собеседницы:

— Вообразите, какое со мной несчастие: что может быть хуже для человека, который, как я, посвятил себя живописи! — вот уже две недели, как все люди мне кажутся желтыми, — и одни только люди! добро бы все предметы; тогда была бы гармония в общем колорите; я бы думал, что гуляю в галерее испанской школы. Так нет! все остальное как и прежде; одни лица изменились; мне иногда кажется, что у людей вместо голов лимоны.

Минская улыбнулась.

— Призовите доктора, — сказала она.

— Доктора не помогут — это сплин!

— Влюбитесь! (Во взгляде, который сопровождал это слово, выражалось что-то похожее на следующее: «Мне бы хотелось его немножко помучить!»)

— В кого?

— Хоть в меня!

— Нет! вам даже кокетничать со мною было бы скучно, — и потом, скажу вам откровенно, ни одна женщина не может меня любить.

— А эта, как бишь ее, итальянская графиня, которая последовала за вами из Неаполя в Милан?..

— Вот видите, — отвечал задумчиво Лугин, — я сужу других по себе и в этом отношении, уверен, не ошибаюсь. Мне точно случалось возбуждать в иных женщинах все признаки страсти, но так как я очень знаю, что в этом обязан только искусству и привычке кстати трогать некоторые струны человеческого сердца, то и не радуюсь своему счастию; я себя спрашивал, могу ли я влюбиться в дурную? — вышло нет; я дурен — и следственно, женщина меня любить не может, это ясно; артистическое чувство развито в женщинах сильнее, чем в нас, они чаще и долее нас покорны первому впечатлению; если я умел подогреть в некото-

рых то, что называют капризом, то это стоило мне неимоверных трудов и жертв, но так как я знал поддельность чувства, внушенного мною, и благодарил за него только себя, то и сам не мог забыться до полной, безотчетной любви; к моей страсти примешивалось всегда немного злости; все это грустно — а правда!..

— Какой вздор! — сказала Минская, но, окинув его быстрым взглядом, она невольно с ним согласилась.

Наружность Лугина была в самом деле ничуть не привлекательна. Несмотря на то что в странном выражении глаз его было много огня и остроумия, вы бы не встретили во всем его существе ни одного из тех условий, которые делают человека приятным в обществе; он был неловко и грубо сложен; говорил резко и отрывисто; больные и редкие волосы на висках, неровный цвет лица, признаки постоянного и тайного недуга, делали его на вид старее, чем он был в самом деле; он три года лечился в Италии от ипохондрии — и хотя не вылечился, но по крайней мере нашел средство развлекаться с пользой; он пристрастился к живописи; природный талант, сжатый обязанностями службы, развился в нем широко и свободно под животворным небом

юга, при чудных памятниках древних учителей. Он вернулся истинным художником, хотя одни только друзья имели право наслаждаться его прекрасным талантом. В его картинах дышало всегда какое-то неясное, но тяжелое чувство: на них была печать той горькой поэзии, которую наш бедный век выжимал иногда из сердца ее первых проповедников.

Лугин уже два месяца как вернулся в Петербург. Он имел независимое состояние, мало родных и несколько старинных знакомств в высшем кругу столицы, где и хотел провести зиму. Он бывал часто у Минской: ее красота, редкий ум, оригинальный взгляд на вещи должны были произвести впечатление на человека с умом и воображением. Но любви между ними не было и в помине.

Разговор их на время прекратился, и они оба, казалось, заслушались музыки. Заезжая певица пела балладу Шуберта на слова Гете: «Лесной царь». Когда она кончила, Лугин встал.

— Куда вы? — спросила Минская.

— Прощайте.

— Еще рано.

Он опять сел.

— Знаете ли, — сказал он с какою-то важно-

стию, — что я начинаю сходить с ума?

— Право?

— Кроме шуток. Вам это можно сказать, вы надо мною не будете смеяться. Вот уже несколько дней, как я слышу голос. Кто-то мне твердит на ухо с утра до вечера — и как вы думаете — что? — адрес: вот и теперь слышу: «В Столярном переулке, у Кокушкина моста, дом титюлярного советника Штосса, квартира номер двадцать семь». И так шибко, шибко — точно торопится… Несносно!..

Он побледнел. Но Минская этого не заметила.

— Вы, однако, не видите того, кто говорит? — спросила она рассеянно.

— Нет. Но голос звонкий, резкий, дишкант.

— Когда же это началось?

— Признаться ли? я не могу сказать наверное… не знаю… ведь это, право, презабавно! — сказал он, принужденно улыбаясь.

— У вас кровь приливает к голове и в ушах звенит.

— Нет, нет. Научите, как мне избавиться?

— Самое лучшее средство, — сказала Минская, подумав с минуту, — идти к Кокушкину мосту, отыскать этот номер, и так как, верно, в нем живет какой-нибудь сапожник или часовой мастер, то для приличия закажите ему работу и,

возвратясь домой, ложитесь спать, потому что… вы в самом деле нездоровы!.. — прибавила она, взглянув на его встревоженное лицо с участием.

— Вы правы, — отвечал угрюмо Лугин, — я непременно пойду.

Он встал, взял шляпу и вышел.

Она посмотрела ему вослед с удивлением.

## 2

Сырое ноябрьское утро лежало над Петербургом. Мокрый снег падал хлопьями, дома казались грязны и темны, лица прохожих были зелены; извозчики на биржах дремали под рыжими полостями своих саней; мокрая длинная шерсть их бедных кляч завивалась барашком; туман придавал отдаленным предметам какой-то серо-лиловый цвет. По тротуарам лишь изредка хлопали калоши чиновника, да иногда раздавался шум и хохот в подземной полпивной лавочке, когда оттуда выталкивали пьяного молодца в зеленой фризовой шинели и клеенчатой фуражке. Разумеется, эти картины встретили бы вы только в глухих частях города, как, например… у Кокушкина моста. Через этот мост шел человек среднего роста, ни худой, ни толстый, не стройный, но с широкими плечами, в пальто, и вообще одетый со вкусом; жалко было видеть его лакированные сапоги, вымоченные снегом и грязью; но он, казалось, об этом нимало не заботился; засунув руки в карманы, повеся голову, он шел неровными шагами, как будто боялся достигнуть цель своего путешествия или не имел ее вовсе.

На мосту он остановился, поднял голову и осмотрелся. То был Лугин. Следы душевной усталости виднелись на его измятом лице, в глазах горело тайное беспокойство.

— Где Столярный переулок? — спросил он нерешительным голосом у порожнего извозчика, который в эту минуту проезжал мимо его шагом, закрывшись по шею мохнатою полостию и насвистывая камаринскую.

Извозчик посмотрел на него, хлыстнул лошадь кончиком кнута и проехал мимо.

Ему это показалось странно. Уж полно, есть ли Столярный переулок? Он сошел с моста и обратился с тем же вопросом к мальчику, который бежал с полуштофом через улицу.

— Столярный? — сказал мальчик, — а вот идите прямо по Малой Мещанской, и тотчас направо, первый переулок и будет Столярный.

Лугин успокоился. Дойдя до угла, он повернул направо и увидал небольшой грязный переулок, в котором с каждой стороны было не больше десяти высоких домов. Он постучал в дверь первой мелочной лавочки и, вызвав лавочника, спросил: «Где дом Штосса?»

— Штосса? Не знаю, барин, здесь этаких нет; а вот здесь рядом есть дом купца Блинникова, а

подальше…

— Да мне надо Штосса…

— Ну не знаю, — Штосса!! — сказал лавочник, почесав затылок, и потом прибавил: — Нет, не слыхать-с!

Лугин пошел сам смотреть надписи; что-то ему говорило, что он с первого взгляда узнает дом, хотя никогда его не видал. Так он добрался почти до конца переулка, и ни одна надпись ничем не поразила его воображения, как вдруг он кинул случайно глаза на противоположную сторону улицы и увидал над одними воротами жестяную доску вовсе без надписи.

Он подбежал к этим воротам — и сколько ни рассматривал, не заметил ничего похожего даже на следы стертой временем надписи; доска была совершенно новая.

Под воротами дворник в долгополом полинявшем кафтане, с седой, давно не бритой бородою, без шапки и подпоясанный грязным фартуком, разметал снег.

— Эй! дворник, — закричал Лугин.

Дворник что-то проворчал сквозь зубы.

— Чей это дом?

— Продан! — отвечал грубо дворник.

— Да чей он был?

— Чей? Кифейкина, купца.

— Не может быть, верно, Штосса! — вскрикнул невольно Лугин.

— Нет, был Кифейкина, а теперь так Штосса! — отвечал дворник, не подымая головы.

У Лугина руки опустились.

Сердце его забилось, как будто предчувствуя несчастие. Должен ли он был продолжать свои исследования? не лучше ли вовремя остановиться? Кому не случалось находиться в таком положении, тот с трудом поймет его: любопытство, говорят, сгубило род человеческий, оно и поныне наша главная, первая страсть, так что даже все остальные страсти могут им объясниться. Но бывают случаи, когда таинственность предмета дает любопытству необычайную власть: покорные ему, подобно камню, сброшенному с горы сильною рукою, мы не можем остановиться, хотя видим нас ожидающую бездну.

Лугин долго стоял перед воротами. Наконец обратился к дворнику с вопросом:

— Новый хозяин здесь живет?

— Нет.

— А где же?

— А черт его знает.

— Ты уж давно здесь дворником?

— Давно.

— А есть в этом доме жильцы?

— Есть.

— Скажи, пожалуйста, — сказал Лугин после некоторого молчания, сунув дворнику целковый, — кто живет в двадцать седьмом номере?

Дворник поставил метлу к воротам, взял целковый и пристально посмотрел на Лугина.

— В двадцать седьмом номере?.. да кому там жить! он уж бог знает сколько лет пустой.

— Разве его не нанимали?

— Как не нанимать, сударь, — нанимали.

— Как же ты говоришь, что в нем не живут!

— А бог их знает! так-таки не живут. Наймут на год, да и не переезжают.

— Ну, а кто его последний нанимал?

— Полковник, из анженеров, что ли!

— Отчего же он не жил?

— Да переехал было… а тут, говорят, его послали в Вятку — так номер пустой за ним и остался.

— А прежде полковника?

— Прежде его было нанял какой-то барон, из немцев, — да этот и не переезжал; слышно, умер.

— А прежде барона?

— Нанимал купец для какой-то своей… гм! да обанкрутился, так у нас и задаток остался…

«Странно!» — подумал Лугин.

— А можно посмотреть номер?

Дворник опять пристально взглянул на него.

— Как нельзя? можно! — отвечал он и пошел, переваливаясь, за ключами.

Он скоро возвратился и повел Лугина во второй этаж по широкой, но довольно грязной лестнице. Ключ заскрипел в заржавленном замке, и дверь отворилась; им в лицо пахнуло сыростью. Они взошли. Квартира состояла из четырех комнат и кухни. Старая пыльная мебель, некогда позолоченная, была правильно расставлена кругом стен, обтянутых обоями, на которых изображены были на зеленом грунте красные попугаи и золотые лиры; изразцовые печи кое-где порастрескались; сосновый пол, выкрашенный под паркет, в иных местах скрипел довольно подозрительно; в простенках висели овальные зеркала с рамками рококо; вообще комнаты имели какую-то странную несовременную наружность.

Они, не знаю почему, понравились Лугину.

— Я беру эту квартиру, — сказал он. — Вели вымыть окна и вытереть мебель… посмотри, сколько паутины! да надо хорошенько вытопить… — В эту минуту он заметил на стене последней комнаты поясной портрет, изобража-

ющий человека лет сорока в бухарском халате, с правильными чертами, большими серыми глазами; в правой руке он держал золотую табакерку необыкновенной величины. На пальцах красовалось множество разных перстней. Казалось, этот портрет писан несмелой ученической кистью, — платье, волосы, рука, перстни — все было очень плохо сделано; зато в выражении лица, особенно губ, дышала такая страшная жизнь, что нельзя было глаз оторвать: в линии рта был какой-то неуловимый изгиб, недоступный искусству и, конечно, начертанный бессознательно, придававший лицу выражение насмешливое, грустное, злое и ласковое попеременно. Не случалось ли вам на замороженном стекле или в зубчатой тени, случайно наброшенной на стену каким-нибудь предметом, различать профиль человеческого лица, профиль, иногда невообразимой красоты, иногда непостижимо отвратительный? Попробуйте переложить их на бумагу! вам не удастся; попробуйте на стене обрисовать карандашом силуэт, вас так сильно поразивший, — и очарование исчезает; рука человека никогда с намерением не произведет этих линий; математически малое отступление — и прежнее выражение погибло невозвратно. В

лице портрета дышало именно то неизъяснимое, возможное только гению или случаю.

«Странно, что я заметил этот портрет только в ту минуту, как сказал, что беру квартиру!» — подумал Лугин.

Он сел в кресла, опустил голову на руку и забылся.

Долго дворник стоял против него, помахивая ключами.

— Что ж, барин? — проговорил он наконец.

— А!

— Как же? коли берете, так пожалуйте задаток.

Они условились в цене, Лугин дал задаток, послал к себе с приказанием сейчас же перевозиться, а сам просидел против портрета до вечера; в девять часов самые нужные вещи были перевезены из гостиницы, где жил до сей поры Лугин.

«Вздор, чтоб на этой квартире нельзя было жить, — думал Лугин. — Моим предшественникам, видно, не суждено было в нее перебраться — это, конечно, странно! Но я взял свои меры: переехал тотчас! Что ж? — ничего!»

До двенадцати часов он с своим старым камердинером Никитой расставлял вещи…

Надо прибавить, что он выбрал для своей спальни комнату, где висел портрет.

Перед тем чтоб лечь в постель, он подошел со свечой к портрету, желая еще раз на него взглянуть хорошенько, и прочитал внизу вместо имени живописца красными буквами: Середа.

— Какой нынче день? — спросил он Никиту.

— Понедельник, сударь…

— Послезавтра середа! — сказал рассеянно Лугин.

— Точно так-с!..

Бог знает почему Лугин на него рассердился.

— Пошел вон! — закричал он, топнув ногою.

Старый Никита покачал головою и вышел.

После этого Лугин лег в постель и заснул.

На другой день утром привезли остальные вещи и несколько начатых картин.

## 3

В числе недоконченных картин, большею частию маленьких, была одна размера довольно значительного; посреди холста, исчерченного углем, мелом и загрунтованного зелено-коричневой краской, эскиз женской головки остановил бы внимание знатока; но, несмотря на прелесть рисунка и на живость колорита, она поражала неприятно чем-то неопределенным в выражении глаз и улыбки; видно было, что Лугин перерисовывал ее в других видах и не мог остаться довольным, потому что в разных углах холста являлась та же головка, замаранная коричневой краской. То не был портрет; может быть, подобно молодым поэтам, вздыхающим по небывалой красавице, он старался осуществить на холсте свой идеал — женщину-ангела; причуда, понятная в первой юности, но редкая в человеке, который сколько-нибудь испытал жизнь. Однако есть люди, у которых опытность ума не действует на сердце, и Лугин был из числа этих несчастных и поэтических созданий. Самый тонкий плут, самая опытная кокетка с трудом могли бы его провесть, а сам себя он ежедневно обманывал с

простодушием ребенка.

С некоторого времени его преследовала постоянная идея, мучительная и несносная, тем более что от нее страдало его самолюбие: он был далеко не красавец, это правда, однако в нем ничего не было отвратительного, и люди, знавшие его ум, талант и добродушие, находили даже выражение лица его довольно приятным; но он твердо убедился, что степень его безобразия исключает возможность любви, и стал смотреть на женщин как на природных своих врагов, подозревая в случайных их ласках побуждения посторонние и объясняя грубым и положительным образом самую явную их благосклонность. Не стану рассматривать, до какой степени он был прав, но дело в том, что подобное расположение души извиняет достаточно фантастическую любовь к воздушному идеалу, любовь самую невинную и вместе самую вредную для человека с воображением.

В этот день, который был вторник, ничего особенного с Лугиным не случилось: он до вечера просидел дома, хотя ему нужно было куда-то ехать. Непостижимая лень овладела всеми чувствами его; хотел рисовать — кисти выпадали из рук; пробовал читать — взоры его скользили над

строками и читали совсем не то, что было написано; его бросало в жар и в холод; голова болела; звенело в ушах. Когда смерклось, он не велел подавать свеч и сел у окна, которое выходило на двор; на дворе было темно; у бедных соседей тускло светились окна; он долго сидел; вдруг на дворе заиграла шарманка; она играла какой-то старинный немецкий вальс; Лугин слушал, слушал — ему стало ужасно грустно. Он начал ходить по комнате; небывалое беспокойство им овладело; ему хотелось плакать, хотелось смеяться… он бросился на постель и заплакал; ему представилось все его прошедшее, он вспомнил, как часто бывал обманут, как часто делал зло именно тем, которых любил, какая дикая радость иногда разливалась по его сердцу, когда видел слезы, вызванные им из глаз, ныне закрытых навеки, и он с ужасом заметил и признался, что он недостоин был любви безотчетной и истинной, и ему стало так больно! так тяжело!

Около полуночи он успокоился, сел к столу, зажег свечу, взял лист бумаги и стал что-то чертить; все было тихо вокруг. Свеча горела ярко и спокойно; он рисовал голову старика, и когда кончил, то его поразило сходство этой головы с кем-то знакомым! Он поднял глаза на портрет, висевший

против него, — сходство было разительное; он невольно вздрогнул и обернулся; ему показалось, что дверь, ведущая в пустую гостиную, заскрипела; глаза его не могли оторваться от двери.

— Кто там? — вскрикнул он.

За дверьми послышался шорох, как будто хлопали туфли; известка посыпалась с печи на пол.

— Кто это? — повторил он слабым голосом.

В эту минуту обе половинки двери тихо, беззвучно стали отворяться; холодное дыхание повеяло в комнату; дверь отворялась сама; в той комнате было темно, как в погребе.

Когда дверь отворилась настежь, в ней показалась фигура в полосатом халате и туфлях: то был седой сгорбленный старичок; он медленно подвигался, приседая; лицо его, бледное и длинное, было неподвижно; губы сжаты; серые, мутные глаза, обведенные красной каймою, смотрели прямо без цели.

И вот он сел у стола против Лугина, вынул из-за пазухи две колоды карт, положил одну против Лугина, другую перед собой и улыбнулся.

— Что вам надобно? — сказал Лугин с храбростью отчаяния. Его кулаки судорожно сжимались, и он был готов пустить шандалом в незваного гостя.

Под халатом вздохнуло.

— Это несносно! — сказал Лугин задыхающимся голосом. Его мысли мешались.

Старичок зашевелился на стуле; вся его фигура изменялась ежеминутно, он делался то выше, то толще, то почти совсем съеживался; наконец принял прежний вид.

«Хорошо, — подумал Лугин, — если это привидение, то я ему не поддамся».

— Не угодно ли, я вам промечу штосс? — сказал старичок.

Лугин взял перед ним лежавшую колоду карт и отвечал насмешливым тоном:

— А на что же мы будем играть? я вас предваряю, что душу свою на карту не поставлю! (Он думал этим озадачить привидение…) А если хотите, — продолжал он, — я поставлю клюнгер; не думаю, чтоб водились в вашем воздушном банке.

Старичка эта шутка нимало не сконфузила.

— У меня в банке вот это! — отвечал он, протянув руку.

— Это? — сказал Лугин, испугавшись и кинув глаза налево, — что это?

Возле него колыхалось что-то белое, неясное и прозрачное. Он с отвращением отвернулся.

— Мечите! — потом сказал он, оправившись, и, вынув из кармана клюнгер, положил его на карту. — Идет, темная.

Старичок поклонился, стасовал карты, срезал и стал метать. Лугин поставил семерку бубен, и она соника была убита; старичок протянул руку и взял золотой.

— Еще талью! — сказал с досадою Лугин.

Оно покачало головою.

— Что же это значит?

— В середу, — сказал старичок.

— А! в середу! — вскрикнул в бешенстве Лугин, — так нет же! не хочу в середу! завтра или никогда! слышишь ли?

Глаза странного гостя пронзительно засверкали, и он опять беспокойно зашевелился.

— Хорошо, — наконец сказал он, встал, поклонился и вышел, приседая. Дверь опять тихо за ним затворилась; в соседней комнате опять захлопали туфли… и мало-помалу все утихло. У Лугина кровь стучала в голове молотком; странное чувство волновало и грызло его душу. Ему было досадно, обидно, что он проиграл!..

«Однако ж я не поддался ему! — говорил он, стараясь себя утешить, — переупрямил. В середу! как бы не так! что я за сумасшедший! Это хорошо,

очень хорошо!.. он у меня не отделается. А как похож на этот портрет!.. ужасно, ужасно похож! а! теперь я понимаю!..»

На этом слове он заснул в креслах. На другой день поутру никому о случившемся не говорил, просидел целый день дома и с лихорадочным нетерпением дожидался вечера.

«Однако я не посмотрел хорошенько на то, что у него в банке! — думал он, — верно, что-нибудь необыкновенное!»

Когда наступила полночь, он встал с своих кресел, вышел в соседнюю комнату, запер на ключ дверь, ведущую в переднюю, и возвратился на свое место; он недолго дожидался; опять раздался шорох, хлопанье туфлей, кашель старика, и в дверях показалась его мертвая фигура. За ним подвигалась другая, но до того туманная, что Лугин не мог рассмотреть ее формы.

Старичок сел, как накануне, положил на стол две колоды карт, срезал одну и приготовился метать, по-видимому, не ожидая от Лугина никакого сопротивления; в его глазах блистала необыкновенная уверенность, как будто они читали в будущем. Лугин, остолбеневший совершенно под магнетическим влиянием его серых глаз, уже бросил было на стол два полуимпериала, как

вдруг он опомнился.

— Позвольте, — сказал он, накрыв рукою свою колоду.

Старичок сидел неподвижен.

— Что бишь я хотел сказать! позвольте, — да!

Лугин запутался.

Наконец, сделав усилие, он медленно проговорил:

— Хорошо… я с вами буду играть, я принимаю вызов, я не боюсь, только с условием: я должен знать, с кем играю! как ваша фамилия?

Старичок улыбнулся.

— Я иначе не играю, — проговорил Лугин, меж тем дрожащая рука его вытаскивала из колоды очередную карту.

— Что-с? — проговорил неизвестный, насмешливо улыбаясь.

— Штос? кто? — У Лугина руки опустились: он испугался.

В эту минуту он почувствовал возле себя чье-то свежее ароматическое дыханье, и слабый шорох, и вздох невольный, и легкое огненное прикосновенье. Странный, сладкий и вместе болезненный трепет пробежал по его жилам. Он на мгновенье обернул голову и тотчас опять устремил взор на карты: но этого минутного взгляда было бы

довольно, чтоб заставить его проиграть душу. То было чудное и божественное виденье: склонясь над его плечом, сияла женская головка; ее уста умоляли, в ее глазах была тоска невыразимая… она отделялась на темных стенах комнаты, как утренняя звезда на туманном востоке. Никогда жизнь не производила ничего столь воздушно-неземного, никогда смерть не уносила из мира ничего столь полного пламенной жизни: то не было существо земное — то были краски и свет вместо форм и тела, теплое дыхание вместо крови, мысль вместо чувства; то не был также пустой и ложный призрак… потому что в неясных чертах дышала страсть бурная и жадная, желание, грусть, любовь, страх, надежда, — то была одна из тех чудных красавиц, которых рисует нам молодое воображение, перед которыми в волнении пламенных грез стоим на коленях, и плачем, и молим, и радуемся бог знает чему, — одно из тех божественных созданий молодой души, когда она в избытке сил творит для себя новую природу, лучше и полнее той, к которой она прикована.

В эту минуту Лугин не мог объяснить того, что с ним сделалось, но с этой минуты он решился играть, пока не выиграет: эта цель сделалась целью его жизни, — он был этому очень рад.

Старичок стал метать: карта Лугина была убита. Бледная рука опять потащила по столу два полуимпериала.

— Завтра, — сказал Лугин.

Старичок вздохнул тяжело, но кивнул головой в знак согласия и вышел, как накануне.

Всякую ночь в продолжение месяца эта сцена повторялась: всякую ночь Лугин проигрывал; но ему не было жаль денег, он был уверен, что наконец хоть одна карта будет дана, и потому всё удваивал куши; он был в сильном проигрыше, но зато каждую ночь на минуту встречал взгляд и улыбку, за которые он готов был отдать все на свете. Он похудел и пожелтел ужасно. Целые дни просиживал дома, запершись в кабинете; часто не обедал.

Он ожидал вечера, как любовник свиданья, и каждый вечер был награжден взглядом более нежным, улыбкой более приветливой; она — не знаю, как назвать ее? — она, казалось, принимала трепетное участие в игре; казалось, она ждала с нетерпением минуты, когда освободится от ига несносного старика; и всякий раз, когда карта Лугина была убита и он с грустным взором оборачивался к ней, на него смотрели эти страстные, глубокие глаза, которые, казалось, говорили:

«Смелее, не упадай духом, подожди, я буду твоя, во что бы то ни стало! я тебя люблю»… и жестокая, молчаливая печаль покрывала своей тенью ее изменчивые черты. И всякий вечер, когда они расставались, у Лугина болезненно сжималось сердце — отчаянием и бешенством. Он уже продавал вещи, чтоб поддерживать игру; он видел, что невдалеке та минута, когда ему нечего будет поставить на карту. Надо было на что-нибудь решиться. Он решился.

*1841*

# Валерий Брюсов
# Студный бог

Я был в купе вагона один, лежал и думал. Я люблю ехать по железной дороге, люблю мерный грохот, люблю панораму окон и миры станций, оживающих на три минуты. Было ненастно: дождь косыми чертами сек оконное стекло; уже темнело, и дальние огни расплывались в смутные пятна.

Я был один, и думал, и мечтал, отдаваясь одному из своих любимейших мечтаний, которому отдаюсь, как ложатся в знакомую постель, зная, что будет мягко и тепло. Я думал о будущем, о электрических или еще иных дорогах, способных облететь земной шар в несколько часов, о величественном Городе, о новой Северной Столице, где-нибудь на полюсе, с ее стеклянной крышей, со стремнинами стен и с узкими ущельями улиц, где в вечно искусственном свете будут кишеть несметные толпы. Я думал о будущей жизни, осуществляющей все наши замыслы и желания, освобожденной от всех внешних забот, торжественно размеренной и защищенной знанием

и опытом ото всех случайностей. Я чувствовал в себе первые всплески той же волны, которая вознесет человечество на эту высоту, первые прозябания семени, которые дает этот упоительный плод. Мне казалось, что я уже причастен тому сверхчеловеческому существованию. И, засыпая под чугунное баюканье колес, я был исполнен какой-то сладкой гордостью.

Меня разбудил чей-то пристальный взгляд. Поезд летел, гремя и порываясь. Но, видно, на одной из маленьких платформ ко мне сел другой пассажир. Не открывая еще глаз, я представил себе с ясностью его красивую узкую бороду и мягко вьющиеся усы, широкополую узкую шляпу и упорный взор. Человек продолжал смотреть на меня, и я спросил его: «Вы правда человек или во сне, или дьявол?» Тут я совсем проснулся, сразу понял нелепость своих вопросов, открыл глаза и сел на диван. Человек был именно таков, как я его себе представил.

Нисколько не удивившись на мой вопрос, он мне ответил:

— Я человек, но, впрочем, послан дьяволом.

Я люблю случайности дорожных встреч, беседы, когда надо угадывать, кто твой собеседник, тогда каждый раз нужен новый, уже никогда не

повторимый прием, чтобы заставить его сказать все. То, что мои первые слова показались естественными, давало разговору тон неожиданный и заманчивый.

— Вы нарочно отыскали меня? — спросил я.

— Должно быть, — отвечал мне этот человек в узкой шляпе. — Мне самому было любопытно, зачем я иду на вокзал и куда еду. Увидев вас, я догадался, что мне нужно будет все рассказать вам. Вы какой-нибудь из ученых?

— Не очень.

— Тогда я не понимаю. А скажите, верите ли вы в дьявола?

Обычно я отвечаю да, но теперь мне показалось лучшим рассмеяться презрительно.

— Вообще не приучен верить.

— И однако, — возразил мне мой спутник, — это еще не причина. Мои родители воспитывались на Писареве. Я читал Дарвина, когда не знал еще ни одной молитвы. Положительное значение, трезвое отношение к действительности, факты, факты — я больше ни о чем не слыхал в детстве. Но разве это меняет дело и мешает верить? Разве те самые, которые говорят против, не верят ну там хоть в прогресс или, как теперь, в индивидуальность? Разве вера не такая потребность души,

как любовь, как для тела питание? Попробуйте никого и ничего не любить, тяжело. Можно питаться вместо мяса плодами, но ведь ничего не есть нельзя. И ни во что не верить тоже.

— А вы и в дьявола верите? — спросил я.

— Да ведь по необходимости. Иначе уж очень запутано становится. А приняв дьявола, все просто и отчетливо. Метод требует. Так ум человеческий устроен. Надо принять пространство, хоть бы вы отчайнейшим скептиком были, иначе не разберешься. Также и дьявола. Можно, конечно, от слов уклоняться, говорить о несовершенстве нашей мыслительной машины, да ведь то ж на то ж выйдет. Кстати, я думаю, что самый ум человеческий выдумал дьявол. Бог создал нас по образу и подобию Своему, — это тело и дух, а дьявол, искусив род человеческий, дал ему мысль. Разве так нельзя толковать библейского рассказа?

— Его и до вас многие так толковали, — сказал я, — да все в Средние Века так думали. Недаром.

— Да, да, конечно, — даже как-то обрадовался мой собеседник, — должно быть, правда, если разные люди до одного и того же додумались. То есть обыкновенная, человеческая правда. И вся наука поэтому дьявольское устроение. О, мои слова что-нибудь значат. Это не просто пять

слов, кем-то сказанных. Я имею право говорить о науке, потому что я жил ею, я думал жить ею. Я любил ее уже за то только, что она наука. Мальчиком, четырех лет, я воображал себя ученым. Я вместо кубиков строил себе домики из книг и касался их, как святых предметов. Мне тридцать три года, милостивый государь, но я не любил ни одной женщины, потому что любил учиться, и исследовать, и думать, и находить. Как мог я полюбить такую-то женщину, если логическую необходимость этого доказать невозможно. Нет, я никогда не был влюбленным.

Вдруг, переменив ход речи, спросил меня:

— Знакомы ли вы с пуническими древностями?

— Только по «Саламбо» Флобера, — отвечал я.

— Ну, так вы ничего не знаете. Пуническая археология началась лет пятнадцать тому назад. Очень уж римляне постарались разрушить город. Помните: место было вспахано. То есть должно быть не все вспахано, ведь город был огромный. Остатки стен и теперь попадаются, но надо искать. Было три ряда стен. От Туниса едешь по особой ветке до станции. Выходишь, слева пустыня, направо холм: это Бирея. Котонской гавани нет, ее затянуло песком. На холме,

где прежде был храм Эсмуна, теперь церковь во имя св. Людовика, госпиталь и гостиница «белых отцов», просветителей Африки. Тут же живут и те, кто производит раскопки.

Он остановился на мгновение. Какая-то станция промелькнула мимо — мы не остановились, пролетели дальше, словно даже с ускоренной быстротой.

— Знаете ли вы, — продолжал мой собеседник, — что пуны не меньше египтян заботились о своих умерших? По их убеждениям тоже судьба души по смерти зависела от состояния тела. В каменистой почве, на которой стоял Карфаген, они рыли шахты прямо вниз, отвесно в несколько аршин, потом горизонтальные ходы, там, наконец, устраивали могильники; впоследствии все засыпали, над шахтой наносились груды песка, вырастала трава, и никто не знал, что под землей лежат мертвые, что их стерегут там надписи и чудовищные лики богов из необожженной глины…

У меня были рекомендательные письма, так что я получил доступ к работам. Я спускался вместе с другими в эти шахты, вскрывал могильники, списывал надписи, уносил добычу наверх, из земных недр, к солнцу, после сна в двадцать

пять веков, разбирал ее. Большей частью попадалось все одно и то же: мумия или урна с пеплом, несколько фигурок демонов, двурогие лампочки, чаша. Изредка оружие и разная утварь. Надписи тоже однообразные. Обыкновенно перечень предков погребенного, иногда до 12-го колена. А иногда прибавлялись заклятия против тех, кто вздумал бы потревожить мир могилы, да, страшные заклятия…

Я был счастлив, мне казалось, что мы делаем очень хорошее, очень важное и очень нужное дело. Служение науке! Наконец мы дошли до одного очень пышного могильника. О, я знаю надпись его наизусть. Сначала имя, родословие, Магон сын Магона, а потом: «Именем Таниты, нисходящей во ад, да будет мир мне погребенному. Да лежу я здесь тысячу лет или еще вечность. Ты же, о дерзкий, который читаешь эти слова, кои уж ни один человеческий глаз не должен видеть, да будешь проклят и на земле и в недрах ее, где не едят и не пьют. Да не будет тебе солнце теплым. Да не держит тебя дерево на воле. Да не отходят от тебя ни на шаг демон мучительства, безобразный, беспощадный и не знающий слабости». Вот что там было сказано. И ни один из нас не подумал, что эти слова написаны человеком к людям же,

что это просьба брата к братьям и заклинание духа к духу. Мы ж видели в этом только новый текст для изучения языка и для характеристик и нравов того времени. Мы вытащили мумию этого Магона наверх, вытащили всю утварь, бывшую при нем, и среди нее маленького идола, крошечное изображение бога Бэсса, пунического бога всех животных наслаждений, студного бога. У него выпяченный живот и все проявления сладострастной похоти… Этот идол был мне подарен, и я его принял, не только принял, я был рад ему, как драгоценности.

Вы слушаете меня? Я принял в подарок идола, выкраденного из могилы, разорять которую я сам помогал во имя науки. Я бережно уложил идола в вату, а на ночь поставил его около кровати на стол. И вот… я может быть спал, но ведь это же все равно — вот дверь отворилась. Странно, я прежде думал, что привидения входят, не отворяя дверей. Дверь отворилась, и вошел тот самый Магон, чью мумию мы унесли. Я его узнал сразу, как узнают во сне. Ну, конечно, я спал. Он подошел ко мне и сказал по-пунийский (я понимаю): «Ты не побоялся заклятия, которое написал мой сын над вратами моего последнего покоя, мать моя и моя жена будут страдать моей мукой, а я буду

тебе мстить». Это очень точные слова. Именно он сказал сначала о сыне, потом о матери и жене, но ничего о своем отце. Сказав, он как бы провалился в пол, по пояс, причем лицо его оказалось на уровне моего тела, он еще смотрел на меня. Потом не стало рук, груди, наконец, лица. И мне показалось, что пахнет фиалками.

Я почему-то не испугался. Правда я встал и зажег свет. Но потом поверил в обычные объяснения, галлюцинации, расстроенные нервы, опять лег и уснул. Но он сказал правду. Он начал мстить мне. Проснувшись утром, я понял, что кто-то со мной, хоть его и не видно. Почему я сразу подумал об этом дьяволе, об этом белом непристойном идоле, который стоял у меня на столе? Я хотел встать и выйти на воздух, но он мне приказал лежать. И у меня не было воли противиться, я лежал. Наконец, я яростно упрекнул себя в малодушии и вскочил. Но в ту же минуту понял, что он уже перестал препятствовать, что именно он приказал мне встать в это мгновение. И весь день я ощущал, что каждое мое движение он мне подсказывает. Чтоб успокоить нервы, я не пошел на раскопки, и, конечно, не было сомнения, что то была его воля.

Когда же, поняв это, я пересилил себя и все-таки

спустился в могильник, я догадался, что то был его хитрый маневр, чтоб заставить меня особенно глубоко воспринимать все, что я увижу! Жизнь стала невыносима. У меня не осталось воли. За каждым своим поступком я чувствовал приказ. Я скрежетал зубами, чтобы только вернуть уже сделанное: тогда я поступил бы иначе, но этого не дано никому. Я бежал из Африки. Я уехал не простившись, я не дождался срочного парохода и чуть не потонул на какой-то барке, плывшей в Сицилию, но я остался рабом. Моя душа оставалась порабощена. Я упрямо вез с собой идол студного бога, так как бросить его было бы малодушием (да и он не позволял мне), а вместе с ним всегда, везде со мной был мой господин.

Он мне дает спать иногда, иногда нет. Он дает мне забываться, и мне начинает казаться, что я действую по своему произволу, но вдруг он дико хохочет, и я с отчаянием узнаю, что выполняю лишь его веленья. Он мстит, он беспощаден, он не знает слабости. Я дошел до того, что нахожу род мучительного наслаждения в этом истязании. Я забавляюсь тем, что стараюсь угадать, что он мне сегодня прикажет. Я смотрю на свою жизнь со стороны, я как бы читаю роман своей жизни. И когда он принуждает меня делать величайшие

нелепости, я насмехаюсь над самим собой. Когда он ведет меня на смертельную опасность, я иду без страха, ибо мне все равно. Он заставлял меня ложиться на рельсы перед проходящим поездом и позволял вставать лишь в последнюю минуту. Иногда мной овладевает бешенство. Я катаюсь по земле, грызя свои пальцы, и рычу, как отравленный зверь. Я кричу богохуленья. И потом падаю и плачу от бессилья, сообразив, что это он насмехается надо мной.

Он приказал мне сегодня ехать. Куда, я не знаю. Он приказал мне рассказать все вам. Зачем? И кто вы? Но не все ли равно. Иногда одна мысль мне кажется утешением. Что, если дьяволы давно заполнили эту землю и распоряжаются на ней бессмысленными стадами людей? Мы строим города, наши войска истребляют друг друга, мы пишем книги, наша мысль изнемогает в поисках, а на фабриках корчатся рабочие — но что, если это все большое представление, спектакль для тех, невидимых, их шахматная игра! И не будь у нас сознанья, все равно города были бы построены, и войны свершались бы, и книги с глубокими откровениями отпечатаны на паровых станках. И думая, что я не один раб во вселенной, я начинаю дышать вольнее и узнаю хоть одно удовольствие:

злорадство.

Всю эту речь мой собеседник произнес довольно спокойно, не заикаясь, плавно, порой немного повышенным голосом, но без жестов и криков, как что-то выученное. Говоря, он смотрел мне в глаза, и порой мне казалось, что он готов вдруг плюнуть мне в лицо или ударить меня. Я не сомневался, что передо мной помешанный, то есть субъект в таком состоянии, которое обычно называется помешательством. Я сделал усилие, чтобы отвлечь его мысль от ее навязчивой идеи.

— Тому пунийцу не за что было преследовать вас и насылать на вас дьявола, — сказал я. — Вы открыли его могилу не затем именно, чтоб его оскорбить, не ради надругания, не из своих корыстных целей, а ради всего человечества. Наука имеет целью воскресить прошлое, а воскрешая пуническую древность, она тем самым воскресит и вашего Магона.

Неожиданно мой собеседник как-то задрожал от ярости, его голос сразу перешел в крик. Нервно схватившись за занавеску окна, он закричал мне в ответ:

— Наука! Наша наука смеет говорить о воскрешении. Врачу, исцелися сам! Мертвой — ей должно прежде воскреснуть самой, исполнить-

ся духа живого, взглянуть в бесконечность, не пресмыкаться червем от стебля к стеблю. О, не возражайте, я лучше других знаю силу науки. Историки грядущих тысячелетий составят перечни всем людям, которые только упомянуты где-нибудь в адресе-календаре, в синодиках, во всех книгах, в архивных бумагах, на могильных плитах. Они напишут биографии всех их, год за годом, день за днем и составят всемирный алфавит обитателей земли. Да, составят и напишут, но по сохранившимся бумагам, но тех, кто упомянут. А не упомянутые нигде? Пред теми наука бессильна! От чего не сохранилось клочка бумаги или обломка кирпича, то погибло для науки навсегда. Наука, зависящая от черепков и бумажек, наука, которой угрожают пожары и наводнения! Жалкая наука! Рабство веществу, рабство причинной цепи! А я хочу знать, какой сон снился Сципиону, когда на него ночью напали убийцы, хочу видеть воочию лицо того рыбака, который вез Цезаря через море.

Но наука презирает личность. Она не думает и о Цезаре. Для нее Цезарь — лишь символ все той жадной цепи незыблемых причин. Да, наука ненавидит личность, потому что они противоположны. В личности все только зачем, для нее

нет ничего мучительнее, как знать причины. А наука знает только почему. О, наука хороша для жителей удобств, для изобретения фонарей и машин; она угодница плоти, и ее бог — тот самый идол Бэсс, которому я предан за то именно, что служил науке. Я искал знать почему, и вот мщение — знаю каждое движение, знаю, знаю, не кивайте мне головой, знаю, что за ним есть свое почему! Мне не воскреснуть никогда. Моя судьба совершается. И в пытках, прозревший, я славословлю не внемлющее мне Божество, умирая, принимаю казнь как справедливость. А к былому идолу моему, к кумиру Постижения причин я кричу сегодня, что презираю и отвергаю его, и попираю его ногой. И мой властелин знает это и трижды мстит мне за мои слова. Я мал и ничтожен, но разве мой голос будет заглушен и этим грохотом колес, и всеми миллионами миллионов паровозов и фабрик, будущих всемирных, торжествующих. Грохочите громче, я один против вас всех, но я уже понял, и вы уже бессильны.

Одну минуту мне показалось, что в ответ его словам немолчный шум колес по рельсам стал громче и яростней. Я готов был поверить, что этот грохот готов заглушить крики сумасшедшего, который бесновался передо мной. Но замелькали

огни, поезд стал замедлять свой бег. Мы подходили к станции.

— Вам, кажется, здесь сходить? — спросил меня вдруг господин в узкой шляпе с мелко завивающимися усами тихим голосом.

— Да, да, здесь, — отвечал я, не зная сам как, потому что мне здесь вовсе незачем было сходить.

Но через мгновение я уже стоял на мокрых потемневших досках маленькой платформы. Свет керосиновых фонарей тускло дробился в этой влаге. Обер-кондуктор засвистал, с паровоза ответили, и поезд вдруг дернулся. Почти тотчас его задний огонь затерялся в густом осеннем сумраке. Начинал накрапывать мелкий дождик.

Я стоял один на незнакомой маленькой станции, среди мглы и сырости, страшно одинокий и ненужный. Около крохотного буфета, где тускло мерцала лампа, какой-то мужичонко с наслаждением переругивался с буфетчиком. Фонарщик шел с лесенкой тушить фонари. И я не знал, подчинился ли я воле моего случайного собеседника или спросонок, не сообразив, что весь разговор был лишь во сне, выскочил на эту дикую, затерянную в лесах платформу, где мне придется отогреваться мерзкой водкой и дремать до утра на грязной скамье.

*1901*

# Леонид Андреев
# Воскресение всех мертвых

## Мечта

Трубным кличем архангелов было возвещено миру о грядущем воскресении всех мертвых. Заутра во славе грядет Господь всех сил, и мертвые восстанут из гробов.

И с того же часа стала преображаться земля. Еще не наступило новое, а уже кончилось старое, растаяло, как дым, исчезло, как мучительный сон тысячелетний. Как будто их и не было никогда: отошли все заботы о жизни, страдание и печаль, болезни и смерть; и не стало никакой иной заботы у живущего, как только в радости и красоте встретить заутра грядущего Господа.

Быстро и легко спадало с земли ее рубище, одежда серая и печальная. Еще действовали на земле те темные и загадочные силы, непримиримые и беспощадные, что раньше назывались законами природы и все сущее подчиняли своей суровой и грозной власти, но все медленнее становился их тяжелый ход, все нерешительней — проявления. Так замедляет свой ход машина, подходя к последней остановке; так медленнее движет свои полные воды река, впадая в море; так вяло, нерешительно, ласково и слабо распо-

ряжаются цари, сходя с трона. Еще приказывают они, но уже не ждут исполнения и равнодушны к последствиям. И еще шумело темное море, и ветер двигался по своим кругам, но не было уже ярости в извечном шуме морском, и не гибли корабли: стихало море, плескалось тихо, ложилось спокойно. И местами еще догорали пожары, но не стало ярости и силы и у огня: светило пламя кровавым светом своим, но уже не жгло оно, не сжигало, не обжигало до боли, а почти ласково бродило по окружности, затихая.

И еще было пространство, делимая бесконечность, ужас возврата вечного, — и кто хотел делить его по-прежнему, тот еще делил, и кто хотел идти или ехать или бежать, тот ехал и бежал; но уже не было и пространства, и становился человек там, где он хотел быть: здесь, там, везде — и здесь, и там, и везде. Еще не знали люди, как это делается, а уже делали: вдруг вошли в свои гавани, в свои бухты, заливы и стоянки все корабли — из самых дальних стран вернулись мгновенно; и в сумраке предвечернем над морем стихшим гирляндами повисли светящиеся оконца огромных пароходов, земных гигантов. И где еще по рельсам бежали, а где по воздуху неслись, а где и мгновенно становились в месте желае-

мом многочисленные поезда с бесчисленными пассажирами.

И еще было время, делимая бесконечность, ужас возврата вечного: двигались стрелки по кругу, на колокольнях звонили часы, темнота наступала, а уже не стало и времени: начиналось вечное, что не измеряется, не движется, не течет, а пребывает вечно — одно во всем, и все в одном.

И уже не стало ни верха, ни низа; ни вчера, ни сегодня; ни здесь, ни там — одно во всем, и все в одном, образ истинный и вечный. Неслышно и быстро преображалась земля под властью нового Царя, Господа всех сил, секиры разрешающей.

И по всей земле стала тьма, но это не была та прежняя страшная ночь, что, как тень смерти, ложится на одну сторону земли и ползет по ней, подобно гаду: все круглые и милые бока земли с ее синими океанами и золотой твердью окутала одна тихая и прозрачная мгла, тьма голубая и ясная, смягченный свет. И не для страха была она, не для злых дел ночных, не для разврата и снов обманчивых и мучительных, как прежде, а имела она дать земле и людям некоторый ласковый и стыдливый покров: пусть в некоторой тихой тайне готовится мир, спешно и радостно украшается красотою, тихо облекается в одеяния

брачные, наряды праздничные, одежды светлые. Кто отнимет радость у невесты, стыдливо украшающей себя к прибытию жениха? Все званы на пир, и ждет ласковый хозяин гостей нарядных и смеющихся.

Поспешно скидывала земля одежду мертвого скомороха, личину тленную. И еще не наступило новое, а уже кончилось старое, кончилось сразу и навсегда, растаяло, как туман, исчезло, как ужасный сон тысячелетний, — ушло тихо и навсегда. И даже не думали о нем, так тих и незаметен был его уход, так ясна и всем понятна стала мрачная ложь тысячелетий; и даже не вспоминали о нем, и не было человека на земле, который оглянулся бы назад в глухую тьму ушедшего: с радостью или гневом, тоскою или проклятием. Все узнал и все понял человек, все простил и все полюбил, нашел все, что искал: все понял и все узнал человек. И не стало ни печального, ни больного, ни скорбного; и не стало ни чудесного, ни странного, ни удивительного; и не стало ни доброго, ни злого. Погибла самая память о былом, и остановились все дела.

Останавливались и остановились все поезда, пароходы, все машины плавающие, бегающие и летающие. Останавливались и остановились

все фабрики, заводы, все машины делающие и творящие, биллионы железных сил. И стих ужасный грохот, лязг и звон, стук и бряцание, вой и свист, шипение и гул; стихал и стих страшный и печальный голос бесчисленных железных сил, крутящихся в вихре непрестанного движения.

Открылось все запертое, все двери и ворота: у тюрем и у дворцов, у домов и церквей, железных звериных клеток и конур, — все двери открылись и стали открыты. Еще стояли дома, громады каменных клеток, поставленных одна на другую; и еще проходили улицы между домами, и еще были города, но уже не было ни домов, ни улиц, ни городов: легкими призраками высились когда-то тяжкие стены, сотканные из тумана; кое-где таяли уже, исчезали бесшумно. И еще были люди и звери; еще были цари и нищие, рабы и господа, мужчины и женщины, дети и старики, больные и здоровые, — но уже не было ни царей, ни нищих, ни мужчин, ни женщин, ни детей, ни стариков. И уже вышли звери из лесов — так-таки и вышли, покинули норы, гнезда и логовы свои: вошли, вползли, влетели в города, ласковые и прекрасные звери, доселе неведомые друзья. И красивы стали улицы, окутанные тьмой голубой и прозрачной, когда среди праздничных людских

одежд замелькали прекрасные тигровые пятна, и тихий блеск чешуи, кожи змеиной, вплелся в темень толпы, и зеленые огоньки звериных чудесных глаз затеплились понизу и поверху, впереди и сзади. И многие каменные стены сразу становились прозрачными, быстро и тихо таяли, когда возле зажигался огонек звериных глаз: пропадали города, как злые призраки — ни одного города не должно было застать великое и последнее утро.

Все пришли звери, и только медведь запоздал: спал крепко, долго не мог проснуться, хотя и слышал сквозь сон клич архангелов; а когда проснулся, то сразу все понял и все узнал, поспешно заковылял на своих вывернутых лапах, еще не вспомнил, что может так — и не идти, и не двигаться, а просто так.

И еще почивали мертвые в своих гробах.

И всем очень хотелось гулять, но было некогда: надо было украситься, быть готовыми к утру. И вот такой спешки еще никогда не было на земле, даже в великий день творения ее: в одну короткую ночь приукраситься всей красотою всему живому и всему сущему. Ночь тепла и прозрачна, но ночь коротка: и с тихим шелестом, как знамена в ночи, развернулись листья на деревьях,

поползли травы из теплой земли, целые гигантские деревья, целые леса возникали в мгновение и строились праздничными рядами, толковали тихо, как расположиться красивее. Торопливо распускались цветы, несметная рать детей божьих, белые и красные, голубые и лиловые: и каждый цветок обдумывал внимательно красоту свою, проверял лепестки и пестики — а их было множество — несметная рать детей божиих! Старались и камни: твердые базальты, холодные граниты, жестокие порфиры — торопливо ровняли кристаллы свои, чудесную каменную ткань; и даже тот ничтожный камушек, что года лежал на площади под ногами, тоже старался: что-то такое делал внутри себя, задыхаясь от поспешности. Торопились и воды морские, речные, озерные и болотные: растекались наикрасивейше, переливали цветами, ища наилучшего, приготовлялись к необыкновенным отражениям, чистили свое пречистое зеркало. И даже та маленькая лужица, что только вчера захворала от сухости и готовилась к смерти, засуетилась в беспокойстве: что-то такое делала внутри себя, задыхаясь от великой поспешности.

Украшались и звери красотою: подновляли пятнисто-золотистые шкуры свои, отряхивались

пушистыми хвостами, пробовали друг на друге свет глаз своих — торопились. Украшались птицы и гады; и таинственные чудища морские и подземные любовно чистили свои щиты и панцири, подновляли бородавки и мозоли кожистых животов своих — обдумывали наряд. И вещие очи их, доселе обреченные на тьму и тайну, широко открылись миру, водянисто блестели в голубой и прозрачной мгле, лежавшей над синим океаном. Украшались насекомые: и каждый, и каждая, и каждое тщательно обдумывали безумно сложный наряд свой; и пестрые бабочки, несметная рать детей божьих, торопливо крыли пыльцой новенькие крылышки свои, пробовали полет, наикрасивейше располагались на взошедших уже лугах, среди расцветших уже цветов, их родных братьев по Богу. И те невидимые человеческим глазам, но зримые глазу Божьему, мириады бесчисленные, — и те украшались торопливо: что-то такое делали внутри себя, отчего и они становились праздничными, достойными внимания и похвалы.

И уже тишина наступала, но еще не наступила она: откуда-то с краев земли и с высот над землею шел сдержанный грохот и гул. То громы небесные готовились к приветствию; то горы сдвигались,

равняясь в праздничные ряды; то льды холодных полюсов возносили кристальные арки и мосты, проверяли иступившиеся грани свои; то громы небесные готовились к приветствию, рокотали сдержанно, как великаны на спевке.

И торопливо украшались красотою люди. Еще не все знали, что такое красота, но этого и не нужно было знать: было красотою все, что хотело быть красотою и радостью приветствия. Торопливо и весело раскрашивались полинезийцы, вставляя новые щепочки в уши и носы, татуировались без боли; чистили вороных коней арабы и в белейших бурнусах своих гарцевали в пустыне, готовясь и горяча коней; внимательно брились англичане, по два раза проходя бритвой по одному и тому же месту; рядились бабы в пестрые паневы, и генералы надевали ордена и звезды. И что считали праздничным и красивым, то и надевали; и не было разницы в красоте между царской древней короной, усеянной жемчугами, и рваной рубахой из рядины, цветистой татуировкой на бронзовом теле. И тот негритянский маленький царек, что носил на голове жестяную коробку от консервов, так и надел ее; и те, что были военными, облеклись в парадные лучшие мундиры, украсились позолотой, пуговицами

блестящими и шнурами; и те, что носили черные фраки, надели черные фраки; и многие дамы надели бальные открытые платья и сделали прическу; и та печальная и грешная дама, у которой было раскрашено лицо и имелась одна только чрезмерно большая шляпа — снова накрасила свое серое лицо и надела чрезмерно большую шляпу. Даже и полицейские надели форму свою, так как была она для них красивейшим, что они знали; и каждый внимательно обдумывал свой наряд, искал наилучшего. И, что бы каждый ни надевал, все было хорошо, красиво и уместно: все было красотою, что хотело быть красотою и радостью приветствия.

Но жила на земле одна бедная и одинокая старуха, у которой не нашлось на тот час ни единой праздничной одежонки: и уж хотела заплакать она, точно и не слыхала клича архангелов. Заплакать хотела она, глухая, глупая, бестолковая старуха, не имевшая даже единой одежонки праздничной, платка белого! Но вдруг просветлела она светом внутренним: и стали морщины ее прекрасны, и седина ее стала прекрасна; и вошла она в круг званых, как прекраснейшая из прекрасных.

Не было сна на земле в ту последнюю и голу-

бую ночь; тихо шумела она, как муравейник, и каждый маленький муравейник, государство лесное, шумел на ней: облекался красотою, готовился к приветствию. Ибо каждого отдельного, кто бы он ни был, заутра назовет Господь по имени. Ибо каждого отдельного, кто бы он ни был и как бы мал он ни был и сколько его ни было на земле: каждую отдельную песчинку, каждую инфузорию, букашку самую маленькую и скромную, — каждого отдельного заутра назовет Господь по имени. И знал каждый отдельный про радость и великое уважение, готовящиеся ему, и торопился изо всех сил, не думал, что он плох, потому что мал и незаметен. Каждого увидит, каждого заметит, каждому окажет уважение Господь всех сил, секира разрешающая, благость безмерная, любовь бесконечная. И незаметно таяла ласковая и стыдливая тьма, становилась розовым предутренним светом.

Просветлялись светом небеса, ровно просветлялись отовсюду: еще было и пространство, и время, но уже не было ни времени, ни пространства, ни запада, ни востока, и отовсюду поднималось солнце — единое солнце во множестве солнц; как бы равниной цветущей стала вся округлая земля, единым собранием собравшихся. И по мере того

как светлело небо, утихала на земле предпраздничная милая суета, — все уже готовы были, не было запоздавших и отсталых, все уже готовы были. Вместе со светом сходила на землю тишина, и сколько было света, столько было и тишины; и становился свет необъятным, и необъятной становилась тишина.

Но еще почивали мертвые в своих гробах истлевших.

И вот взошли солнца на небеса и наступило утро обещанной радости. И наступила та необъятная, великая и необыкновенная тишина, когда тихо все: и земля, и небо, и всякий голос молчит, и море зеркально, и ветер пал, и нет ни шороха, ни всплеска, ни единого звука, хотя бы смеха детского. И тихо ждали все, любуясь красотой земли.

Но еще мертвые почивали в истлевших гробах своих!

И тихо ждали все, любуясь красотой земли. Растаяли с туманом города, и одним садом прелестным стала вся земля, вся ее цветущая равнина; красивейшими купами, никому не мешая и никого не тесня, раскинулись мощные округло-пышные деревья; и взошла трава зеленая и богатая, и цветы пестро-цветные скромно и нежно благоухали, и бабочки беззвучно трепета-

ли крылышками своими — несметная рать детей божиих! Ждали все. Но и самый воздух ждал в каждой живой частице своей — также приготовился за ночь, украсился красотой воздушной. Но и самые небеса ждали, приготовились за ночь, подновили синеву свою и углубили глубину. И прекрасные звери свободно раскинули свои гибкие тела, никому не мешая и никого не тесня, как цветисто-пестрые цветы, и прекрасные люди смешались с цветами и птицами в едином саду Господнем. Любовалась своею красотою прекрасная земля.

Но еще мертвые не проснулись, но еще мертвые почивали в гробах своих истлевших!

Любовалась красотою своею прекрасная земля; и ждали все. Тихо разгорался тихий свет, светлело утро обещанной радости; и ждали все. И вот, огромное белое облако, предножие трона небесного, серебряный стяг, встало недвижимо посередь небесной синевы. И знали все, что это не простое облако, не сгущение сырых и холодных паров, а нечто особенное, предназначенное для украшения. Было оно огромно и светозарно; чудесно были очерчены его округлые, светящиеся края, и весь образ его был несказанно прекрасен; и взыграла красотою небесная синева, его дер-

жавшая; и стояло оно недвижимо, серебряный стяг, предножие трона небесного. Так и от Себя послал Господь украшение на радость и развлечение взорам ожидающих.

И ждали все. И тихо разгорался тихий свет, светлело утро обещанной радости. И вот уже приблизилось оно, сейчас наступит. И насторожились громы, тихо шевельнули громоносной пастью своею, подумали про себя: осанна!

И вот разверзлись небесе и…

…..

Здесь кончилось человеческое, и мертвые восстали.

*1914*

# Дневник Сатаны
## I

***18 января 1914 г***

***На борте «Атлантика»***

Сегодня ровно десять дней, как Я вочеловечился и веду земную жизнь.

Мое одиночество очень велико. Я не нуждаюсь в друзьях, но Мне надо говорить о себе, и Мне не с кем говорить. Одних мыслей недостаточно, и они не вполне ясны, отчетливы и точны, пока Я не выражу их словом: их надо выстроить в ряд, как солдат или телеграфные столбы, протянуть, как железнодорожный путь, перебросить мосты и виадуки, построить насыпи и закругления, сделать в известных местах остановки — и лишь тогда все становится ясно. Этот каторжный инженерный путь называется у них, кажется, логикой и последовательностью и обязателен для тех, кто хочет быть умным; для всех остальных он не обязателен, и они могут блуждать, как им угодно.

Работа медленная, трудная и отвратительная для того, кто привык единым… не знаю, как это

назвать, — единым дыханием схватывать все и единым дыханием все выражать. И недаром они так уважают своих мыслителей, а эти несчастные мыслители, если они честны и не мошенничают при постройке, как обыкновенные инженеры, не напрасно попадают в сумасшедший дом. Я всего несколько дней на земле, а уж не раз предо Мною мелькали его желтые стены и приветливо раскрытая дверь.

Да, чрезвычайно трудно и раздражает «нервы» (тоже хорошенькая вещь!). Вот сейчас — для выражения маленькой и обыкновенной мысли о недостаточности их слов и логики Я принужден был испортить столько прекрасной пароходной бумаги… а что же нужно, чтобы выразить большое и необыкновенное? Скажу заранее, — чтобы ты не слишком разевал твой любопытный рот, мой земной читатель! — что *необыкновенное* на языке твоего ворчания *невыразимо*. Если не веришь Мне, сходи в ближайший сумасшедший дом и послушай тех: они все познали *что-то* и хотели выразить его… и ты слышишь, как шипят и вертят в воздухе колесами эти свалившиеся паровозы, ты замечаешь, с каким трудом они удерживают на месте разбегающиеся черты своих изумленных и пораженных лиц?

Вижу, как ты и сейчас уже готов закидать Меня вопросами, узнав, что Я — вочеловечившийся Сатана: ведь это так интересно! Откуда Я? Каковы порядки у нас в аду? Существует ли бессмертие, а также каковы цены на каменный уголь на последней адской бирже? К несчастью, мой дорогой читатель, при всем моем желании, если бы таковое и существовало у Меня, Я не в силах удовлетворить твое законное любопытство. Я мог бы сочинить тебе одну из тех смешных историек о рогатых и волосатых чертях, которые так любезны твоему скудному воображению, но ты имеешь их уже достаточно, и Я не хочу тебе лгать так грубо и так плоско. Я солгу тебе где-нибудь в другом месте, где ты ничего не ждешь, и это будет интереснее для нас обоих.

А правду — как ее скажу, если даже мое *Имя* невыразимо на твоем языке? Сатаною назвал меня ты, и Я принимаю эту кличку, как принял бы и всякую другую: пусть Я — Сатана. Но мое истинное имя звучит совсем иначе, совсем иначе! Оно звучит необыкновенно, и Я никак не могу втиснуть его в твое узкое ухо, не разодрав его вместе с твоими мозгами: пусть Я — Сатана, и только.

И ты сам виноват в этом, мой друг: зачем в твоем разуме так мало понятий? Твой разум как

нищенская сума, в которой только куски черствого хлеба, а здесь нужно больше, чем хлеб. Ты имеешь только два понятия о существовании: жизнь и смерть — как же Я объясню тебе *третье*? Все существование твое является чепухой только из-за того, что ты не имеешь этого *третьего*, и где же Я возьму его? Ныне Я человек, как и ты, в моей голове твои мозги, в моем рту мешкотно толкутся и колются углами твои кубические слова, и Я не могу рассказать тебе о Необыкновенном.

Если Я скажу, что чертей нет, Я обману тебя. Но если Я скажу, что они есть, Я также обману тебя… Видишь, как это трудно, какая это бессмыслица, мой друг! Но даже о моем вочеловечении, с которого десять дней назад началась моя земная жизнь, Я могу рассказать тебе очень мало понятного. Прежде всего забудь о твоих любимых волосатых, рогатых и крылатах чертях, которые дышат огнем, превращают в золото глиняные осколки, а старцев — в обольстительных юношей и, сделав все это и наболтав много пустяков, мгновенно проваливаются сквозь сцену, — и запомни: когда мы хотим прийти на твою землю, мы должны вочеловечиться. Почему это так, ты узнаешь после смерти, а пока запомни: Я сейчас человек, как и ты, от Меня пахнет не вонючим козлом, а

недурными духами, и ты спокойно можешь пожать мою руку, нисколько не боясь оцарапаться о когти: Я их так же стригу, как и ты.

Но как это случилось? Очень… просто. Когда Я захотел прийти на землю, Я нашел одного подходящего, как помещение, тридцативосьмилетнего американца, мистера Генри Вандергуда, миллиардера, и убил его… конечно, ночью и без свидетелей. Но притянуть Меня к суду, несмотря на Мое сознание, ты все-таки не можешь, так как американец *жив*, и мы оба в одном почтительном поклоне приветствуем тебя: Я и Вандергуд. Он просто сдал мне пустое помещение, понимаешь — да и то не все, черт его побери! И вернуться *обратно* Я могу, к сожалению, лишь той дверью, которая и тебя ведет к свободе: через смерть.

Вот главное. Но в дальнейшем и ты можешь кое-что понять, хотя говорить о таких вещах твоими словами — все едино, что пытаться засунуть гору в жилетный карман или наперстком вычерпать Ниагару! Вообрази, что ты, дорогой мой царь природы, пожелал стать ближе к муравьям и силою чуда или волшебства сделался муравьем, настоящим крохотным муравьем, таскающим яйца, — и тогда ты немного почувствуешь ту пропасть, что отделяет Меня бывшего от насто-

ящего… нет, еще хуже! Ты был звуком, а стал нотным значком на бумаге… Нет, еще хуже, еще хуже, и никакие сравнения не расскажут тебе о той страшной пропасти, дна которой Я еще сам не вижу. Или у нее совсем нет дна?

Подумай: Я двое суток, по выходе из Нью-Йорка, страдал *морской болезнью!* Это смешно для тебя, привыкшего валяться в собственных нечистотах? Ну, а Я — Я тоже валялся, но это не было смешно нисколько. Я только раз улыбнулся, когда подумал, что *это* не Я, а Вандергуд, и сказал:

— Качай, Вандергуд, качай!

…Есть еще один вопрос, на который ты ждешь ответа: зачем Я пришел на землю и решился на такой невыгодный обмен — из Сатаны, «всемогущего, бессмертного, повелителя и властелина», превратился в… тебя? Я устал искать слова, которых нет, и я отвечу тебе по-английски, французски, итальянски и немецки, на языках, которые мы оба с тобою хорошо понимаем: мне стало скучно… в аду, и Я пришел на землю, чтобы лгать и играть.

Что такое скука, тебе известно. Что такое ложь, ты хорошо знаешь, и об *игре* ты можешь несколько судить по твоим театрам и знаменитым актерам. Может быть, ты и сам играешь какую-нибудь

маленькую вещичку в парламенте, дома или в церкви? Тогда ты кое-что поймешь и в чувстве *наслаждения* игрою. Если же ты вдобавок знаешь таблицу умножения, то помножь этот восторг и наслаждение игры на любую многозначную цифру, и тогда получится мое наслаждение, моя игра. Нет, еще больше! Вообрази, что ты океанская волна, которая вечно играет и живет только в игре, — вот эта, которую сейчас я вижу за стеклом и которая хочет поднять наш «Атлантик»… Впрочем, я опять ищу слов и сравнений!

Просто Я хочу играть. В настоящую минуту Я еще неведомый артист, скромный дебютант, но надеюсь стать знаменитым не менее твоего Гаррика или Ольриджа — когда сыграю, что хочу. Я горд, самолюбив и даже, пожалуй, тщеславен… ты ведь знаешь, что такое тщеславие, когда хочется похвалы и аплодисментов хотя бы дурака? Далее, Я дерзко думаю, что Я гениален, — Сатана известен своею дерзостью, — и вот вообрази, что мне надоел ад, где все эти волосатые и рогатые мошенники играют и лгут почти не хуже, чем Я, и что Мне недостаточно адских лавров, в которых Я проницательно усматриваю немало низкой лести и простого тупоумия. О тебе же, мой земной друг, Я слыхал, что ты умен, довольно честен,

в меру недоверчив, чуток к вопросам вечного искусства и настолько скверно играешь и лжешь сам, что способен высоко оценить чужую игру: ведь неспроста у тебя столько великих! Вот Я и пришел… понятно?

Моими подмостками будет земля, а ближайшей сценой Рим, куда Я еду, этот Вечный город, как его здесь называют с глубоким пониманием вечности и других простых вещей. Труппы определенной Я еще не имею (не хочешь ли и ты вступить в нее?), но верю, что Судьба или Случай, которому Я отныне подчинен, как и все ваше земное, оценит мои бескорыстные намерения и пошлет навстречу достойных партнеров… старая Европа так богата талантами! Верю, что и зрителей в этой Европе найду достаточно чутких, чтобы стоило перед ними красить рожу и мягкие адские туфли заменять тяжелыми котурнами. Признаться, раньше Я подумывал о Востоке, где уже не без успеха подвизались когда-то некоторые Мои… соотечественники, но Восток слишком доверчив и склонен к балету, как и яду, его боги безобразны, он еще слишком воняет полосатым зверем, его тьма и огни варварски грубы и слишком ярки, чтобы такому тонкому артисту, как Я, стоило идти в этот тесный и вонючий балаган.

Ах, мой друг, Я ведь так тщеславен, что и этот Дневник начинаю не без тайного намерения восхитить тебя… даже Моим убожеством в качестве Искателя слов и сравнений. Надеюсь, что ты не воспользуешься Моей откровенностью и не перестанешь мне верить?

Есть еще вопросы? О самой пьесе Я сам толком не знаю, ее сочинит тот же импресарио, что привлечет и актеров, — Судьба, — а Моя скромная роль для начала: человека, который так полюбил других людей, что хочет отдать им все — душу и деньги. Ты не забыл, конечно, что Я миллиардер? У Меня три миллиарда. Достаточно, не правда ли, для одного эффектного представления? Теперь еще одна подробность, чтобы закончить эту страницу.

Со Мною едет и разделит Мою судьбу некто Эрвин Топпи, Мой секретарь, личность весьма почтенная в своем черном сюртуке и цилиндре, с своим отвислым носом, похожим на незрелую грушу, и бритым пасторским лицом. Не удивлюсь, если в кармане у него найдут походный молитвенник. Мой Топпи явился на землю — *оттуда*, то есть из ада, и тем же способом, как и Я: он также вочеловечился, и, кажется, довольно удачно — бездельник совершенно нечувствите-

лен к качке. Впрочем, даже для морской болезни нужен некоторый ум, а *Мой* Топпи глуп непроходимо — даже для земли. Кроме того, он груб и дает советы. Я уже несколько раскаиваюсь, что из богатого *нашего* запаса не выбрал для себя скотины получше, но Меня соблазнила его честность и некоторое знакомство с землею: как-то приятнее было пускаться в эту прогулку с бывалым товарищем. Когда-то — давно — он уже принимал человеческий образ и настолько проникся религиозными идеями, что — подумай! — вступил в монастырь братьев францисканцев, прожил там до седой старости и мирно скончался под именем брата Винцента. Его прах стал предметом поклонения для верующих, — недурная карьера для глупого Черта! — а сам он снова со Мною и уже нюхает, где пахнет ладаном:

неискоренимая привычка! Ты его, наверное, полюбишь.

А теперь довольно. Пойди вон, мой друг. Я хочу быть один. Меня раздражает твое плоское отражение, которое Я вызвал на этой сцене, и Я хочу быть один, или только хоть с этим Вандергудом, который отдал Мне свое помещение и в чем-то мошеннически надул Меня. Море спокойно, Меня уже не тошнит, как в эти проклятые дни, но Я

чего-то боюсь. Я — боюсь! Кажется, Меня пугает эта темнота, которую они называют ночью и которая ложится над океаном: здесь еще светло от лампочек, но за тонким бортом лежит ужасная тьма, где совсем бессильны Мои глаза. Они и так ничего не стоят, эти глупейшие зеркала, умеющие только отражать, но в темноте они теряют и эту жалкую способность. Конечно, Я привыкну и к темноте, Я уже ко многому привык, но сейчас Мне нехорошо и страшно подумать, что только поворот ключа — и Меня охватит эта слепая, вечно готовая тьма. Откуда она?

И какие они храбрые с своими тусклыми зеркальцами, — ничего не видят и говорят просто: здесь темно, надо зажечь свет! Потом сами тушат и засыпают. Я с некоторым удивлением, правда холодноватым, рассматриваю этих храбрецов и… восхищаюсь. Или для страха нужен слишком большой ум, как у Меня? Ведь это не ты же такой трус, Вандергуд, ты всегда слыл человеком закаленным и бывалым!

Одной минуты в Моем вочеловечении Я не могу вспомнить без ужаса: когда Я впервые услыхал биение *Моего* сердца. Этот отчетливый, громкий, отсчитывающий звук, столько же говорящий о смерти, сколько и о жизни, поразил *Меня* неис-

пытанным страхом и волнением. Они всюду суют счетчики, но как могут они носить в своей груди *этот* счетчик, с быстротою фокусника спроваживающий секунды жизни?

В первое мгновение Я хотел закричать и немедленно ринуться *вниз*, пока еще не привык к жизни, но взглянул на Топпи: этот новорожденный дурак спокойно рукавом сюртука чистит свой цилиндр. Я захохотал и крикнул:

— Топпи! Щетку!

И мы чистились оба, а счетчик в Моей груди считал, сколько секунд это продолжалось, и, кажется, прибавил. Потом, впоследствии, слушая его назойливое тиканье, Я стал думать: «Не успею!» Что не успею? Я сам этого не знал, но целых два дня бешено торопился пить, есть, даже спать: ведь счетчик не дремлет, пока Я лежу неподвижной тушей и сплю!

Сейчас Я уже не тороплюсь. Я знаю, что Я успею, и Мои секунды кажутся Мне неистощимыми, но Мой счетчик чем-то взволнован и стучит, как пьяный солдат в барабан. А как, — эти маленькие секунды, которые он сейчас выбрасывает, — они считаются равными большим? Тогда это мошенничество. Я протестую, как честный гражданин Соединенных Штатов и коммерсант!

Мне нехорошо. Сейчас Я не оттолкнул бы и друга, вероятно, это хорошая вещь, друзья. Ах! Но во всей Вселенной Я один!

***7 февраля 1914 г***

***Рим, отель «Интернациональ»***

Я каждый раз бешусь, когда Мне приходится брать палку полицейского и водворять порядок в Моей голове: факты направо! мысли налево! настроения назад! — дорогу его величеству Сознанию, которое еле ковыляет на своих костылях. Но нельзя — иначе бунт, шум, неразбериха и хаос. Итак — к порядку, джентльмены-факты и леди-мысли! Я начинаю.

Ночь. Темнота. Воздух вежлив и тепел, и чем-то пахнет. Топпи внюхивается с наслаждением, говоря, что это Италия. Наш стремительный поезд подходит уже к Риму, мы блаженствуем на мягких диванах, когда — крах! — и все летит к черту: поезд сошел с ума и сковырнулся. Сознаюсь без стыда, — Я не храбрец! — что Мною овладел ужас и почти беспамятство. Электричество погасло, и когда Я с трудом вылез из какого-то темного угла, куда Меня сбросило, Я совершенно забыл, где выход. Всюду стены, углы, что-то колется,

бьется и молча лезет на Меня. И все в темноте! Вдруг под ногами труп, Я наступил прямо на лицо; уже потом Я узнал, что это был Мой лакей Джордж, убитый наповал. Я закричал, и здесь Мой неуязвимый Топпи выручил Меня: схватил Меня за руку и повлек к открытому окну, так как оба выхода были разбиты и загромождены обломками. Я выпрыгнул наземь, но Топпи что-то застрял там; Мои колена дрожали, дыхание выходило со стоном, но он все не показывался, и Я стал кричать.

Вдруг он высунулся из окна:

— Чего вы кричите? Я ищу наши шляпы и ваш портфель.

И действительно: скоро он подал Мне шляпу, а потом вылез и сам — в цилиндре и с портфелем. Я захохотал и крикнул:

— Человек! Ты забыл зонтик!

Но этот старый шут не понимал юмора и серьезно ответил:

— Я же не ношу зонтика. А вы знаете: наш Джордж убит и повар тоже.

Так эта падаль, которая не чувствует, как ступают по его лицу, — наш Джордж! Мною снова овладел страх, и вдруг Я услыхал стоны, дикие вопли, визг и крики, все голоса, какими вопит

храбрец, когда он раздавлен: раньше Я был как глухой и ничего не слышал. Загорелись вагоны, появился огонь и дым, сильнее закричали раненые, и, не ожидая, пока жаркое поспеет, Я в беспамятстве бросился бежать в поле. Это была скачка!

К счастью, пологие холмы римской Кампаньи очень удобны для такого спорта, а Я оказался бегуном не из последних. Когда Я, задохнувшись, повалился на какой-то бугорок, уже не было ничего ни видно, ни слышно, и только далеко позади топал отставший Топпи. Но что это за ужасная вещь, сердце! Оно так лезло Мне в рот, что Я мог бы выплюнуть его. Корчась от удушья, Я прильнул лицом к самой земле — она была прохладная, твердая и спокойная, и здесь она понравилась Мне, и как будто она вернула Мне дыхание и вернула сердце на его место, Мне стало легче. И звезды в вышине были спокойны… Но чего им беспокоиться? Это их не касается. Они светят и празднуют, это их вечный бал. И на этом светлейшем балу Земля, одетая мраком, показалась Мне очаровательной незнакомкой в черной маске. (Нахожу, что это выражено недурно, и ты, Мой читатель, должен быть доволен: Мой стиль и манеры совершенствуются!)

Я поцеловал Топпи в темя — Я целую в темя тех, кого люблю, — и сказал:

— Ты очень хорошо вочеловечился, Топпи. Я тебя уважаю. Но что мы будем делать дальше? Это зарево огней — Рим? Далеко!

— Да, Рим, — подтвердил Топпи и поднял руку. — Вы слышите — свистят!

Оттуда неслись протяжные и стонущие свистки паровозов; они были тревожны.

— Свистят, — сказал Я и засмеялся.

— Свистят! — повторил Топпи, ухмыляясь, — он не умеет смеяться.

Но мне снова стало нехорошо. Озноб, странная тоска и дрожь в самом основании языка. Меня мутила эта падаль, которую я давил ногами, и Мне хотелось встряхнуться, как собаке после купанья. Пойми, ведь это был первый раз, когда Я видел и ощущал твой труп, мой дорогой читатель, и он Мне не понравился, извини. Почему он не возражал, когда Я ногой попирал его лицо? У Джорджа было молодое, красивое лицо, и он держался с достоинством. Подумай, что и в твое лицо вдавится тяжелая нога, — и ты будешь молчать?

К порядку! В Рим мы не пошли, а отправились искать ночлега у добрых людей поближе. Долго шли. Устали. Хотелось пить — ах, как хотелось

пить! А теперь позволь тебе представить Моего нового друга, синьора Фому Магнуса и его прекрасную дочь Марию.

Вначале это было слабо мерцающим огоньком, который «зовет усталого путника». Вблизи это было маленьким уединенным домиком, еле сквозившим белыми стенами сквозь чащу высоких черных кипарисов и еще чего-то. Только в одном окне был свет, остальные закрыты ставнями. Каменная ограда, железная решетка, крепкие двери. И — молчание. На первый взгляд это было подозрительное что-то. Стучал Топпи — молчание. Долго стучал Я — молчание. И наконец суровый голос из-за железной двери спросил:

— Кто вы? Что надо?

Еле ворочая высохшим языком, Мой храбрый Топпи рассказал о катастрофе и нашем бегстве, он говорил долго, — и тогда лязгнул железный замок, и дверь открылась. Следуя за суровым и молчаливым незнакомцем, мы вошли в дом, прошли несколько темных и безмолвных комнат, поднялись по скрипящей лестнице и вошли в освещенное помещение, видимо, рабочую комнату незнакомца. Светло, много книг и одна, раскрытая, лежит на столе под низкой лампой с зеленым простым колпаком. Ее свет мы заме-

тили в поле. Но Меня поразило безмолвие дома: несмотря на довольно ранний час, не слышно было ни шороха, ни голоса, ни звука.

— Садитесь.

Мы сели, и Топпи, изнемогая, снова начал свою повесть, но странный хозяин равнодушно перебил его:

— Да, катастрофа. Это часто бывает на наших дорогах. Много жертв?

Топпи залопотал, а хозяин, полуслушая его, вынул из кармана револьвер и спрятал в стол, небрежно пояснив:

— Здесь не совсем спокойная окраина. Что ж, милости просим, оставайтесь у меня.

Он впервые поднял свои темные, почти без блеска, большие и мрачные глаза и внимательно, как диковинку в музее, с ног до головы осмотрел Меня и Топпи. Это был наглый и неприличный взгляд, и Я поднялся с места.

— Боюсь, что мы здесь лишние, синьор, и…

Но он неторопливым и слегка насмешливым жестом остановил Меня.

— Пустое. Оставайтесь. Сейчас я дам вам вина и кое-что поесть. Прислуга приходит ко мне только днем, так что я сам буду вам прислуживать. Умойтесь и освежитесь, за этой дверью ванна,

пока я достану вино. Вообще, не стесняйтесь.

Пока мы пили и ели, — правда, с жадностью, — этот неприветливый господин читал свою книгу с таким видом, словно никого не было в комнате и будто это не Топпи чавкал, а собака возилась над костью. Здесь Я хорошо рассмотрел его. Высокий, почти моего роста и склада, лицо бледное и как будто утомленное, черная смоляная, бандитская борода. Но лоб большой и умный и нос… как это назвать? Вот Я снова ищу сравнений! Нос как целая книга о большой, страстной, необыкновенной, притаившейся жизни. Красивый и сделанный тончайшим резцом не из мяса и хрящей, а… — как это сказать? — из мыслей и каких-то дерзких желаний. Видимо — тоже храбрец! Но особенно удивили Меня его руки: очень большие, очень белые и спокойные. Почему удивили, Я не знаю, но вдруг Я подумал: как хорошо, что не плавники! Как хорошо, что не щупальцы! Как хорошо и удивительно, что ровно десять пальцев; ровно десять тонких, злых, умных мошенников!

Я вежливо сказал:

— Благодарю вас, синьор…

— Меня зовут Магнус. Фома Магнус. Выпейте еще вина. Американцы?

Я ждал, чтобы Топпи по английскому обычаю представил Меня, и смотрел на Магнуса. Нужно было быть безграмотной скотиной и не читать ни одной английской, французской или итальянской газеты, чтобы не знать, кто Я!

— Мистер Генри Вандергуд из Иллинойса. Его секретарь, Эрвин Топпи, ваш покорнейший слуга. Да, граждане Соединенных Штатов.

Старый шут выговорил свою тираду не без гордости, и Магнус — да, — он слегка вздрогнул. Миллиарды, мой друг, миллиарды! Он долго и пристально посмотрел на Меня:

— М-р Вандергуд? Генри Вандергуд? Это не вы, сударь, тот американец, миллиардер, что хочет облагодетельствовать человечество своими миллиардами?

Я скромно мотнул головой:

— Уйес, Я.

Топпи мотнул головой и подтвердил… осел:

— Уйес, мы.

Магнус поклонился нам *обоим* и с дерзкой насмешливостью сказал:

— Человечество ждет вас, м-р Вандергуд. Судя по римским газетам, оно в полном нетерпении! Но мне надо извиниться за свой скромный ужин: я не знал…

С великолепной прямотой Я схватил его большую, странно горячую руку и крепко, по-американски, потряс ее:

— Оставьте, синьор Магнус! Прежде чем стать миллиардером, Я был свинопасом, а вы — прямой, честный и благородный джентльмен, которому Я с уважением жму руку. Черт возьми, еще ни одно человеческое лицо не будило во Мне… такой симпатии, как ваше!

Тогда Магнус сказал…

Ничего Магнус не сказал! Нет, Я не могу так: «Я сказал», «он сказал» — эта проклятая последовательность убивает Мое вдохновение, Я становлюсь посредственным романистом из бульварной газетки и лгу, как бездарность. Во Мне пять чувств, Я цельный человек, а толкую об одном слухе! А зрение? Поверь, оно не бездельничало. А это чувство земли, Италии, Моего существования, которое Я ощутил с новой и сладкой силой. Ты думаешь, Я только и делал, что слушал умного Фому Магнуса? Он говорит, а Я смотрю, понимаю, отвечаю, а сам думаю: как хорошо пахнет земля и трава в Кампанье! Еще Я старался вчувствоваться в весь этот дом (так говорят?), в его скрытые молчаливые комнаты; он казался Мне таинственным. А еще Я с каждой

минутой все больше радовался, что Я жив, говорю, могу еще долго играть... и вдруг Мне стало нравиться, что Я — человек!

Помню, Я вдруг протянул Магнусу Мою визитную карточку: Генри Вандергуд. Он удивился и не понял, но вежливо положил карточку на стол, а Мне захотелось поцеловать его в темя: за эту вежливость, за то, что он человек, — и Я тоже человек. Еще Мне очень нравилась Моя нога в желтом ботинке, и Я незаметно покачивал ею: пусть покачается, прекрасная человеческая американская нога! Я был очень чувствителен в этот вечер! Мне даже захотелось раз заплакать: смотреть прямо в глаза собеседнику и на своих открытых, полных любви, добрых глазах выдавить две слезинки. Кажется, Я это и сделал, и в носу приятно кольнуло, как от лимонада. И на Магнуса Мои две слезинки, как Я заметил, произвели прекраснейшее впечатление.

Но Топпи!.. Пока Я переживал эту чудную поэму вочеловечения и слезился, как мох, он мертвецки спал за тем же столом, где сидел. Не слишком ли он вочеловечился? Я хотел рассердиться, но Магнус удержал Меня:

— Он переволновался и устал, м-р Вандергуд.

Впрочем, было уже позднее время. Мы уже два

часа горячо говорили и спорили с Магнусом, когда это случилось с Топпи. Я отправил его в постель, и мы продолжали пить и говорить еще долго. Пил вино больше Я, а Магнус был сдержан, почти мрачен, и Мне все больше нравилось его суровое, временами даже злое и скрытное лицо. Он говорил:

— Я верю в ваш альтруистический порыв, м-р Вандергуд. Но я не верю, чтобы вы, человек умный, деловой и… несколько холодный, как мне кажется, могли возлагать какие-нибудь серьезные надежды на ваши деньги…

— Три миллиарда — огромная сила, Магнус!

— Да, три миллиарда — огромная сила, — согласился он спокойно и нехотя, — но что вы можете сделать с ними?

Я засмеялся:

— Вы хотите сказать: что может сделать с ними этот невежда американец, этот бывший свинопас, который свиней знает лучше, нежели людей?..

— Одно знание помогает другому.

— Этот сумасбродный филантроп, которому золото бросилось в голову, как молоко кормилице? Да, конечно, что Я могу сделать? Еще один университет в Чикаго? Еще богадельню в Сан-

Франциско? Еще одну гуманную исправительную тюрьму в Нью-Йорке?

— Последнее было бы истинным благодеянием для человечества. Не смотрите на меня так укоризненно, м-р Вандергуд: я нисколько не шучу, во мне вы не найдете той… беззаветной любви к людям, которая так ярко горит в вас.

Он дерзко насмехался надо Мною, а Мне было так его жаль: не любить людей! Несчастный Магнус, Я с таким удовольствием поцеловал бы его в темя! Не любить людей!

— Да, я их не люблю, — подтвердил Магнус. — Но я рад, что вы не собираетесь идти шаблонным путем всех американских филантропов. Ваши миллиарды…

— Три миллиарда, Магнус! На эти деньги можно создать новое государство…

— Да?!

— Или разрушить старое. На это золото, Магнус, можно сделать войну, революцию…

— Да?

Мне таки удалось поразить его: его большая белая рука слегка вздрогнула, и в темных глазах мелькнуло уважение: «А ты, Вандергуд, не так глуп, как я подумал вначале!» Он встал и, пройдя раз по комнате, остановился передо Мною и с

насмешкой, резко спросил:

— А вы знаете точно, что нужно вашему человечеству: создание нового или разрушение старого государства? Война или мир? Революция или покой? Кто вы такой, м-р Вандергуд из Иллинойса, что беретесь решать *эти* вопросы? Я ошибся: стройте богадельню и университет в Чикаго, это… безопаснее.

Мне нравилась дерзость этого человечка! Я скромно опустил голову и сказал:

— Вы правы, синьор Магнус. Кто я такой, Генри Вандергуд, чтобы решать *эти* вопросы? Но Я их и не решаю. Я только ставлю их, Я ставлю и ищу ответа, ищу ответа и человека, который Мне его даст. Я неуч, невежда, Я не читал как следует ни одной книги, кроме гроссбуха, а здесь Я вижу книг достаточно. Вы мизантроп, Магнус, вы слишком европеец, чтобы не быть слегка и во всем разочарованным, а мы, молодая Америка, мы верим в людей. Человека надо делать! Вы в Европе плохие мастера и сделали плохого человека, мы — сделаем хорошего. Извиняюсь за резкость: пока Я, Генри Вандергуд, делал только свиней, и мои свиньи, скажу это с гордостью, имеют орденов и медалей не меньше, нежели фельдмаршал Мольтке, но теперь Я хочу делать людей…

Магнус усмехнулся:

— Вы алхимик от Евангелия, Вандергуд: берете свинец и хотите превращать в золото!

— Да, Я хочу делать золото и искать философский камень. Но разве он уже не найден? Он найден, только вы не умеете им пользоваться: это — любовь. Ах, Магнус, Я еще сам не знаю, что буду делать, но Мои замыслы широки и… величественны, сказал бы Я, если бы не эта ваша мизантропическая улыбка. Поверьте в человека, Магнус, и помогите Мне! Вы знаете, что нужно человеку.

Он холодно и угрюмо повторил:

— Ему нужны тюрьмы и эшафот.

Я воскликнул в негодовании (негодование Мне особенно удается):

— Вы клевещете на себя, Магнус! Я вижу, что вы пережили какое-то тяжелое горе, быть может, измену и…

— Остановитесь, Вандергуд! Я сам никогда не говорю о себе и не люблю, чтобы и другие говорили обо мне. Достаточно сказать, что за четыре года вы первый нарушаете мое одиночество, и то… благодаря случайности. Я не люблю людей.

— О! Простите, но Я не верю.

Магнус подошел к книжной полке и с выраже-

нием презрения и как бы гадливости взял в свою белую руку первый попавшийся том.

— А вы, не читавший книг, знаете, о чем эти книги? Только о зле, ошибках и страдании человечества. Это слезы и кровь, Вандергуд! Смотрите: вот в этой тоненькой книжонке, которую я держу двумя пальцами, заключен целый океан красной человеческой крови, а если вы возьмете их все… И кто пролил эту кровь? Дьявол?

Я почувствовал себя польщенным и хотел поклониться, но он бросил книгу и гневно крикнул:

— Нет, сударь: человек! Ее пролил человек! Да, я читаю эти книги, но лишь для одного: чтобы научиться ненавидеть и презирать человека. Вы ваших свиней превратили в золото, да? А я уже вижу, как это золото снова превращается в свиней: они вас слопают, Вандергуд. Но я не хочу ни… лопать, ни лгать: выбросьте в море ваши деньги, или… стройте тюрьмы и эшафот. Вы честолюбивы, как все человеколюбцы? Тогда стройте эшафот. Вас будут уважать серьезные люди, а стадо назовет вас великим. Или вы, американец из Иллинойса, не хотите в Пантеон?

— Но, Магнус!..

— Кровь! Разве вы не видите, что кровь везде?

Вот она уже на вашем сапоге…

Признаюсь, что при этих словах сумасшедшего, каким в ту минуту показался мне Магнус, Я с испугом дернул ногою, на которой лишь теперь заметил темное красноватое пятно… такая мерзость!

Магнус улыбнулся и, сразу овладев собою, продолжал холодно и почти равнодушно:

— Я вас невольно испугал, м-р Вандергуд? Пустяки, вероятно, вы наступили на… что-нибудь ногою. Это пустяки. Но этот разговор, которого я не вел уже много лет, слишком волнует меня и… Спокойной ночи, м-р Вандергуд. Завтра я буду иметь честь представить вас моей дочери, а сейчас позвольте…

И так далее. Одним словом, этот господин самым грубейшим образом отвел меня в мою комнату и чуть сам не уложил в постель. Я и не спорил: зачем? Надо сказать, что в эту минуту он Мне очень мало нравился. Мне было даже приятно, что он уходит, но вдруг у самой двери он обернулся и, сделав шаг, резко протянул ко Мне обе свои белые большие руки. И прошептал:

— Вы видите эти руки? На них кровь! Пусть кровь злодея, мучителя и тирана, но все та же красная человеческая кровь. Прощайте!

…Он испортил Мне ночь. Клянусь вечным спасением, в этот вечер Я с удовольствием чувствовал себя человеком и расположился как дома в его тесной шкуре. Она всегда жмет мне под мышками. Я взял ее в магазине готового платья, а тут мне казалось, что она сшита на заказ у лучшего Портного! Я был чувствителен. Я был очень добр и мил, Мне *очень* хотелось поиграть, но Я вовсе не был склонен к такой тяжелой трагедии! Кровь! И нельзя же совать под нос полузнакомому джентльмену свои белые руки… у всех палачей очень белые руки!

Не думай, что Я шучу. Мне стало очень нехорошо. Если днем Я еще пока побеждаю Вандергуда, то каждую ночь он кладет Меня на обе лопатки. Это *он* заселяет темноту моих глаз своими глупейшими снами и перетрясает свой пыльный архив… и как безбожно глупы и бестолковы его сны! Всю ночь он хозяйничает во мне, как вернувшийся хозяин, перебирает брезгливо, что-то ищет, хнычет о порче и потерях, как скупец, кряхтит и ворочается, как собака, которой не спится на старой подстилке. Это он каждую ночь втягивает Меня, как мокрая глина, в глубину дряннейшей человечности, в которой Я задыхаюсь. Каждое утро, проснувшись, Я чувствую, что

вандергудовская настойка человечности стала на десять градусов крепче… подумай: еще немного, и он просто выставит Меня за порог, — он, жалкий владелец пустого сарая, куда Я внес дыхание и душу!

Как торопливый вор, Я влез в чужое платье, карманы которого набиты векселями… Нет, еще хуже! Это не тесное платье, это низкая, темная и душная тюрьма, в которой Я занимаю места меньше, нежели солитер в желудке Вандергуда. Тебя с детства запрятали в твою тюрьму, мой дорогой читатель, и ты даже любишь ее, а Я… Я пришел из царства Свободы. И Я не хочу быть глистом Вандергуда: один глоток этого чудесного цианистого калия, и Я — снова свободен. Что скажешь тогда, негодяй Вандергуд? Ведь без Меня тебя тотчас слопают черви, ты лопнешь, ты расползешься по швам… мерзкая падаль! Не трогай Меня!

Но в эту ночь Я весь был во власти Вандергуда. Что *Мне* человеческая кровь! Что Мне эта жидкая условность *ихней* жизни! Но Вандергуд был взволнован сумасшедшим Магнусом. Вдруг Я чувствую, — подумай! — что весь Я *полон* крови, как бычий пузырь, и пузырь этот так тонок и непрочен, что его нельзя кольнуть. Кольни здесь — она польется, тронь там — она захлещет! Вдруг Мне

стало страшно, что в этом доме Меня убьют: резнут по горлу и, держа за ноги, выпустят кровь.

Я лежал в темноте и все прислушивался, не идет ли Магнус с своими белыми руками? И чем тише было в этом проклятом домишке, тем страшнее Мне становилось, и Я ужасно сердился, что даже Топпи не храпит, как всегда. Потом у Меня начало болеть все тело, быть может, Я ушибся при катастрофе, не знаю, или устал от бега. Потом то же тело стало самым собачьим образом чесаться, и Я действовал даже ногами: появление веселого шута в трагедии!

Вдруг сон схватил Меня за ноги и быстро потащил книзу, Я не успел ахнуть. И подумай, какую глупость Я увидел, — ты видишь такие сны? Будто Я бутылка от шампанского с тонким горлышком и засмоленной головкой, но наполнен Я не вином, а кровью! И будто все люди — такие же бутылки с засмоленными головками, и все мы в ряд и друг на друге лежим на низком морском берегу. А оттуда идет Кто-то страшный и хочет нас разбить, и вот Я вижу, что это очень глупо, и хочу крикнуть: «Не надо разбивать, возьмите штопор и откупорьте!» Но у Меня нет голоса, Я бутылка. И вдруг идет убитый лакей Джордж, в руке у него огромный острый штопор, он *что-то* говорит и

хватает меня за горлышко… ах, за горлышко!

Я проснулся с болью в темени: вероятно, он таки пытался Меня откупорить! Мой гнев был так велик, что я не улыбнулся, не вздохнул лишний раз и не пошевельнулся, — Я просто и спокойно еще раз убил Вандергуда. Я стиснул спокойно зубы, сделал глаза прямыми, спокойными, вытянул мое тело во всю длину — и спокойно застыл в сознании моего великого Я. Океан мог бы ринуться на Меня, и Я не шевельнул бы ресницей — довольно! Пойди вон, мой друг, Я хочу быть один.

И тело смолкло, обесцветилось, стало воздушным и снова пустым. Легкими стопами Я покинул его, и моему открытому взору предстало *необыкновенное*, то, что невыразимо на твоем языке, мой бедный друг! Насыть твое любопытство причудливым сном, который Я так доверчиво рассказал тебе, — и не расспрашивай дальше! Или тебе недостаточно «огромного, острого» штопора — но ведь это так… художественно!

Наутро Я был здоров, свеж, красив и жаждал игры, как только что загримированный актер. Конечно, Я не забыл побриться — этот каналья Вандергуд обрастает щетиной так же быстро, как его золотоносные свиньи. Я пожаловался на это Топ-пи, с которым мы, в ожидании еще не вы-

ходившего Магнуса, гуляли по садику, и Топпи, подумав, ответил, как философ:

— Да. Человек спит, а бородка у него растет и растет. Так надо для цирюльников!

Вышел Магнус. Он не стал приветливее вчерашнего, и бледное лицо его носило явные следы утомления, но был спокоен и вежлив. Какая днем у него черная борода! С холодной любезностью он пожал Мне руку и сказал (мы стояли на высокой каменной стене):

— Любуетесь римской Кампаньей, м-р Вандергуд? Прекрасное зрелище! Говорят, что Кампанья опасна своими лихорадками, но во мне она родит только одну лихорадку: лихорадку мысли!

По-видимому, Мой Вандергуд был довольно-таки равнодушен к природе, а Я еще не вошел во вкус земных ландшафтов: пустое поле показалось мне — просто пустым полем. Я вежливо окинул глазами пустырь и сказал:

— Люди больше меня интересуют, синьор Магнус.

Он внимательно посмотрел на меня своими темными глазами и, понизив голос, промолвил сухо и сдержанно:

— Два слова о людях, м-р Вандергуд. Сейчас вы увидите мою дочь, Марию. Это мои три миллиар-

да. Вы понимаете?

Я одобрительно кивнул головой.

— Но этого золота не родит ваша Калифорния и никакое иное место на нечистой земле. Это — золото небес. Я человек неверующий, но даже я — даже я, м-р Вандергуд! — испытываю сомнения, когда встречаю взор моей Марии. Вот единственные руки, в которые вы спокойно могли бы отдать ваши миллиарды.

Я старый холостяк, и Мне стало несколько страшно, но Магнус продолжал строго и даже торжественно:

— Но она их не возьмет, сударь! Ее нежные руки никогда не должны знать этой золотой грязи. Ее чистые глаза никогда не увидят иного зрелища, нежели эта безбрежная и безгрешная Кампанья. Здесь ее монастырь, м-р Вандергуд, и выход отсюда для нее только один: в неземное светлое царство, если только оно есть!

— Простите, но я этого не понимаю, дорогой Магнус! — радостно запротестовал Я. — Жизнь и люди…

Лицо Фомы Магнуса стало злым, как вчера, и с суровой насмешливостью он перебил Меня:

— А я прошу вас это понять, *дорогой* Вандергуд. Жизнь и люди не для Марии и… достаточно

того, что я знаю жизнь и людей. Мой долг был *предупредить* вас, а теперь, — он снова принял тон холодной любезности, — прошу вас к моему столу. Мистер Топпи, прошу вас!

Мы уже начали кушать, болтая о пустяках, когда вошла *Мария*. Дверь, в которую она вошла, была за моею спиною, ее легкую поступь Я принял за шаги служанки, подававшей блюда, но Меня поразил носатый Топпи, сидевший напротив. Глаза его округлились, лицо покраснело, как от удушья, и по длинной шее волной проплыл кадык и нырнул где-то за тугим пасторским воротничком. Конечно, Я подумал, что он подавился рыбьей костью, и воскликнул:

— Топпи! Что с тобою? Выпей воды.

Но Магнус уже встал и холодно произнес:

— Моя дочь, Мария. Мистер Генри Вандергуд.

Я быстро обернулся и… Как Мне *выразить* ее, когда *необыкновенное* невыразимо? Это было более чем прекрасно — это было страшно в своей совершенной красоте. Я не хочу искать сравнений, возьми их сам. Возьми все, что ты видел и знаешь прекрасного на земле: лилию, звезды, солнце, но ко всему прибавь более. Но не это было страшно, а другое: таинственное и разительное сходство… с кем, черт возьми? Кого Я встречал на

земле, кто был бы так же прекрасен — прекрасен и страшен — страшен и недоступен земному? Я знаю теперь весь твой архив, Вандергуд, и *это* не из твоей убогой галереи!

— Мадонна! — прохрипел сзади испуганный голос Топпи.

Так вот оно! Да, Мадонна, дурак прав, и Я, сам Сатана, понимаю его испуг. Мадонна, которую люди видят только в церквах, на картинах, в воображении верующих художников. Мария, имя которой звучит только в молитвах и песнопениях, небесная красота, милость, всепрощение и вселюбовь! Звезда морей! Тебе нравится это имя: звезда морей? Осмелься сказать: нет!..

И мне стало дьявольски смешно. Я сделал глубочайший поклон и чуть — заметь: чуть! — не сказал:

«Сударыня! Я извиняюсь за мое непрошеное вторжение, но Я никак не ожидал, что встречу вас *здесь*. Усерднейше извиняюсь, что Я никак не ожидал, что этот чернобородый чудак имеет честь называть вас *своей* дочерью. Тысячу раз прошу прощения, что…»

Довольно. Я сказал другое:

— Здравствуйте, синьорина. Очень приятно.

Ведь она же ничем не показала, что *уже* зна-

кома со Мною? Инкогнито надо уважать, если хочешь быть джентльменом, и только негодяй осмелится сорвать маску с дамы! Тем более что *отец* ее, Фома Магнус, продолжает насмешливо угощать:

— Кушайте же, м-р Топпи. Вы ничего не пьете, м-р Вандергуд, вино превосходное.

В течение дальнейшего Я заметил:

1. что она дышит;

2. что она моргает;

3. что она кушает, и что она красивая девушка лет восемнадцати, и что платье на ней белое, а шейка ее обнажена. Мне становилось все смешнее. Я бодро нес чепуху в черную бороду Магнуса, а сам *кое-что* соображал. Глядел на голую шейку и… Поверь, мой земной друг: Я вовсе не обольститель и не влюбчивый юнец, как твои любимые бесы, но Я еще далеко не стар, не дурен собою, имею независимое положение в свете и — разве тебе не нравится такая комбинация: Сатана — и Мария? Мария — и Сатана! В свидетельство серьезности моих намерений Я могу привести то, что в эти минуты Я больше думал о *нашем* с ней потомстве и искал *имя* для *нашего* первенца, нежели отдавался простой фривольности. Я не вертопрах!

Вдруг Топпи решительно двинул кадыком и хрипло осведомился:

— С вас кто-нибудь писал портрет, синьорина?

— Мария не позирует для художников! — сурово ответил за нее Магнус, и Я хотел засмеяться над глупым Топпи, и Я уже раскрыл рот с моими первоклассными американскими зубами, когда чистый взор Марии вошел в мои глаза, и все полетело к черту, — как тогда, при катастрофе! Понимаешь: она вывернула Меня наизнанку, как чулок… или как бы это сказать? Мой превосходный парижский костюм ушел внутрь, а Мои еще более превосходные мысли, которых, однако, Я не хотел бы сообщать даме, вдруг вылезли наружу. Со всем Моим *тайным* Я стал не больше скрыт, чем номер «Нью-Герольда» за пятнадцать центов.

Но она *простила* Меня и ничего не сказала, и ее взор, как прожектор, отправился дальше в темноту и осветил Топпи. Нет, здесь и ты бы засмеялся, увидев, как вспыхнули и озарились бедные внутренности этого старого глупого Черта… от молитвенника вплоть до рыбьей кости, которою он подавился!

К счастью для нас обоих, Магнус встал и пригласил нас в сад.

— Пройдемте в сад, — сказал он, — Мария покажет вам свои цветы.

Да, Мария! Но не жди от Меня песнопений, ты, поэт! Я был в бешенстве, как человек, у которого взломали его бюро. Я хотел смотреть на Марию, а вынужден был глядеть на эти дурацкие цветы — потому что не смел поднять глаз. Я джентльмен и не могу являться даме… без галстука! А когда ее взор настигал-таки мои бедные скромные мысли, мои милые маленькие мыслишки, как поджимали они хвост — свой маленький хвостик. Каким смирением проникался Я весь, и Мой талантливейший грим сползал с Меня неудержимо, как краска с потного актера. Ты любишь быть смиренным? Я — нет.

Не знаю, что говорила Мария. Но — клянусь вечным спасением! — ее взор и весь ее *необыкновенный* образ был воплощением такого всеобъемлющего смысла, что всякое мудрое слово становилось бессмыслицей. Мудрость слов нужна только нищим духом, богатые же — безмолвны, заметь это, поэтик, мудрец и вечный болтун на всех перекрестках! Довольно с тебя, что Я унизился до слова.

Ах, но Я забыл о смирении моем! Это она ходила, а мы с Топпи ползали за ней, и Я ненавидел себя,

ненавидел широкозадого Топпи за его позорный отвислый нос и вялые уши. Здесь нужен был по меньшей мере Аполлон, а не пара американцев, да и то из композиции.

Но как нам стало хорошо, когда Она ушла и мы остались только с Магнусом — Магнус, это так мило и просто! Топпи перестал религиозно гундосить, как заштатный пономарь, а Я заложил ногу за ногу, закурил сигару и к самому зрачку Магнуса приставил свой стальной и острый взгляд. Но что он встретил: пустоту или такую же стальную кирасу?

— Вам надо ехать в Рим, м-р Вандергуд, о вас, наверно, беспокоятся, — спокойно сказал любезный хозяин.

Я сильнее нажал клинок.

— Но я могу послать Топпи…

Он улыбнулся с дерзкой насмешкой:

— Едва ли этого будет достаточно, м-р Вандергуд!

Я поискал глазами, где большая белая рука, чтобы дружески пожать ее, но рука была далеко и приблизиться не намеревалась. А все-таки Я поймал ее и пожал ее, и он должен был ответить пожатием!

— Хорошо, синьор Магнус, я сейчас уеду.

— Я уже послал за экипажем. Не правда ли, как хороша Кампанья при этом вечернем солнце?

Я еще раз вежливо осмотрел пустырь и с чувством подтвердил:

— Да, превосходна! Эрвин, мой друг, оставьте нас на минуту, мне надо сказать два слова синьору Магнусу…

Топпи вышел, а синьор Магнус сделал большие и совсем не радостные глаза. И, пробуя свою сталь, Я наклонился к его мрачному лицу и спросил:

— Вы не замечали, *дорогой* Магнус, некоторого, даже очень большого сходства вашей дочери, синьоры Марии, с одной… весьма известной особой? Вам не кажется, что она похожа — на Мадонну?

— Мадонну? — протянул Магнус так длинно, что всего меня обмотал этим словом. — Нет, *дорогой* Вандергуд, не замечал. Я не бываю в церкви. Но боюсь, что вам поздно будет ехать. Римская лихорадка…

Я опять поймал его белую руку и с дружеским остервенением потряс ее… нет, Я ее не оторвал! И на моих добрых глазах снова выступили *те* две слезинки.

— Будем говорить прямо, синьор Магнус. Я человек прямой, и Я полюбил вас. Хотите ехать

со Мною и быть распорядителем моих миллиардов?

Магнус молчал. Рука его лежала неподвижно в моей руке, темные глаза опустились, и что-то темное, как они, прошло по бледному лицу и скрылось. Наконец он сказал серьезно и просто:

— Я вас понимаю, м-р Вандергуд… но я должен ответить вам отказом. Нет, я с вами не поеду. Я еще не сказал вам одной вещи, но ваша прямота и доверчивость понуждает меня к откровенности: я должен до известной степени скрываться от полиции…

— Римской? Мы ее купим.

— Нет, скорее… международной. Конечно, вы не думаете, что я свершил какое-нибудь позорное преступление?.. Да, да, хорошо. Но дело не в полиции, которую можно купить. Вы правы, м-р Вандергуд, что все люди продаются. Дело в том, что я не могу быть для вас полезен. Зачем я вам? Вы любите человечество — я его презираю, и в лучшем случае равнодушен. Пусть его живет и не мешает жить мне. Оставьте мне мою Марию, оставьте мне право и силу презирать людей, читая историю их жизни, оставьте мне эту Кампанью — и это все, чего я хочу… и на что я способен. Все масло во мне выгорело, Вандергуд:

перед вами потухшая лампада на пустой стене, где когда-то… Прощайте.

— Я не прошу вас об откровенности, Магнус…

— Простите, но вы ее никогда и не получите, м-р Вандергуд. Мое имя вымышленно… но оно единственное, которое я могу предложить своим друзьям.

Скажу правду: в эту минуту «Фома Магнус» Мне понравился. Он говорил смело и просто, в его тяжелом лице читалось упрямство и воля. Этот человек знал, чего стоит человеческая жизнь, и имел вид осужденного на смерть, но гордого и непримиряющегося преступника, который уж не пойдет к попу за утешением! У Меня даже мелькнула догадка: у Моего Отца много побочных детей, лишенных наследства и праздно болтающихся по свету — не один ли из этих скитальцев и Фома Магнус? И неужели Я на этой земле встречу — *брата*? Очень интересно. Но и с чисто человеческой, деловой точки зрения нельзя не уважать человека, у которого руки в крови!

Я отсалютовал шпагой, переменил позицию и самым скромным образом попросил у Магнуса разрешения изредка приезжать к нему за советом. Он несколько мгновений колебался, но потом очень прямо взглянул на Меня и выразил

согласие.

— Хорошо, м-р Вандергуд, приезжайте. Я надеюсь услыхать от вас много интересного, что отчасти заменит мне мои книги. И м-р Топпи очень понравился моей Марии…

— Топпи?!

— Да. Она нашла в нем сходство с каким-то из святых; Мария часто посещает церковь, м-р Вандергуд.

Топпи — святой?! Или это походный молитвенник перевесил его широкий зад и рыбью кость в горле? А Магнус смотрел на Меня почти нежно, и лишь его тонкий нос слегка вздрагивал от сдержанного смеха… приятно, что за такой суровой внешностью скрывается столько тихого веселья!

Уже вечерело, когда мы уехали. Провожал нас только Магнус, Мария более не выходила. Белый домик за кипарисами был, как и вчера, тих и безмолвен, но теперь эта тишина показалась Мне иною: ею была душа *Марии*.

Скажу правду, Мне было грустно уезжать, но вскоре другие впечатления охватили и рассеяли Меня: начинался Рим. Через какой-то пролом в толстой стене мы въехали на освещенные людные улицы, и первое, что Я увидел в Вечном городе, был вагон трамвая, со скрипом и стоном

пролезавший в ту же стену. Топпи, уже знакомый с Римом, блаженно внюхивался в каждую темную громаду церкви и своим длинным пальцем показывал Мне *остатки* старого Рима, влипшие в огромные и гладкие стены новых домов: как будто настоящее бомбардировали снарядами прошлого и они застряли в кирпиче.

Кое-где темнели целые кучи этого старья. Через низенький каменный парапет мы увидели какую-то темную неглубокую яму и толстые триумфальные ворота, до колен ушедшие в землю. «Форум!» — торжественно возгласил Топпи, и извозчик на козлах поспешно и одобрительно закивал головой в помятой шляпе. С каждой новой грудой старого кирпича и щебня мой чудак преисполнялся все большей важностью, а Я жалел о моем *высоком* Нью-Йорке и рассчитывал, сколько нужно обыкновенных мусорных телег, чтобы к утру вывезти вон весь старый Рим. Когда Я сказал об этом Топпи, он обиделся и угрюмо возразил:

— Вы ничего не понимаете. Лучше закройте глаза и только думайте, что вы в *Риме*.

Я так и сделал и еще раз убедился, что *зрение* большая помеха для ума, как и слух: недаром на земле мудрецы слепы, а лучшие музыканты

глухи. В Мой нос, когда Я, подобно Топпи, стал внюхиваться в *воздух*, вошло гораздо больше *Рима* и его ужасно длинной и крайне занимательной истории: так старый гниющий лист в лесу пахнет сильнее и крепче, чем молодая зеленая листва. Поверишь ли: в одном месте Я ощутил явственный запах *Нерона и крови*? А когда Я в восторге открыл глаза, Я увидел обыкновенный газетный киоск и будку с лимонадом!

— Ну как? — проворчал Топпи, все еще недовольный.

– *Пахнет*.

— Ну да, конечно, пахнет! И с каждым часом будет пахнуть все сильнее: это старые, крепкие духи, м-р Вандергуд.

И точно: пахло все крепче и… — не могу найти сравнения! — все частицы Моего мозга зашевелились и тихо зажужжали, как пчелы, разбуженные дымом. Странно, но в архиве этого нелепого Вандергуда, кажется, есть и Рим: уж не *отсюда* ли он родом? По крайней мере, на какой-то шумной площади Я ощутил явный запах *родственников*, а вскоре Я получил твердое убеждение, что по *этим* улицам Я уже ходил когда-то сам. Уж не случалось ли Мне и раньше вочеловечиваться, как и Топпи? Все громче жужжали пчелы, весь

мой улей гудел — и вдруг тысячи лиц, смуглых и белых, красивых и страшных, завертелись передо Мною, — вдруг тысячи тысяч голосов, шумов, криков, смеха и стонов оглушили Меня. Нет, это уже не был улей: это была огромная огненная кузница, в которой тяжкие молоты ковали оружие и разбрасывали красные искры. Железо!

Конечно, если Я уже раньше *жил* в Риме, то Я был одним из его императоров. Я *помню* выражение моего лица, Я помню движение моей голой шеи, когда Я поворачиваю голову и смотрю, Я помню прикосновение золотого венка к моему *плешивому* темени… Железо! Это шаги железных римских легионов, это их железный голос:

— Vivat Caesar![8]

Но мне становится все жарче. Я горю. Или Я не был императором, а лишь одной из «жертв» пожара, когда горел Рим по великолепному замыслу Нерона? Нет, это не пожар — это костер, на котором стою Я. *Слышу*, как змейками шипят язычки огня у Моих ног. *Помню*, как, напрягаясь, вытягивается вперед Моя жилистая шея и в гортани нарастает последний крик проклятия… или благословения? Подумай: Я помню даже ту

---

**[8] Примечания: 8**
Да здравствует Цезарь! (*лат.*)

римскую рожу в первом ряду зрителей, которая еще *тогда* не давала Мне покоя своим идиотским выражением и сонными глазами: Меня жгут, а он спит!

— Отель «Интернациональ», — возгласил Топпи, и Я открыл глаза.

Мы поднимались в гору по тихой улице, и в конце ее сиял огнями огромный дом, достойный, пожалуй, даже Нью-Йорка: это был отель, в котором еще давно по телеграфу для Меня было заказано помещение. Вероятно, там считали нас погибшими при катастрофе. Мой костер погас, Мне стало весело, как негру, удравшему от работы, и Я шепнул Топпи:

— Ну, Топпи, а как… Мадонна?

— Д-да, интересно. Я сразу даже испугался и подавился…

— Костью? Ты глуп, Топпи: она вежлива и не узнала тебя, просто приняла тебя за одного из своих знакомых святых. Но как жаль, старина, что мы выбрали для себя такие унылые американские рожи: ведь, поискав хорошенько, мы могли бы вочеловечиться в красавцев!

— Я своею доволен, — угрюмо сказал Топпи и отвернулся, и на его уныло свисшем глянцевитом носу мелькнул отблеск тайного самодовольства…

ах, Топпи! Ах, святой!

Но нас уже восторженно встречали.

### *14 февраля*

### *Рим, отель «Интернациональ»*

Я не хочу ехать к Магнусу, Я *слишком* много думаю о нем и о его Мадонне из мяса и костей. Я пришел сюда, чтобы весело лгать и играть, и Мне вовсе не нравится быть тем бездарным актериком, что горько плачет за кулисами, а на сцену выходит с сухими глазами. И просто Мне некогда разъезжать по пустырям и ловить там бабочек, как мальчику с сеткой!

Весь Рим шумит вокруг Меня. Я необыкновенный человек, который любит людей, и Я знаменит, ко Мне текут на поклонение не меньшие толпы, чем к самому наместнику Христа. Два папы сразу… Да, счастливый Рим не может назваться сиротою! Сейчас Я живу в отеле, где все стонет от восторга, когда Я выставлю на ночь ботинки, но для Меня уже реставрируется и отделывается дворец: историческая вилла Орсини. Художники, скульпторы и поэты. Один мазилка уже пишет с Меня портрет, уверяя, что Я *напоминаю* ему одного из Меддичисов, остальные

мазилки острят кисти, чтобы насмерть проткнуть его.

Я спрашиваю его:

— А вы можете написать Мадонну?

Конечно, он может. Это он, если синьор помнит, написал того знаменитого турка на коробке с сигарами, который известен даже в Америке. Если синьор желает… Теперь уже три мазилки пишут Мне Мадонну, остальные бегают по Риму и ищут оригинал, «натуру», как они выражаются. Одному я сказал с самым грубым, варварским, американским непониманием задач высокого искусства:

— Но если вы найдете такую натуру, синьор художник, то просто приведите ее ко мне. Зачем тратить краски и полотно?

Он даже скорчился от невыносимой боли и еле пробормотал:

— Ах, синьор!.. Натуру?!

Кажется, он принял Меня за торговца или покупателя «живого товара». Но, глупый, зачем Мне твое посредничество, за которое Я должен платить комиссионные, когда в Моих передних целая витрина римских красавиц? Они все обожают Меня. Им Я *напоминаю* Савонаролу, и каждый темный угол в гостиной с мягкой софой

они стремятся немедленно превратить в… исповедальню. Мне нравится, что эти знатные дамы, как и художники, так хорошо знают отечественную историю и сразу догадываются, кто Я.

Радость римских газет, узнавших, что Я не погиб при катастрофе и не потерял ни ноги, ни миллиардов, равнялась радости иерусалимских газет в день неожиданного воскресения Христа… впрочем, у тех было меньше основания радоваться, насколько Я помню историю. Я боялся, что *напомню* журналистам Ю. Цезаря, но, к счастью, они мало думают о прошлом, и все ограничилось только Моим сходством с президентом Вильсоном… Мошенники, они льстили Моему американскому патриотизму! Однако большинству Я *напоминаю* пророка, но какого, они скромно умалчивают, во всяком случае только не Магомета: Мое отвращение к браку известно во всех телеграфных конторах.

Трудно представить ту дрянь, которой Я кормлю моих голодных интервьюеров. Как опытный свиновод, Я с ужасом смотрю на эту ядовитую бурду, но они едят — и живы, хотя это правда — не толстеют нисколько! Вчера, в чудесное утро, Я летал на аэроплане над Римом и *Кампаньей*…

Ты хочешь спросить, видел ли я домик Марии?

Нет. Я его не нашел: как можно найти песчинку среди других песчинок, хотя бы эта единственная песчинка и… Впрочем, Я и не искал: Мне просто было страшно на этой высоте.

Но Мои славные интервьюеры, перебиравшие внизу ногами от нетерпения, были поражены моим мужеством и хладнокровием. Один здоровенный и сердитый бородач, *напомнивший* Мне Ганнибала, первый овладел Мною и спросил:

— Не правда ли, м-р Вандергуд, — сознание, что вы парите в воздухе и завоевали эту непокорную стихию, наполнило вас чувством гордости за человека, который завоевал…

Он повторил сначала, чтобы Я лучше запомнил: они все, кажется, не особенно доверяют Моему уму и подсказывают приличные ответы. Но Я развел руками и горестно воскликнул:

— Представьте, синьор, нет! Я раз только испытал чувство гордости за человека, и это было… в уборной парохода «Атлантик».

— О!! В уборной! Но что же случилось? Буря, и вы были поражены гением человека, который завоевал…

– *Особенного* ничего не случилось. Но я был поражен гением человека, который из такой отвратительной необходимости, как уборная,

сумел сделать истинный дворец!

— О?!

— Истинный храм, в котором вы первосвященник!

— Позвольте записать? Это такой… такое оригинальное освещение вопроса…

А сегодня *это* кушал весь Вечный город. И Меня не только не выслали из города, но как раз сегодня Мне были сделаны первые *официальные* визиты: что-то вроде министра, или посла, или другого придворного повара долго посыпало Меня сахаром и корицей, как пудинг. Сегодня же Я возвратил визиты: эти вещи неприятно задерживать у себя.

Надо ли говорить, что у Меня уже есть племянник? У каждого американца в Европе есть племянник, и Мой не хуже других. Его также зовут Вандергудом, он служит в каком-то посольстве, очень приличен, и его плешивое темя так напомажено, что мой поцелуй мог бы стать целым завтраком, если бы я любил пахучее сало. Но надо кое-чем и жертвовать, и особенно обонянием. Мне поцелуй не стоит ни цента, а молодому человеку он открыл широкий кредит на новые духи и мыло.

Но довольно! Когда Я смотрю на этих джентль-

менов и леди и *припоминаю*, что они были *такими* еще при дворе Ашурбанипала и что все две тысячи лет сребреники Иуды продолжают приносить проценты, как и его поцелуй, — Мне становится скучным участвовать в старой и заезженной пьесе. Ах, Я хочу великой игры, где само солнце было бы рампой, Я ищу свежести и таланта, Мне нужна красивая линия и смелый излом, а с этой труппой Я веселюсь не больше старого капельдинера. Или это только статисты? Но порою Мне начинает казаться, что решительно не стоило для *этого* предпринимать такое далекое путешествие и менять… старый пышный, красочный ад на его дряннейшую репродукцию. Как жаль, говоря правду, что Магнус и его Мадонна не хотят немного поиграть со Мною… мы бы поиграли немножко… совсем немного!

Лишь одно утро Мне удалось провести с интересом и даже в волнении. Какая-то «свободная» церковка, собрание очень серьезных дам и мужчин, желающих веровать по-своему, пригласила Меня прочесть воскресную проповедь. Я надел черный сюртук, в котором Я *напоминаю*… Топпи, и проделал перед зеркалом несколько особенно выразительных жестов и выражений лица, потом в автомобиле, как пророк-модерн, примчался

в собрание. Темой Моей, или «текстом», было обращение Иисуса к богатому юноше с предложением раздать все свое имение нищим — и в полчаса, как дважды два четыре, Я доказал, что любовь к ближним наилучшее помещение для капитала. Как практичный и осторожный американец, Я указал, что нет надобности хвататься за целое Царство Небесное и сразу бросать весь капитал, а можно небольшими взносами и рассрочкой приобретать в нем участки — «сухой, на высокой горе, с дивным видом на окрестности». Лица верующих приобрели сосредоточенное выражение: видимо, они вычисляли — и сразу прояснились: Царство Божие на *этих* условиях приходилось каждому по карману. К несчастью, в собрании присутствовало несколько слишком сообразительных Моих соотечественников, и один уже поднялся, чтобы предложить акционерную компанию… Целым фонтаном чувствительности Я с трудом загасил его религиозно-практический жар! О чем Я не говорил? Я ныл о моем грустном детстве, проведенном в труде и лишениях. Я завывал о Моем бедном отце, погибшем на спичечной фабрике, Я тихо скулил о всех моих братьях и сестрах во Христе, и здесь мы развели такое болото, что журналисты запаслись утками

на полгода. Как мы плакали!

Дрожь прохватила Меня от сырости, и решительным жестом Я хватил в барабан моих миллиардов: дум-дум! Все для людей, ни одного цента себе: дум-дум! С наглостью, достойной палок, Я закончил «словами незабвенного Учителя»:

— Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас!

Ах, как жаль, что Я лишен возможности творить чудеса! Маленькое и практическое чудо, вроде превращения воды в графинах в кисленькое кианти или нескольких слушателей в паштеты, было совсем не лишним в эту минуту… Ты смеешься или негодуешь, Мой земной читатель? Не надо ни того, ни другого. Помни, что *необыкновенное* невыразимо на твоем чревовещательском языке, и Мои слова только проклятая маска моих мыслей.

*Мария!*

О моем успехе прочти в газетах. Но один шут несколько испортил Мне настроение: это был член Армии Спасения, предложивший Мне немедленно взять трубу и вести Армию в бой… это были слишком дешевые лавры, и Я выгнал его и его Армию вон. Но Топпи!.. Всю дорогу домой он торжественно молчал и наконец сказал Мне

угрюмо и почтительно:

— Сегодня вы были в большом ударе, м-р Вандергуд. Я даже заплакал. Жаль, что вас не слыхал Магнус и его дочь… та, понимаете? Она изменила бы о нас свое мнение.

Ты понимаешь, что Мне искренне захотелось выбросить неудачного поклонника из кареты! Я снова почувствовал в своем зрачке всепроникающий взгляд Ее очей — и буфетчик в баре не открывает так быстро коробку с консервами, как снова Я был вскрыт, разложен на тарелке и предложен вниманию всей публики, наполнявшей улицу. Я нахлобучил цилиндр, поднял воротник и, *напоминая* с треском провалившегося трагика, молча, не отвечая на поклоны, *удалился* в свои апартаменты. Как я мог отвечать на поклоны, когда со Мною не было трости?

Я отклонил все сегодняшние приглашения и вечер сижу дома: Я «занят религиозными размышлениями», — так придумал сам Топпи, начавший, кажется, уважать Меня. Передо мною виски и шампанское. Я неторопливо нализываюсь и слушаю отдаленную музыку из обеденного зала, там сегодня какой-то знаменитый концерт. По-видимому, Мой Вандергуд был изрядным пьяницей и каждый вечер тащит Меня в кабак,

на что Я соглашаюсь. Не все ли равно? К счастью, его хмель веселого свойства, а не мрачного, и *мы* проводим часы недурно.

Сперва *мы* тупыми глазами осматриваем обстановку и нехотя соображаем, сколько все это — бронза, ковры, венецианские зеркала и прочее — может стоить? Пустяки! — решаем мы и самодовольно погружаемся в созерцание наших миллиардов, нашей силы и нашего замечательного ума и характера. С каждой рюмкой наше блаженство все полнее и ярче. С наслаждением *мы* купаемся в дешевой роскоши отеля, и — подумай! — Я уже *действительно* начинаю любить бронзу, ковры, стекло и камни. Мой пуританин Топпи осуждает роскошь, она *напоминает* ему Содом и Гоморру, но Мне уже трудно было бы расстаться с этими маленькими чувственными удовольствиями… как глупо, подумай!

Дальше мы тупо и самодовольно слушаем музыку и не в тон подпеваем незнакомым вещам. Маленькое назидательное размышление о декольте дам, если они есть, и слишком твердыми ногами *мы* наконец идем в опочивальню. Но что иногда случается со *Мною*?

Вот сейчас… *мы* уже собирались спать, как вдруг какой-то неосторожный удар смычка, и Я

мгновенно весь наполняюсь вихрем бурных слез, любви и такой тоски! Необыкновенное становится выразимым, Я широк, как пространство, Я глубок, как вечность, и в едином дыхании Моем Я вмещаю все! Но какая тоска! Но какая любовь! *Мария!*

Но ведь Я только подземное озеро в животе Вандергуда, и *Мои* бури нисколько не колеблют его твердой поступи. Но ведь Я лишь солитер в его желудке, от которого он тщетно ищет лекарства! *Мы* звоним и приказываем камерьере:

— Соды!

Я просто пьян. А риведерчи, синьор, буона нотте![9]

### *18 февраля 1914 г*

### *Рим, отель «Интернациональ»*

Вчера я был у Магнуса. Он довольно-таки долго заставил Меня ждать в саду и вышел с таким видом холодного равнодушия, что Мне сразу захотелось уехать. В черной бороде я заметил несколько седых волос, которых не видел раньше.

---

**[9] Примечания: 9**

До свидания, синьор, спокойной ночи (*итал.* — A rivederci, signore, buona notte).

Или Мария нездорова? Я обеспокоился. *Здесь* все так непрочно, что, расставшись с человеком на час, можешь потом разыскивать его в вечности.

— Мария здорова, благодарю вас, — холодно ответил Магнус, и в глазах его мелькнуло удивление, как будто Мой вопрос был дерзостью или неприличием. — А как ваши дела, м-р Вандергуд? Римские газеты полны вами, вы имеете успех.

С горечью, усиленной отсутствием Марии, Я поведал Магнусу о Моем разочаровании и скуке. Я говорил недурно, не без сарказма и остроумия: Меня все более раздражали невнимание и скука, всеми буквами написанные на утомленном и бледном лице Магнуса. Он ни разу не улыбнулся, не переспросил Меня, а когда Я дошел до Моего «племянника» Вандергуда, он брезгливо поморщился и нехотя вымолвил:

— Фи! Но ведь это простой фарс из «Варьете». Как вы можете заниматься такими пустяками, м-р Вандергуд?

Я горячо возразил:

— Но ведь это не Я занимаюсь, синьор Магнус!

— А интервьюеры? А этот ваш полет? Вы должны их гнать, м-р Вандергуд, это унижает… ваши три миллиарда. Это правда, что вы читали какую-то проповедь?

Воодушевление игры покинуло Меня. Нехотя, как нехотя слушал Магнус, Я рассказал ему о проповеди и этих серьезно верующих, которые глотают кощунство, как мармелад.

— А разве вы ожидали чего-нибудь другого, м-р Вандергуд?

— Я ожидал, что меня побьют палками за наглость. Когда Я кощунственно пародировал эти красивые слова Евангелия…

— Да, это красивые слова, — согласился Магнус. — Но разве вы до сих пор не знали, что всякое богослужение и всякая ихняя вера кощунство? Если простая облатка у них называется телом Христовым, а какой-нибудь Сикст или Пий спокойно и с доброго согласия всех католиков зовет себя Наместником Христа, то отчего же и вам, американцу из Иллинойса, не быть его… хотя бы губернатором? Это не кощунство, м-р Вандергуд, это просто аллегории, необходимые для грубых голов, и вы напрасно расточаете ваш гнев. Но когда же вы приступите *к делу*?

С хорошо сделанной грустью Я развел руками:

– *Я хочу* делать, *но Я не знаю*, что делать. Вероятно, не приступлю до тех пор, пока вы, Магнус, не решитесь оказать мне помощь.

Он хмуро взглянул на свои большие, неподвиж-

ные, белые руки, потом на Меня:

— Вы слишком доверчивы, м-р Вандергуд, это большой недостаток… при трех миллиардах. Нет, я для вас не гожусь. У нас разные дороги.

— Но, дорогой Магнус!..

Мне показалось, что он ударит Меня за это нежнейшее «дорогой», которое Я пропел наилучшим фальцетом. Но раз дело доходит до бокса, то отчего не говорить дальше? Со всею сладостью, какая скопилась у Меня в Риме, Я посмотрел на хмурую физиономию Моего друга и еще более нежным фальцетом пропел:

— А какой вы национальности, дорогой… синьор Магнус? Мне почему-то кажется, что вы не итальянец.

Он равнодушно ответил:

— Да, я не итальянец.

— Но ваше отечество…

— Мое отечество?.. omne solum liberum libero patria. Вы, вероятно, не знаете латыни? Это значит, м-р Вандергуд: всякая свобода — отечество для свободного человека. Не хотите ли позавтракать *со мною?*

Приглашение было сделано таким ледяным тоном и отсутствие Марии было так густо подчеркнуто, что Я был вынужден вежливо отказаться.

Черт его возьми, этого человечка!

Мне было вовсе не весело в то утро. Мне искренне хотелось дружески поплакать в его жилет, а он на корню сушил все Мои благородные порывы. Вздохнув и сделав лицо содержательным, как уголовный роман, Я перешел на другую роль, приготовленную, собственно, для Марии, — понизив голос, Я сказал:

— Хочу быть откровенным с вами, синьор Магнус. В Моем… прошлом есть темные страницы, которые я хотел бы искупить. Я…

Он быстро перебил Меня:

— Во всяком прошлом есть темные страницы, м-р Вандергуд, и я сам не настолько безупречен, чтобы принять исповедь такого достойного джентльмена. Я плохой духовник, — добавил он с самой неприятной усмешкой, — *я не прощаю* кающихся, а при этом условии где же сладость исповеди? Лучше расскажите мне что-нибудь еще о… вашем племяннике. Он молод?

Мы поговорили о племяннике, и Магнус вежливо улыбался. Потом мы помолчали. Потом Магнус спросил, был ли Я в Ватиканской галерее, — и Я откланялся, передав мой привет синьорине Марии. Признаться, Я имел довольно жалкий вид и почувствовал живейшую благодарность к

Магнусу, когда он сказал на прощанье:

— Не сердитесь на меня, м-р Вандергуд. Я несколько нездоров сегодня и… немного озабочен своими делами. Просто некоторый припадок мизантропии. В другой раз надеюсь быть более приятным собеседником, а за сегодняшнее утро извините. Я передам ваш привет Марии.

Если этот чернобородый молодец *играл*, то, надо признаться, Я нашел достойного партнера! Дюжина негритянских ребят не могла бы слизать с Моего лица той патоки, которую вызвало на нем одно только скупое обещание Магнуса — передать мой привет Марии. До самого отеля Я идиотски улыбался кожаной спине моего шофера и осчастливил Топпи поцелуем в темя; каналья все еще пахнет мехом, как молодой чертенок!

— Вижу, что вы съездили недаром, — многозначительно сказал Топпи. — Как поживает та… дочь Магнуса, вы понимаете?

— Прекрасно, Топпи, прекрасно. Она нашла, что я *напоминаю* красотой и мудростью царя Соломона!

Топпи благосклонно ухмыльнулся на мою неудачную остроту, а с Меня сразу сползла вся патока, и сахар заменился уксусом и желчью. Я заперся у себя и на долгое время предался хо-

лодному гневу на Сатану, который влюбляется в женщину.

Когда ты влюбляешься в женщину, Мой земной товарищ, и тебя начинает трясти лихорадка любви, ты считаешь себя оригинальным? А Я нет. Я вижу все легионы пар, начиная с Адама и Евы, Я вижу их поцелуи и ласки, слышу их слова, проклятые проклятием однообразия, и Мне становится ненавистным Мой рот, смеющий шептать чужие шепоты, Мои глаза, повторяющие чужие взоры, Мое сердце, покорно поддающееся дешевому заводному ключу. Я вижу всех спарившихся животных в их мычании и ласках, проклятых проклятием однообразия, и Мне становится омерзительной эта податливая масса Моих костей, мяса и нервов, это проклятое тесто *для всех*. Берегись, Вочеловечившийся, на Тебя надвигается обман!

Не хочешь ли взять себе Марию, земной товарищ? Возьми ее. Она твоя, а не Моя. Ах, если бы Мария была Моей рабыней, Я надел бы ей веревку на шею и, нагую, вывел бы на базар: кто покупает? Кто даст Мне больше за неземную красоту? Ах, не обижайте бедного слепого торговца: шире раскрывайте кошельки, громче звените золотом, щедрые господа!..

Что, она не хочет идти? Не бойся, господин, она пойдет и будет любить тебя… это просто девичий стыд, господин! Вот Я подстегну ее этим концом веревки — хочешь, Я доведу ее до твоей опочивальни, до самого твоего ложа, добрый господин? Возьми ее с веревкой, веревку Я отдаю даром, но избавь Меня от небесной красоты! У нее лицо пресветлой Мадонны, она дочь почтеннейшего Фомы Магнуса, и они оба украли: один свое имя и белые руки, другая — свой пречистый лик! Ах!..

Но, кажется, Я начинаю играть уже с тобой, Мой дорогой читатель? Это ошибка: Я просто взял не ту тетрадку. Нет, это не ошибка, это хуже. Я играю оттого, что мое одиночество очень велико, очень глубоко, — боюсь, что оно не имеет дна совсем! Я становлюсь на край пропасти и бросаю туда слова, множество тяжелых слов, но они падают без звука. Я бросаю туда смех, угрозы и рыдания. Я плюю в нее, Я свергаю в нее груды камней, глыбы утесов, Я низвергаю в нее горы — а там все пусто и глухо. Нет, положительно, у этой пропасти нет дна, товарищ, и мы напрасно трудимся с тобою и потеем!

…Но я вижу твою улыбку и твое хитрое подмаргиванье: ты *понял*, почему Я так кисло заговорил об одиночестве… ах, эта любовь! И ты хочешь

спросить: есть ли у меня любовницы?

Есть. Две. Одна русская графиня, другая итальянская графиня. Они различаются духами, но это такая несущественная разница, что Я одинаково люблю обеих.

Ты еще хочешь спросить, поеду ли Я к Фоме Магнусу?

Да, Я поеду к Фоме Магнусу, Я очень люблю его. Это пустяки, что у него вымышленное имя и что дочь его имеет дерзость походить на Мадонну. Я сам недостаточно Вандергуд, для того чтобы быть особенно придирчивым к именам, — и Я сам слишком *вочеловечился*, чтобы не простить другому попытки *обожествиться*.

Клянусь вечным спасением, одно вполне стоит другого!

***21 февраля 1914 г***

***Рим, вилла Орсини***

Меня посетил кардинал Х., ближайший друг и наперсник папы и, как говорят, его наиболее вероятный преемник. Его сопровождали два аббата, и вообще это очень важная особа, визит которой приносит Мне немалую честь.

Я встретил его преосвященство в приемной

Моего нового дворца и успел заметить, как нырял Топпи под руками священников и кардинала, срывая благословения быстрее, чем ловелас поцелуи у красоток. Шесть благочестивых рук едва успевали справиться с одним Чертом, которым овладело благочестие, и уже на пороге в Мой кабинет он еще раз успел ткнуться в живот кардиналу. Экстаз!

Кардинал Х. говорит на всех европейских языках и, из уважения к звездному флагу и миллиардам, наш разговор вел по-английски. Начался разговор с того, что его преосвященство поздравил Меня с приобретением виллы Орсини, во всех подробностях за двести лет рассказал Мне историю Моего жилища. Это было неожиданно, очень длинно, местами не совсем понятно и заставило Меня, как истинного американского осла, уныло хлопать ушами… но зато Я хорошо рассмотрел Моего важного и слишком ученого посетителя.

Он еще совсем не стар, широк в плечах, приземист и, видимо, вообще крепкого телосложения и здоровья. Лицо у него крупное и почти квадратное; слегка оливковый цвет и густая синева на бритых местах, такие же смуглые, но очень тонкие и красивые руки свидетельствуют о его

испанской крови, — до того, как посвятить себя Богу, кардинал Х. был испанским грандом и герцогом. Но черные глаза очень малы и слишком глубоко посажены под густые брови, но расстояние между коротким носом и тонкими губами слишком велико… и Мне это напоминает кого-то. Но кого? И что это за странная манера непременно кого-нибудь *напоминать?* Какого-нибудь святого, конечно?

На мгновение кардинал задумался, и вдруг Я ясно вспомнил: да это просто старая бритая *обезьяна*! Это *ее* торжественно-печальная бездонная задумчивость, это *ее* злой огонек в узеньком зрачке! Но уже в следующее мгновение кардинал смеялся, играл лицом и жестами, как неаполитанский лаццароне, — он не рассказывал Мне историю дворца, он играл, он представлял ее в лицах и драматических монологах! У него короткие, совсем не обезьяньи ручки, и, когда он взмахивает ими, он похож скорее на пингвина, а голос его напоминает говорящего попугая, — кто же ты, наконец?

Нет, обезьяна! Вот он снова засмеялся, и Я вижу, что он *не умеет* смеяться. Словно только вчера он научился этому человеческому искусству, очень любит смех, но каждый раз с трудом находит его

в своей неприспособленной гортани, давится звуками, кудахтает, почти стонет. Нельзя не вторить этому странному *смеху*, он заразителен, но уже скоро начинает ломить челюсти, зубы и мускулы деревенеют.

Это было замечательно, Я положительно увлекся созерцанием, когда кардинал Х. внезапно оборвал свою лекцию о вилле Орсини припадком стонущего смеха и спокойно замолчал. Перебирал четки тонкими пальцами, спокойно молчал и смотрел на Меня с выражением глубочайшей преданности и нежнейшей любви: что-то вроде слез засветилось в его черных глазках — так Я ему нравился, так он любил Меня! Сбитый с мыслей внезапной остановкой, когда поезд гнал под уклон, Я тоже молчал и — что же делать! — также нежно смотрел на его квадратное обезьянье лицо. Нежность переходила в любовь, любовь становилась страстью, а мы все молчали… еще мгновение, и мы задушим друг друга в объятьях!

— Вот вы и в Риме, м-р Вандергуд, — сладко пропела старая обезьяна, не меняя своего любовного взора.

— Вот я и в Риме, — покорно согласился Я, продолжая смотреть с тою же греховной страстью.

— А вы знаете, м-р Вандергуд, зачем я к вам

приехал? — кроме, конечно, удовольствия познакомиться и т. д.?

Я подумал и с тем же пылким взглядом ответил:

— За деньгами, ваше преосвященство?

Кардинал коротко взмахнул крылышками, засмеялся, похлопал себя по коленке и снова застыл в любовном созерцании Моего носа. Это немое обожание, на которое Я отвечал удвоенной страстью, начало приводить Меня в очень странное состояние. Я нарочно рассказываю тебе так подробно, чтобы ты понял Мое желание в эту минуту пойти колесом, запеть петухом, рассказать наилучший арканзасский анекдот или попросту предложить его преосвященству снять сутану и дружески поиграть в чехарду!

— Ваше преосвященство…

— Я очень люблю американцев, м-р Вандергуд.

— Ваше преосвященство! В Арканзасе рассказывают…

— Но вы хотите скорее к делу? Я понимаю ваше нетерпение — денежные дела любят поспешность, не так ли?

— Смотря по тому, на каком стуле вы сидите, ваше преосвященство.

Квадратное лицо кардинала стало серьезным,

и в глазах мелькнул любовный укор.

— Не гневайтесь на мое увлечение, м-р Вандергуд. Я так люблю историю нашего великого города, что не мог отказать себе в удовольствии… Разве то, что вы видите теперь, есть Рим? Рима нет, м-р Вандергуд. Когда-то это было Вечным городом, а теперь это лишь большой город, и чем он больше, тем он дальше от вечности. Где тот великий Дух, который осенял его?

Я не стану передавать тебе всей болтовни фиолетового попугая, его нежно-каннибальских взглядов, кривляний и смеха. Вот что сказала Мне старая бритая обезьяна, когда наконец угомонилась:

— Ваше несчастье в том, м-р Вандергуд, что вы слишком любите людей…

— Возлюби ближнего…

— Ну и пусть *ближние* любят друг друга, учите их этому, внушайте, приказывайте, но зачем это *вам*? Когда слишком любят, то не замечают недостатков любимого предмета, и еще хуже: их охотно возводят в достоинства. Как же вы будете исправлять людей, делать их счастливыми, *не зная* их недостатков, пороки принимая за добродетели? Когда любят, то и жалеют, а жалость убивает силу. Видите, я вполне откровенен с ва-

ми, м-р Вандергуд, и еще раз скажу: любовь — это бессилие. Любовь вытащит у вас деньги из кармана и потратит их… на румяна! Предоставьте тем, кто на низу, любить друг друга, требуйте от них этого, но *вы*, вознесенный так высоко, одаренный таким могуществом!..

— Но что же мне делать, ваше преосвященство? Я теряюсь. С детства, и именно в церкви, мне твердили о необходимости любви, я поверил, и вот…

Кардинал задумался. Как и смех, задумчивость приходила к нему внезапно и сразу делала его квадратное лицо немым, скорбно-унылым и немного наивно-торжественным. Выпятив вперед и склеив свои тонкие губы, опершись подбородком на ладонь, он неподвижно уставил на Меня свои острые запавшие глаза, и в них была печаль. Он словно ждал окончания моей фразы и, не дождавшись, вздохнул и замигал глазами.

— Детство, да… — пробормотал он, все так же печально моргая, — дети, да. Но ведь теперь вы не дитя? Забудьте, вот и все. Чудесный дар забвения, знаете?

Он слегка оскалил белые зубы и многозначительно почесал нос тонким пальцем. И продолжал серьезно:

— Но это все равно, м-р Вандергуд, вы сами

ничего сделать не можете… да, да! Надо *знать* людей, чтобы сделать их счастливыми, — ведь это ваша благородная задача? — а *знает* людей только Церковь. Она мать и воспитательница в течение многих тысяч лет, и ее опыт *единственный* и, могу сказать, непогрешимый. Насколько я знаком с вашей жизнью, вы опытный скотовод, м-р Вандергуд? И, конечно, вы знаете, что такое *опыт* даже по отношению к таким несложным существам, как…

— Как свиньи.

Он испуганно мигнул на Меня глазами — и вдруг залаял, закудахтал, завыл: это он смеялся.

— Свиньи? Это очень хорошо, это великолепно, м-р Вандергуд, но не забудьте, что в них иногда вселяются бесы!

Покончив с своим смехом, он продолжал:

— Уча, мы учимся сами. Я не скажу, чтобы все методы воспитания и исправления, которые применяла Церковь, были одинаково удачны. Нет, мы часто ошибались, но каждая наша ошибка вела к упорядочению наших приемов… Мы совершенствуемся, м-р Вандергуд, мы совершенствуемся!

Я намекнул на быстрый рост рационализма, который в самом близком будущем грозит гибелью

«усовершенствованной» церкви, но кардинал Х. снова замахал короткими обрубками крыльев и положительно завыл от смеха:

— Рационализм! Да у вас несомненный талант юмориста, м-р Вандергуд! Скажите, известный Марк Твен не ваш ли соотечественник?.. Да, да! Рационализм! А вы припоминаете, от какого слова это происходит и что значит ratio? An nescis, mi fili, quantilla sapientia regitur orbis?[10]Ах, дорогой Вандергуд, говорить на этой земле о рацио еще более неуместно, нежели упоминать о веревке в доме повешенного!

Я смотрел на эту старую обезьяну, как она веселилась, и мне самому становилось весело. Я вглядывался в эту смесь мартышки, говорящего попугая, пингвина, лисицы, волка, — и что еще там есть? — и Мне самому стало смешно: Я люблю веселых самоубийц. Мы еще долго потешались над несчастным *рацио*, пока его преосвященство не успокоился и не перешел в наставительный тон:

— Как антисемитизм есть социализм дураков…

— А вы знакомы и?..

---

**[10] Примечания: 10**

…разум? Разве ты не знаешь, сын мой, сколь мала мудрость, царящая в мире? (*лат.*)

— Ведь мы же совершенствуемся!.. так и рационализм есть ум глупцов. Только безнадежный глупец *останавливается* на рацио, а умный идет дальше. Да и для отпетого глупца его рацио лишь праздничное платье, этот всеобщий пиджак, который он надевает для людей, а живет он, спит, работает, любит и *умирает*, воя от ужаса, без всякого рацио. Вы боитесь смерти, м-р Вандергуд?

Мне не хотелось отвечать, и Я промолчал.

— Напрасно стесняетесь, м-р Вандергуд: *ее* и следует бояться. А пока есть *смерть*...

Вдруг лицо бритой обезьяны стало плаксивым и в глазах выразились ужас и злоба: точно кто-нибудь схватил ее за шиворот и сразу бросил назад, в глушь, тьму и ужас первобытного леса. Он боялся *смерти*, и страх его был темен, зол и безграничен. И Мне не надо было слов и доказательств: достаточно было только взглянуть на это искаженное, помутневшее, потерянное лицо *человека*, чтобы низко и всеподданнейше поклониться Великому Иррациональному. Но какова сила *ихней* стадности: мой Вандергуд также побледнел и скорчился... ах, мошенник! Теперь он просил защиты и помощи у Меня!

— Не хотите ли вина, ваше преосвященство?

Но преосвященство уже опомнилось. Оно

скривило тонкие губы в улыбку и отрицательно помотало головой — по виду тяжеловатой таки. И вдруг воспрянуло с неожиданной силой:

— И пока есть смерть, Церковь незыблема! Качайте ее все, подкапывайтесь, валите, взрывайте — вам ее не повалить. А если бы это и случилось, то первыми под развалинами погибнете вы. Кто тогда защитит вас от смерти? Кто *тогда* даст вам сладкую веру в бессмертие, в вечную жизнь, в вечное блаженство?.. Поверьте, м-р Вандергуд, мир вовсе, вовсе не хочет вашего рацио, это недоразумение!

— А чего же он хочет, ваше преосвященство?

— Чего он хочет? Mundus vult decipi… Вы знаете нашу латынь? Мир хочет быть обманут!

И старая обезьяна снова развеселилась, замигала, закривлялась, ударила себя по коленям и захлебнулась в стонущем смехе. Я тоже засмеялся: так потешен был этот старый шулер, раскладывающий пасьянс краплеными картами.

— И именно вы, — сказал Я, смеясь, — и хотите обмануть его?

Кардинал Х. стал снова серьезен и печально сказал:

— Святой престол нуждается в деньгах, м-р Вандергуд. Мир если и не стал рационалистом, то

сделался недоверчивее, и с ним трудненько-таки ладить. — Он искренне вздохнул и продолжал: — Вы не социалист, м-р Вандергуд?.. Ах, не стесняйтесь, мы все теперь социалисты, мы теперь на стороне голодных. Пусть кушают побольше: чем они будут сытее, тем *смерть*, понимаете?..

Он широко, насколько мог, развел руки, изображая вершу, в которую бежит рыба, и оскалился:

— Ведь мы рыбари, м-р Вандергуд, скромные рыбари!.. А скажите: стремление к *свободе* вы почитаете пороком или добродетелью?

— Весь цивилизованный мир считает стремление к свободе добродетелью, — возмущенно отозвался Я.

— Я и не ожидал иного ответа от гражданина Соединенных Штатов. А вы лично не думаете ли, что тот, кто принесет человеку безграничную *свободу*, тот принесет ему и *смерть*! Ведь только *смерть* развязывает все земные узы, и не кажутся ли вам эти слова — свобода и смерть — простыми синонимами?

В этот раз старой обезьяне удалось довольно-таки ловко кольнуть меня под седьмое ребро. Я вспомнил Моего Вандергуда, справился с Моим счетчиком и уклончиво ответил:

— Я говорю о политической свободе.

— О политической? О, это пожалуйста! Это сколько угодно! Конечно… если они сами захотят ее. Захотят, вы уверены? О, тогда пожалуйста, сколько угодно! Это вздор и клевета, что Св. Престол всегда за реакцию, и как там… Я имел честь присутствовать на балконе Ватикана, когда Его Святейшество благословил первый французский аэроплан, показавшийся над Римом, а следующий папа — я убежден — с охотою благословит баррикады. Времена Галилеев прошли, м-р Вандергуд, и мы все теперь хорошо знаем, что Земля вращается!

Он повертел пальцами, изображая, как вращается Земля, и дружески подмигнул, давая и Мне долю в своей шулерской игре, Я с достоинством сказал:

— Позвольте Мне подумать о вашем предложении, ваше преосвященство.

Кардинал Х. быстро вскочил с кресла и нежно, двумя аристократическими пальцами, коснулся Моего плеча:

— О, я не тороплю вас, добрейший м-р Вандергуд, это *вы* меня торопили. Я даже уверен, что вначале вы откажете мне, но когда вы маленьким опытом убедитесь, что нужно для *счастья* человека…

Ведь я и сам его люблю, м-р Вандергуд, правда, не так страстно и…

И с теми же кривляниями он удалился, торжественно волоча свою сутану и раздавая благословения. Но в Мое окно Я еще раз увидел его у подъезда, пока подавалась замедлившая карета: он что-то говорил вполоборота одному из своих аббатов, в его почтительно склоненную черную тарелку, и лицо его уже не напоминало старой обезьяны: скорее это было мордой бритого, голодного и утомленного льва. Этот талантливый малый не нуждался в уборной для грима! А позади него стоял высокий, весь в черном лакей, похожий на молодого английского баронета, и всякий раз, когда взор его преосвященства случайно скользил по его лицу и фигуре, он слегка приподнимал свой черный матовый цилиндр.

По отъезде его преосвященства Меня окружили радостной толпой Мои друзья, которыми Я, во избежание одиночества и скуки, набил задние комнаты Моего дворца. Топпи был горд и спокойно счастлив; он так насытился благословениями, что казался даже пополневшим. Художники, декораторы, реставраторы — и как их там еще? — были *польщены* визитом кардинала и с чувством говорили о необыкновенной

выразительности его лица, о величественности его манер: о, это гранде синьор! Сам папа… Но когда Я с наивностью краснокожего заметил, что Мне он *напоминает* старую бритую обезьяну, эти хитрые канальи разразились веселым смехом и кто-то быстро набросал превосходный портрет кардинала Х… в клетке. Я не моралист, чтобы судить людей за их маленькие грешки: им и так порядочно достанется на Страшном суде! И Мне искренне понравилась талантливость насмешливых бестий. Кажется, все они не особенно верят в Мою необыкновенную *любовь к людям*, и если покопаться в их рисунках, то можно, без сомнения, найти недурного Осла-Вандергуда, и это Мне нравится. С Моими маленькими и приятными грешниками Я слегка отдыхаю от большого и неприятного праведника… у которого руки в крови.

Потом Топпи спросил Меня:

— А сколько он просит?

— Все.

Топпи решительно сказал:

— Всего не давайте. *Он* обещал сделать меня пономарем, но все-таки много не давайте. Деньги надо беречь.

С Топпи каждый день случаются неприятные

истории: его наделяют фальшивыми лирами. Когда это произошло с ним в первый раз, он имел вид крайнего смущения и покорно выслушал Мой *строгий* выговор:

— Ты Меня положительно удивляешь, Топпи, — строго сказал Я. — Такому старому Черту неприлично получать фальшивые бумажки от людей и оставаться в дураках. Стыдись, Топпи! И Я боюсь, что ты под конец просто пустишь Меня с сумой.

Теперь Топпи, по-прежнему путаясь среди настоящего и поддельного, старается беречь то и другое: в денежных делах он щепетилен, и кардинал напрасно пытался подкупить его. Но Топпи пономарь!..

А бритой обезьяне очень хочется трех миллиардов; видно, у Св. Престола живот подвело не на шутку. Я долго всматривался в талантливую карикатуру, и она все меньше нравилась Мне; нет, это не то. Хорошо схвачено смешное, но нет того огонька *злобы*, который непрерывно пробегает под серым пеплом *ужаса*. Схвачено звериное и человеческое, но оно не слито в ту *необыкновенную* маску, которая теперь, на расстоянии, когда Я не вижу самого кардинала Х. и не слышу его трудного хохота, начинает крайне неприятно

волновать Меня. Или необыкновенное невыразимо и карандашом?

В сущности, он довольно дешевый мошенник, немного больше простого карманника, и ничего нового не сказал Мне; он не только человекоподобен, но и умоподобен, и оттого так яростен его презрительный смех над истинным рацио. Но он показал Мне *себя*, и… не обижайся на Мою американскую невежливость, читатель, где-то за его широкими плечами, вогнувшимися от страха, мелькнул и твой дорогой образ. Нечто вроде сна, понимаешь: как будто кто-то душил тебя и ты придушенным голосом кричал в небо: караул, стража! Ах, ты не знаешь *третьего*, что не есть ни жизнь, ни смерть, и Я понимаю, *кто* душил тебя своими костлявыми пальцами!

А Я разве *знаю?*

О, посмейся над насмешником, товарищ, кажется, наступает твоя очередь веселиться. А Я разве знаю? Из великих глубин Я пришел к тебе, веселый и ясный, одаренный знанием моего Бессмертия… и вот Я уже колеблюсь, и вот Я уже ощущаю трепет перед этой бритой обезьяньей рожей, которая смеет так нагло-величаво выражать свой низкий страх. Ах, Я даже не продал моего Бессмертия: Я просто *приспал* его, как глупая мать

до смерти присыпает своего грудного младенца, — оно просто вылиняло под твоим солнцем и дождями, — и оно стало прозрачной материей без рисунка, неспособной прикрыть наготы приличного джентльмена! Гнилое вандергудовское болото, в котором Я сижу до самых глаз, обволакивает Меня тиной, дурманит Мое сознание своими ядовитыми парами, душит нестерпимой вонью разложения. Когда ты начинаешь разлагаться, товарищ: на второй, на третий день или смотря по климату? А Я уже разлагаюсь, и Меня тошнит от запаха Моих внутренностей. Или ты только принюхался от времени и привычки и работу *червей* принимаешь просто — за подъем мыслей и вдохновения?

Боже мой, но Я забыл, что у Меня могут быть и прекрасные читательницы! Усердно прошу прощения, уважаемые леди, за это неуместное рассуждение о запахах. Я неприятный собеседник, миледи, и Я еще более скверный парфюмер… нет, еще хуже: Я отвратительная помесь Сатаны с американским медведем, и Я совсем не умею ценить вашей благосклонности…

Нет! Я еще Сатана! Я еще *знаю*, что Я бессмертен, и, когда повелит воля Моя, сам притяну к своему горлу костлявые пальцы. Но если Я *забуду*?

Тогда я раздам Мое имение нищим и с тобою, товарищ, поползу на поклонение к старой бритой обезьяне, прильну Моим американским лицом к ее туфле, от которой исходит благодать. Я буду плакать, Я буду вопить от ужаса: спаси Меня от Смерти! А старая обезьяна, тщательно удалив с лица все волосы, облекшись, сверкая, сияя, озаряя — и сама трясясь от злого ужаса, будет торопливо обманывать мир, который так хочет быть обманутым.

Но это шутки. Я хочу быть серьезен. Мне нравится кардинал Х., и Я позволю ему слегка позолотиться около Моих миллиардов. И Я устал. Надо спать. Меня уже поджидают Моя постель и Вандергуд. Я закрою свет и в темноте еще минуту буду слушать, как утомленно стучит Мой счетчик, а потом придет гениальный, но пьяный пианист и начнет барабанить по черным клавишам Моего мозга. Он все помнит и все забыл, этот гениальный пьяница, и вдохновенные пассажи мешает с икотой.

Это — сон.

## II

***22 февраля,***

***Рим, вилла Орсини***

Магнуса не оказалось дома, и Меня приняла *Мария*. Великое спокойствие снизошло на Меня, великим спокойствием дышу Я сейчас. Как шхуна с опущенными парусами, Я дремлю в полуденном зное заснувшего океана. Ни шороха, ни всплеска. Я боюсь шевельнуться и шире открыть солнечно-слепые глаза, Я боюсь, неосторожно вздохнув, поднять легкую рябь на безграничной глади. И Я тихо кладу перо.

***23 февраля,***

***вилла Орсини***

Фомы Магнуса не оказалось дома, и Меня, поразив неожиданностью, приняла Мария.

Право, это неинтересно, как Я кланялся и что Я там бормотал в первые минуты. Скажу, пожалуй, что Я бормотал несколько невнятнее, чем мог бы, и что Мне ужасно хотелось смеяться. Я долго не

поднимал глаз на Марию, пока не переодел свои мысли в чистое белье и не высморкал всех своих шаловливых детишек — как видишь, соображение не совсем покинуло Меня!

Но Я напрасно готовил этот плац-парад и тревожил вахмистра: *того* испытания не последовало. Взор Марии был прост и ясен, и не было в нем ни пронизывающей силы смертельного света, ни божественного допроса, ни убивающего всепрощения. Он был спокоен и ясен, как небо над Кампаньей, и — Я не знаю, как это случилось, — тою же ясностью озарилась и вся Моя преисподняя. Как смутные тени ночного смотра, всколыхнулись и уплыли Мои прекрасно построенные солдаты, и стало во Мне светло, пустынно и тихо, стало во Мне радостно радостью пустыни, где доселе не был человек. Милый, прости, что Я становлюсь поэтом, и поблагодари за нежное обращение: милый — это дар Марии, который она шлет через Меня!

Она встретила Меня в саду, и Мы сели у ограды, откуда так хорошо видна Кампанья. Когда смотришь на Кампанью, тогда можно и не болтать пустяков, не правда ли? Нет, это она смотрела на Кампанью, а Я смотрел в Ее глаза, где Я видел и Кампанью, и небо, и еще другое небо — вплоть

до седьмого, где ты кончаешь счет всем твоим небесам, человече. Мы молчали — или говорили, если ты хочешь считать разговором такие вопросы и ответы:

— Это горы синеют?

— Да, это синеют Альбанские горы. Там — Тиволи.

Потом она разыскивала маленькие, как крупинки, белые домики и показывала их Мне, и Я смотрел, и Мне казалось, что и там чувствуют внезапное спокойствие и радость от взора Марии. Подозрительное сходство Марии с Мадонной уже не тревожило Меня: как Я могу тревожиться, что *ты* похожа на *тебя*! И наступила минута, когда великое спокойствие снизошло на Меня. У Меня нет слов и сравнений, чтобы Я понятно рассказал тебе об этом великом и светлом покое… Мне все лезет в голову эта проклятая шхуна с опущенными парусами, на которой Я никогда не плавал, так как боюсь морской болезни! Не потому ли, что и в этот ночной час моего одиночества мой путь озаряет *Звезда Морей!* Ну да, Я был шхуной, если хочешь, а если не хочешь, то я был *всем*. Кроме того, Я был *ничем*. Видишь, какая это получается чепуха, когда Вандергуд ищет сравнений и слов?

Я так был спокоен, что вскоре перестал даже

смотреть в глаза Марии: Я просто *верил* им, — это глубже, чем смотреть. Когда нужно будет, Я их найду, а пока буду шхуной с опущенными парусами, буду всем, буду ничем. Один раз только легонький ветерок колыхнул Мои паруса, да и то ненадолго: когда Мария указала на Тибуртинскую дорогу, белой ниткой рассекавшую зеленые холмы, и спросила: ездил ли Я по этой дороге?

— Да, неоднократно, синьорина.

— Я часто смотрю на эту дорогу и думаю, что по ней приятно мчаться в автомобиле. У вас быстрый автомобиль, синьор?

— О да, синьорина, очень быстрый! Но для тех, — продолжал Я с нежным укором, — для тех, кто сам есть пространство и бесконечность, всякое движение излишне.

Мария — и автомобиль! Крылатый ангел, садящийся в метрополитен для быстроты! Ласточка, седлающая черепаху! Стрела на горбатой спине носильщика тяжестей! Ах, все сравнения лгут: зачем ласточка и стрела, зачем самое быстрое движение для *Марии*, в которой заключены все пространства! Но это Я сейчас придумал про метро и черепаху, а *тогда* спокойствие Мое было так велико и блаженно, что не вмещало и не знало иных образов, кроме образа вечности и немерк-

нущего света.

Великое спокойствие снизошло на Меня в тот день, и ничто не могло возмутить его бесконечной глади. Вероятно, мы были очень недолго с Марией, когда вернулся Фома Магнус и приветствовал Меня — и летающая рыба, на мгновение мелькнувшая над океаном, не больше возмутит его синюю гладь, нежели сделал это Магнус. Я *принял* его в глубь себя, — Я спокойно проглотил его и ощутил так же мало тяжести в желудке, как кит, проглотивший селедку. Но мне было приятно, что Магнус приветлив и весел, что он так крепко жмет Мою руку и смотрит ясными и добрыми глазами.

Даже лицо его показалось Мне менее бледным и утомленным, чем обычно.

Меня оставили завтракать… скажу заранее, чтобы ты не очень волновался, что я пробыл у них до поздней ночи. Когда Мария удалилась, Я рассказал Магнусу про посещение кардинала Х. Веселое лицо Магнуса слегка потемнело, и в глазах блеснул прежний враждебный огонек.

— Кардинал Х.? Он *был* у вас?

Я подробно передал нашу беседу с «бритой обезьяной» и скромно заметил, что он кажется Мне мошенником не из крупных. Магнус заметно

поморщился и строго сказал:

— Вы напрасно смеетесь, м-р Вандергуд. Я давно знаю кардинала Х. и… слежу за ним. Это злой, жестокий и опасный деспот. Несмотря на свою смешную внешность, он коварен, беспощаден и мстителен, как Сатана!..

И ты, Магнус! Как Сатана! Этот синий бритый орангутанг, эта ляскающая горилла, эта мартышка, кривляющаяся перед зеркальцем! Но Я превозмог чувство оскорбления — оно пошло камнем на дно моего блаженства — и слушал дальше.

— Его заигрывания с социалистами, его шутки над Галилеем — ложь. Как враги повесили Кромвеля после его смерти, так и кардинал Х. с наслаждением сжег бы кости Галилея: вращение Земли он до сих пор переживает как личное оскорбление. Это старая школа, м-р Вандергуд; для устранения препятствий на своем пути он не остановится перед ядом, перед убийством из-за угла, которое будет иметь все черты несчастной случайности. Вы улыбаетесь, но я не могу смотреть с улыбкой на Ватикан, пока есть в нем такие… а в нем всегда есть кто-нибудь, подобный кардиналу Х. Будьте настороже, м-р Вандергуд: вы попали в поле его зрения и его интересов, и

теперь уже десятки глаз следят за вами… а может быть, и за мной. Берегитесь, мой друг!

Мне он показался даже взволнованным, и с неподдельным жаром Я потряс его руку.

— Ах, Магнус!.. Но когда же вы согласитесь помочь мне?

— Но ведь вам же известно, что я не люблю людей. Это вы их любите, м-р Вандергуд, но не я! — В глазах его мелькнула прежняя насмешливая улыбка.

— Кардинал говорит, что вовсе не надо любить людей, чтобы сделать их счастливыми… наоборот!

— А кто вам сказал, что я хочу делать людей счастливыми? Это опять *вы* хотите, но не я. Отдайте ваши миллиарды кардиналу Х., его рецепт счастья нисколько не хуже других патентованных средств. Правда, его средство в одном отношении несколько неудобно: давая *счастье*, оно уничтожает людей… но разве это важно? Вы слишком деловой человек, м-р Вандергуд, и я вижу, что вы недостаточно знакомы с миром *наших* изобретателей Наилучшего Средства Для Счастья Человечества: этих средств больше, нежели наилучшей мази для ращения волос. Я сам был фантазером и кое-что изобретал в молодости…

так, немного химии… одним неудачным взрывом мне опалило даже волосы, и я очень радуюсь, что *тогда* не встретился с вашими миллиардами. Я шучу, м-р Вандергуд, но если хотите, то вот мой серьезный совет: растите и множьте ваших свиней, делайте из трех миллиардов четыре, продавайте не совсем гнилые консервы и оставьте заботы о счастье человечества. Пока мир будет любить хорошую ветчину, он не оставит вас… своею любовью!

— А те, кто не имеет средств *кушать* ветчину?

— А какое вам дело до тех? Это у них — извиняюсь за резкость — бурчит в животе, а не у вас… Когда же бурчание станет слишком громким, то не один вы его услышите, не беспокойтесь. Поздравляю вас с новым жилищем: я знаю виллу Орсини, это прекрасный остаток старого Рима…

Еще он прочтет Мне лекцию о Моем дворце! Да, Магнус снова отстранял Меня и делал это резко и грубо, но в голосе его не было суровости, и темные глаза смотрели мягко и добродушно, что ж, черт его возьми, человечество с его счастьем и ветчиной! Потом Я найду лазейку в упрямую голову Магнуса, а пока никому не отдам Моего великого покоя и… *Марии*, Великое спокойствие и… Сатана! — разве это не великолепный трюк в

моей *игре*? И что за великий лжец, который умеет обманывать только других? Солги себе так, чтобы поверить, — вот это искусство!

После завтрака мы *втроем* бродили по пологим холмам и скатам Кампаньи. Была еще ранняя весна, и только белые маленькие цветочки нежно озаряли молодую и слабую зелень, и ветер был нежен и пахуч, и четко рисовались домики в далеком Альбано. Мария шла впереди, изредка останавливаясь и божественными очами своими окидывая все видимое, — и Я непременно закажу моему мазилке, чтоб он так написал Мадонну: на ковре из слабой зелени и маленьких беленьких цветочков. Магнус был так весел и прост, что Я снова повторил ему о сходстве Марии с Мадонной и рассказал о моих несчастных мазилках, которые ищут натуру. Он засмеялся и потом серьезно подтвердил Мою догадку о необыкновенном сходстве, и лицо его стало печально.

— Это *роковое* сходство, м-р Вандергуд. Помните, что я в одну тяжелую минуту говорил вам о *крови*? У ног моей Марии уже есть кровь… одного благородного юноши, память которого мы чтим с Марией. Не для одной Изиды необходимо покрывало: есть роковые *лица*, есть роковые *сходства*, которые смущают наш дух и ведут его к пропасти

самоуничтожения. Я отец Марии, но я сам едва смею коснуться устами ее лба — какие же неодолимые преграды воздвигнет сама себе любовь, когда осмелится поднять глаза на Марию?

Это была единственная минута в том счастливом дне, когда на мой океан набежали страшные тучи, косматые, как борода сумасшедшего Лира, и дикий ветер бешено рванул паруса. Но Я поднял глаза на Марию, Я встретил Ее взор, он был спокоен и ясен, как небо над нашими головами, — и дикий вихрь бежал и скрылся бесследно, унося за собою частицу мрака. Не знаю, говорят ли тебе эти морские сравнения, которые Я сам считаю неудачными, и поэтому поясню: Я снова стал совершенно спокоен. Что Мне благородный римский юноша, так и не нашедший *сравнений* и свалившийся через голову с своего Пегаса? Я белокрылая шхуна, и подо мною целый океан. И разве не про Нее сказано: *несравненная*!

День был долог и спокоен, и Мне очень понравилась спокойная правильность, с какою солнце с своей вышины скатывалось к краю Земли, с какою высыпали звезды на небо, сперва большие, потом маленькие, пока все небо не заискрилось и не засверкало, с какою медленно нарастала темнота, с какою в свой час вышла розовая лу-

на, сперва немного ржавая, потом блестящая, с какою поплыла она по пути, освобожденному и согретому солнцем. Но больше всего Мне понравилось, когда мы сидели с Магнусом в полутемной комнате и слушали Марию: она играла на арфе и пела.

И, слушая арфу, Я понял, почему человек для своей музыки так любит туго натянутые струны: Я сам был туго натянутой струною, и уже не касался Меня палец, а звук все еще дрожал и гудел, замирая, и замирал так медленно, в такой глубине, что и до сих пор Я слышу его. И вдруг Я увидел, что весь воздух пронизан напряженно дрожащими струнами, они тянутся от звезды к звезде, разбегаются по земле, соединяются — и все проходят через мое сердце… как телефонные провода через центральную станцию, если ты хочешь более понятных сравнений! И еще Я понял *кое-что*, когда слушал голос Марии…

Нет, ты просто животное, Вандергуд! Когда Я припоминаю твои крикливые жалобы на любовь и ее песни, проклятые проклятием однообразия, — ты, кажется, так выразился? — Мне хочется отправить тебя в хлев. Ты просто грязное и скучное животное, и Мне стыдно, что в течение целого часа. Я вежливо слушал твое тупое мыча-

ние. Презирай слова и ласки, проклинай объятия, но не коснись Любви, товарищ: только через нее *тебе* дано бросить быстрый взгляд в самое Вечность! Пойди прочь, мой друг. Оставь Сатану, который в самой черной глубине человечности вдруг наткнулся на новые неожиданные огни. Уйди, ты не должен видеть *удивления и радости* Сатаны!

Был уже поздний час и луна стояла полунощно, когда Я покинул дом Магнуса и приказал шоферу ехать по Номентанской дороге: Я боялся, что Мое великое спокойствие ускользнет от Меня, и хотел настичь его в глубине Кампаньи. Но быстрое движение разгоняло тишину, и Я оставил машину. Она сразу заснула в лунном свете, над своей черной тенью она стала как большой серый камень над дорогой, еще раз блеснула на Меня чем-то и претворилась в невидимое. Остался только Я с Моей тенью.

Мы шли по белой дороге, Я и Моя тень, останавливались и снова шли. Я сел на камень при дороге, и черная тень спряталась за моей спиною. И здесь великое спокойствие снизошло на землю, на мир, и моего холодного лба коснулся холодный поцелуй луны.

***2 марта, Рим***

***вилла Орсини***

Все эти дни Я провожу в глубоком уединении. Мое вочеловечение начинает тревожить Меня.

С каждым часом Меня покидает *память* о том, что Я оставил за стеною человечности. С каждой минутой слабеет Мое *зрение*: стена почти непроницаема, еле движутся за нею слабые тени, и Я уже не различаю их очертаний. С каждой секундой тупеет Мой *слух*: Я слышу тихий писк мыши, скребущейся под полом, и Я глух к громам, обвевающим Мою голову. Лживое безмолвие объемлет Меня, и тщетно ловлю Я напряженным слухом голоса *откровения*, они остались за той же непроницаемой стеною. С каждым мгновением удаляется от Меня *истина*. Напрасно Я шлю ей вдогонку стрелы Моих слов: они пролетают мимо. Напрасно Я окружаю ее тесными объятиями Моих мыслей, оковываю железом цепей: пленница ускользает, как воздух, и Моими объятиями Я душу пустоту. Еще вчера Мне казалось, что Я настиг Мою добычу, и Я пленил ее, и толстой цепью Я приковал ее к стене, а когда взглянул поутру — к стене был прикован скелет. На позвонках

его шеи свободно висела ржавая цепь, и нагло смеялся оскаленный череп.

Как видишь, Я снова ищу слов и сравнений, беру в руки плеть, от которой убегает *истина*! Но что же Мне делать, если все Мое оружие Я оставил *дома* и могу пользоваться только твоим негодным арсеналом? Вочеловечь самого Бога, если ты его осилишь, Иаков, и он тотчас же заговорит с тобою на превосходном еврейском или французском языке, и не скажет *больше* того, что можно сказать на превосходном еврейском или французском языке. Бог!.. а Я только Сатана, скромный, неосторожный, вочеловечившийся Черт!

Конечно, это было совсем неосторожно. Но когда Я смотрел *оттуда* на твою человеческую жизнь…

нет, постой, — вот Мы сразу и попались с тобою во *лжи*, человече. Когда Я сказал *оттуда* — ты сразу понял, что это очень далеко, да? Может быть, ты уже определил приблизительно и мили, ведь в твоем распоряжении сколько угодно нулей? Ах, это неверно: мое *оттуда* так же близко *отсюда*, как и самое настоящее *здесь*, — видишь, какая это бессмыслица и ложь, в которой мы танцуем с тобою! Брось метр и весы и слушай

так, как будто за твоей спиной не тикают часы, а в твоей груди не отвечает им счетчик. Так вот: когда Я смотрел на твою жизнь оттуда (пойдем на компромисс и назовем это «из-за границы»), она виделась Мною как славная и веселая игра неумирающих частиц.

Ты знаешь, что такое театр кукол? Когда одна кукла разбивается, ее заменяют другою, но театр продолжается, музыка не умолкает, зрители рукоплещут, и это очень интересно. Разве зритель заботится о том, куда бросают разбитые черепки, и идет за ними до мусорного ящика? Он смотрит на игру и веселится. И Мне было так весело — и литавры так зазывно звучали, и клоуны так забавно кувыркались и делали глупости, — и Я так люблю бессмертную игру, что Я сам пожелал превратиться в актера… Ах, Я еще не знал тогда, что это вовсе не *игра* и что мусорный ящик так страшен, когда сам становишься куклой, и что из разбитых черепков течет *кровь*, — ты обманул Меня, мой теперешний товарищ!

Но ты удивлен, ты презрительно щуришь твои оловянные глаза и спрашиваешь: что же это за Сатана, который *не знает* таких *простых* вещей? Ты привык уважать чертей, ты самого глупого беса считаешь достойным любой кафедры, ты

уже отдал Мне твой доллар как профессору белой и черной магии, — и вдруг Я оказываюсь таким невеждой в самых простых вещах! Я понимаю твое разочарование, Я сам ныне чту гадалок и карты, Мне очень стыдно сознаваться, что Я не умею сделать ни одного плохонького фокуса и блоху убиваю не взглядом, а просто пальцем, — но правда для Меня всего дороже: да, Я не знал твоих простых вещей! По-видимому, всему виной *граница*, которая отделяет нас: как ты не знаешь *Моего* и не можешь произнести такой пустой вещи, как Мое истинное Имя, так и Я не знал *твоего*, Моя земная тень, и лишь теперь с восторгом разбираюсь в твоем огромном богатстве. Подумай: даже простому счету Меня научил только Вандергуд, и Я сам не сумел бы застегнуть пуговиц на моем платье, если бы не привычные и ловкие пальцы того же молодца — Вандергуда!

Теперь Я человек, как и ты. Ограниченное чувство Моего бытия Я почитаю Моим *знанием* и уже с уважением касаюсь собственного носа, когда к тому понуждает надобность: это не просто нос — это аксиома! Теперь Я сам бьющаяся кукла на театре марионеток, Моя фарфоровая головка поворачивается вправо и влево, мои руки треплются вверх и вниз, Я весел, Я играю, Я все знаю…

кроме того: чья рука дергает Меня за нитку? А вдали чернеет мусорный ящик, и оттуда торчат две маленькие ножки в бальных туфельках…

Нет, это не та *игра бессмертных*, к которой Я стремился, и это так же мало напоминает веселье, как корчи эпилептика хороший негритянский танец! Здесь каждый есть то, что он есть, и здесь каждый хочет быть не тем, что он есть, — и этот бесконечный процесс о подлогах Я принял за веселый театр: какая грубая ошибка, какая глупость для «всемогущего, бессмертного»… Сатаны. Здесь все тащат друг друга в суд: живые — мертвых, мертвые — живых, История тех и других, а Бог Историю — и эту бесконечную кляузу, этот грязный поток *лжесвидетелей*, *лжеприсяг*, *лжесудей* и *лжемошенников* Я принял за *игру* бессмертных? Или Я *не туда* попал? Скажи Мне, уважаемый туземец: куда ведет *эта* дорога? Ты бледнеешь, твой палец, дрожа, указует на что-то… ах, это мусорный ящик!

Вчера Я расспрашивал Топпи о его *прежней* жизни, когда он впервые вочеловечился: Мне хотелось лучше узнать, что чувствует кукла, когда у нее лопается головка или обрывается нить, которая приводит ее в движение? Мы закурили по трубочке и за кружкой пива, как два

добрых немца, занялись немного философией. Оказалось, однако, что эта тупая голова почти все уже *забыла*, и Мои вопросы приводили ее в стыдливое смущение.

— Неужели ты все забыл, Топпи!

— Сами станете умирать, тогда узнаете. Я не люблю об этом вспоминать, что хорошего!

— Значит, нехорошо?

— А вы слыхали, чтобы кто-нибудь *это* хвалил?

— Да, это верно. Никто не хвалил.

— Да и не похвалит. Я уж знаю!

Мы помолчали.

— А ты помнишь, Топпи, откуда ты?

— Из Иллинойса, откуда и вы.

— Нет, я говорю про *другое.* Ты помнишь, *откуда* ты? Ты помнишь твое настоящее имя?

Топпи странно посмотрел на Меня, слегка побледнел и долго в молчании выколачивал свою трубку. Потом поднялся и сказал, не поднимая глаз:

— Прошу вас так со мной не говорить, м-р Вандергуд. Я честный гражданин Соединенных Штатов и ваших *намеков* не понимаю.

Он еще помнит, он неспроста так побледнел, — но уже стремится забыть, и скоро забудет! Ему не

по силам эта двойная тяжесть: земли и неба, и он весь отдается земле! Пройдет еще время, и если Я заговорю с ним о Сатане, он отвезет Меня в сумасшедший дом… или напишет донос кардиналу Х.

— Я тебя уважаю, Топпи. Ты очень хорошо вочеловечился, — сказал Я и поцеловал Топпи в темя. Я целую в темя тех, кого люблю.

И Я снова отправился в зеленую пустынную Кампанью: Я следую лучшим образцам, и, когда Меня искушают, Я удаляюсь в пустыню. Там Я долго заклинал и звал Сатану, и Он не хотел Мне ответить. Вочеловечившийся, долго я лежал во прахе, умоляя, когда отдаленно зазвучали во Мне легкие шаги и светлая сила подняла Меня ввысь. И вновь увидел Я покинутый Эдем, его зеленые кущи, его немеркнущие зори, его тихие светы над тихими водами. И вновь *услышал* Я безмолвные шепоты бестелесных уст, и к очам Моим бестрепетно приблизилась Истина, и Я протянул к ней Мои окованные руки: освободи!

– *Мария.*

Кто сказал: Мария? Но бежал Сатана, погасли тихие светы над тихими водами, исчезла испуганная Истина, — и вот снова сижу Я на земле, вочеловечившийся, тупо смотрю нарисованными глазами на нарисованный мир, а на коленях

Моих лежат Мои скованные руки.

— *Мария.*

…Мне грустно сознаваться, что все это Я выдумал: и пришествие Сатаны с его «легкими и звучными» шагами, и эдемские сады, и скованные руки. Но Мне нужно было твое внимание, и Я не знал, как обойтись без Эдема и кандалов, этих противоположностей, которыми ты замыкаешь разные концы твоей жизни. И райские сады — это так красиво! Кандалы — как это ужасно! И насколько это значительнее, чем просто сидеть на пыльном бугорке с сигарою в *свободных* руках, размышлять лениво и, зевая, поглядывать на часы и дорогу в ожидании шофера. А *Марию* Я приплел просто потому, что с этого бугорка видны черные кипарисы над белым домиком Магнуса, и невольная ассоциация идей… понимаешь?

Может ли человек с таким *зрением* увидеть Сатану? Может ли человек с таким отупевшим *слухом* услышать какие-то «бестелесные шепоты» или как там? Вздор! И пожалуйста, Я прошу тебя: зови Меня просто Вандергудом. Отныне и до того дня, как Я разобью себе голову игрушкой, что отворяет *самую узкую* дверь в *самый широкий* простор, — зови Меня просто Вандергудом, Генри Вандергудом из Иллинойса: Я буду послушно и

быстро отзываться.

Но если, человече, ты увидишь в некий день Мою голову раздробленной, то внимательно вглядись в *осколки*: там в красных знаках будет начертано гордое имя Сатаны! Согни шею и поклонись Ему низко, — но черепков до мусорного ящика не провожай: не надо так почтительно сгибаться перед сброшенными цепями!

***9 марта 1914 г***

***Рим, вилла Орсини***

Вчера ночью у Меня был важный разговор с Фомой Магнусом.

Когда Мария удалилась к себе, Я, по обыкновению, почти тотчас же собрался ехать домой, но Магнус удержал Меня.

— Куда вам ехать, м-р Вандергуд? Оставайтесь ночевать. Послушайте, как беснуется сумасшедший Март!

Уже несколько дней над Римом бродили тяжелые тучи и косой дождь порывами сек стены и развалины, и в это утро Я прочел в какой-то газетке выразительный бюллетень о погоде: cielo

nuvoloso, il vento forte e mare molto agitato[11]. К вечеру ненастье превратилось в бурю, и взволнованное море перекинуло через девяносто миль свой влажный запах в стены самого Рима. И настоящее римское море, его волнистая Кампанья запела всеми голосами бури, как океан, и мгновениями чудилось, что ее недвижные холмы, ее застывшие извека волны уже поколебались на своих основаниях и всем стадом надвигаются на городские стены. «Сумасшедший» Март, этот расторопный делатель страха и бурь, стремительно носился по ее простору, каждую бледную травинку за волосы пригибал к земле, задыхался, как загнанный, и целыми охапками, поспешно, бросал ветер в стонущие кипарисы. Иногда он бросался чем-то и потяжелее: черепитчатая крыша домика дрожала под ударами, а каменные стены гудели так, будто внутри самих камней дышал и искал выхода пойманный ветер.

Весь вечер мы слушали бурю. Мария была спокойна, но Магнус заметно нервничал, часто потирал свои большие белые руки и осторожно прислушивался к талантливым имитациям ветра: к его разбойничьему свисту, крику и воплям,

---

**[11] Примечания: 11**

Небо облачное, ветер сильный, и море очень бурное (*итал.*).

смеху и стонам… расторопный артист ухитрялся одновременно быть убийцей и жертвой, душить и страстно молить о помощи! Если бы у Магнуса были подвижные уши зверя, они все время стояли бы напряженно. Его тонкий нос вздрагивал, темные глаза совсем потемнели, как будто и на них легли отражения туч, тонкие губы кривила быстрая и странная усмешка. Я был также взволнован: во все дни Моего вочеловечения Я впервые слышал такую бурю, и она подняла во Мне все былые страхи: почти с ужасом ребенка Я старался избегать глазами окон, за которыми стояла тьма. «Почему она не идет сюда? — думал Я. — Разве стекло может ее удержать, если *она* захочет ворваться?..»

Несколько раз кто-то громко стучал и с силою потрясал железные ворота, в которые когда-то стучались и мы с Топпи.

— Это Мой шофер приехал за мною, — сказал Я, — надо ему открыть.

Магнус искоса взглянул на Меня и угрюмо ответил:

— С той стороны нет дороги. Там только поле. Это сумасшедший Март просится сюда.

Точно слова его были услышаны: узнанный Март рассмеялся и удалился, насвистывая. Но

вскоре новые удары сотрясли железную дверь, и несколько голосов, крича и перебивая друг друга, беспокойно и тревожно говорили о чем-то; слышно было, как плачет маленький ребенок.

— Это заблудившиеся… вы слышите, ребенок! Надо открыть.

— А вот мы посмотрим, — сердито отозвался Магнус.

— Я с вами, Магнус.

— Сидите, Вандергуд. Мне достаточно этого товарища. — Он быстро достал из стола *тот* револьвер и с особенным чувством любви и даже нежности мягко охватил его широкой ладонью и бережно сунул в карман. Он вышел, и слышен был крик, которым его встретили у ворот.

В тот вечер Я избегал почему-то ясных взоров Марии, и Мне сделалось неловко, когда мы остались одни. И вдруг Мне захотелось упасть на пол, подползти к Ней на коленях и тихонько свернуться у Ее ног, так, чтобы Ее платье тихо-тихо касалось Моего лица: Мне казалось, что на спине у Меня растут волосы, и если их погладить, то посыплются искры, и тогда Мне станет легче. Так Я мысленно все подползал, все подползал к Ней, когда вошел Магнус и молча положил револьвер обратно. Голоса у дверей утихли, и стук

прекратился.

— Кто это?.. — спросила Мария.

Магнус сердито стряхнул с себя капельки дождя.

— Сумасшедший Март. Кому же больше?

— Но вы, кажется, говорили с ним? — пошутил Я, скрывая неприятную дрожь холода, который вошел вместе с Магнусом.

— Да. Я сказал ему, что это неприлично — таскать за собою такую подозрительную толпу. Он извинился и больше не придет. — Магнус усмехнулся и добавил: — Убежден, что сегодня все разбойники Рима и Кампаньи грезят засадами и кровью и целуют свои стилеты, как возлюбленных…

Послышался снова неясный и как будто робкий стук.

— Опять? — сердито крикнул Магнус, словно сумасшедший Март и вправду обещал ему не стучать больше. Но за стуком послышался и звонок: это приехал мой шофер. Мария удалилась, а Мне, как сказано, Магнус предложил остаться, на что Я после небольшого колебания и согласился: Мне совсем мало нравился Магнус с его револьвером и усмешками, но еще меньше нравилась глупая тьма.

Любезный хозяин сам пошел, чтобы отпустить шофера. В одно из окон Я видел, как широко и ярко блеснули при повороте электрические прожектора машины, и на минуту Мне ужасно захотелось домой, к Моим приятным грешникам, которые теперь потягивают винцо в ожидании Меня… Ах, Я уже давно отказался от добродетели и веду порочную жизнь пьяницы и игрока! И опять, как в ту первую ночь, тихий белый домик, эта *душа Марии*, показался Мне подозрительным и страшным: этот револьвер, эти пятна крови на белых руках… а может быть, и еще где-нибудь найдутся такие пятна?

Но было уже поздно раздумывать: машина ушла, и возвратившийся Магнус имел при свете не *синюю*, а очень черную и красивую бороду, и глаза его приветливо улыбались. В широкой руке он нес не оружие, а две бутылки вина, и еще издали весело крикнул:

— В такую ночь только и остается, что пить вино. Мне и Март при разговоре показался пьяным… гуляка! Ваш стакан, Вандергуд!

Но когда стаканы были налиты, этот веселый пьяница едва коснулся вина и глубоко уселся в кресло, предоставив Мне пить и разговаривать. Без особого воодушевления, слушая шум

ветра и думая о том, как длинна предстоящая ночь, Я рассказал Магнусу о новых настойчивых посещениях кардинала Х. Кажется, кардинал действительно приставил ко мне шпионов, но, что еще более удивительно и странно, сумел чем-то подействовать на неподкупного Топпи. Он остался все тем же преданным другом, но сделался мрачен, почти каждый день ходит на исповедь и сурово убеждает Меня принять католичество.

Магнус спокойно слушал Мое повествование, и еще с большей неохотой Я рассказал о множестве неудачных попыток развязать Мой кошелек: о бесконечном количестве прошений, написанных дурным языком, где правда кажется ложью от скучного однообразия слез, поклонов и наивной лести, о сумасшедших изобретателях, о торопливых прожектерах, стремящихся со всевозможной быстротой использовать свой недолгий отпуск из тюрьмы, — обо всем этом обглоданном человечестве, которое запах *слабо* защищенных миллиардов доводит до исступления. Мои секретари, а их теперь работает целых шесть человек, едва успевают справляться со всей этой массой слезливой бумаги и бешено говорливых людей, стерегущих каждую дверь Моего дворца.

— Боюсь, что Мне придется сделать для себя подземный ход: они стерегут Меня и по ночам. Они устремились на Меня с лопатами и мотыгами, как на Клондайк, и втыкают в меня заявки. Болтовня этих проклятых газет о миллиардах, которые Я готов отдать предъявителю любой язвы на ноге или пустого кармана, свела их с ума. Думаю, что в одну прекрасную ночь они просто поделят Меня на порции и съедят. Они уже открыли ко Мне паломничество, как Лурд, и приезжают с чемоданами. Мои дамы, которые считают Меня своей собственностью, нашли для Меня небольшой дантовский ад, где мы ежедневно гуляем всем обществом: вчера мы целый час созерцали какую-то безмозглую старуху, все достоинство которой в том, что она сумела пережить своего мужа, детей и всех внуков и теперь нуждается в нюхательном табаке. А еще один сердитый старик не хотел успокоиться и не брал даже денег до тех пор, пока все мы не понюхали, как пахнет старая рана на его ноге. Пахнет действительно скверно. Этот сердитый старик — гордость моих дам и, как все фавориты, капризен. А еще… вам не скучно Меня слушать, Магнус? Я могу рассказать вам еще про целую уйму оборванных отцов, голодных детей, зеленых и гнилых, как

некоторые сорта сыра, про благородных гениев, презирающих Меня, как негра, про остроумных пьяниц с веселыми красными носами… Мои дамы неохотно показывают пьяниц, но Мне они нравятся больше всего остального товара. А вам, синьор Магнус?

Магнус молчал. Мне надоело говорить, и Я тоже замолчал. Один безумный Март продолжал неутомимо разыгрывать свои шутки: теперь он сидел на крыше и старался прогрызть ее по самой середине, хрустел черепицей, как сахаром. Магнус прервал молчание:

— Последние дни о вас очень мало пишут газеты. Что случилось?

— Я плачу интервьюерам, чтобы они не писали. Сперва я просто прогнал их, но они стали интервьюировать Моих лошадей, и теперь Я плачу им за каждую строчку молчания. Не найдется ли у вас покупатель на Мою виллу, Магнус? Я ее продаю вместе с художниками и остальным инвентарем.

Мы снова основательно помолчали и прошлись по комнате: сперва прошелся Магнус и сел, потом прошелся Я и также сел. Кроме того, Я еще выпил два стакана вина, а Магнус ни одного… о, у этого господина нос никогда не покраснеет! Вдруг он

решительно сказал:

— Не пейте больше вина, Вандергуд.

— О! Хорошо, я больше не буду пить вина. Это все?

Дальнейшие вопросы свои Магнус предлагал с большими промежутками молчания. Тон его голоса был суров и резок, Мой… мелодичен, сказал бы Я.

— В вас произошла большая перемена, Вандергуд.

— Очень возможно. Благодарю вас, Магнус.

— Прежде вы были живее. Теперь вы почти не шутите. Вы стали очень мрачным субъектом, Вандергуд.

— О!

— Вы даже похудели, и лоб у вас желтый. Это правда, что вы каждую ночь напиваетесь с вашими… друзьями?

— Кажется.

— Играете в карты, бросаете золото и недавно за вашим столом чуть не произошло убийство?

— Боюсь, что правда. Я припоминаю, что один джентльмен действительно хотел проткнуть вилкой другого джентльмена. А откуда вам это известно, Магнус?

Он ответил сурово и многозначительно.

— Вчера у меня был м-р Топпи. Он добивался свидания с… Марией, но я принял его сам. При всем моем уважении к вам, Вандергуд, я должен отметить, что секретарь ваш на редкость глуп.

Я холодно согласился:

— Вы совершенно правы. Вам следовало выгнать его.

Должен отметить, в свою очередь, что при имени *Марии* два последних стакана мгновенно испарились из Меня, и при дальнейшем разговоре вино улетучивалось так же быстро, как эфир из открытой банки… Я всегда думал, что это непрочная вещь! Снова мы послушали бурю, и Я сказал:

— Ветер, кажется, сильнеет, синьор Магнус.

— Да, ветер, кажется, сильнеет, м-р Вандергуд. Но вы должны признать, что я своевременно предупреждал вас, м-р Вандергуд!

— В чем вы меня своевременно предупреждали, синьор Магнус?

Он охватил колена своими белыми руками и устремил на Меня взор заклинателя змей… ах, он не знал, что Я сам вырвал у себя ядовитые зубы и теперь безвреден, как чучело в музее! Наконец он понял, что нет смысла так долго фиксировать простые бутылочные стекла, и перешел к слову.

— Я вас предупреждал относительно *Марии*, —

медленно и внушительно промолвил он. — Вы помните, что я не хотел… знакомства с вами и выражал это довольно ясно? Вы не забыли, *что* я говорил вам о Марии, о ее роковом влиянии на души? Но вы были настойчивы, смелы, и я уступил. Теперь вы желаете представить нам, мне и дочери, чувствительное зрелище *разлагающегося* джентльмена, который ничего не просит и даже не упрекает, но не может успокоиться до тех пор, пока всеми не будет осмотрена его рана… Я не хочу повторять точно ваших выражений, м-р Вандергуд, в них слишком много дурного запаха. Да, сударь, вы достаточно откровенно говорили о ваших… ближних, и я искренне рад, что вы бросили наконец эту дешевую игру в любовь и человечество… у вас так много других забав! Но, признаюсь, меня совсем не радует ваше щедрое намерение подарить нам *останки* джентльмена. Мне кажется, сударь, что вы напрасно уехали из Америки и не продолжаете вашего дела с… консервами; общение с людьми требует совсем иных способностей.

Он насмехался! Он почти выгонял Меня, этот человечек, и Я, который пишет себя с большой буквы, Я — покорно и смиренно выслушал его. Это было божественно смешно! Одна комическая

подробность для любителей веселого чтения: перед началом его тирады Мои глаза и Моя сигара в зубах были довольно бодро и небрежно подняты *кверху* — к концу они опустились… Я до сих пор чувствую на зубах этот горький вкус уныло свисшей потухшей, выскользающей сигары. Я задыхался от смеха… точнее, Я еще не знал: задохнуться ли Мне от смеха или от гнева? Или — не задыхаясь ни от того, ни от другого, попросить зонтик от дождя и удалиться? Ах, он был *дома*, он был на *своей* земле, этот сердитый человечек с черной бородою, он знал, что надо делать в этих случаях, и он пел *соло*, а не *дуэтом*, как эти неразлучные Сатана из вечности и Вандергуд из Иллинойса!

— Сударь! — сказал Я с достоинством. — Здесь произошло печальное недоразумение. Перед вами *вочеловечившийся* Сатана… вы понимаете? Он вышел на вечернюю прогулку и неосторожно заблудился в лесу… в лесу, сударь, в лесу! Не будете ли добры, сударь, и не укажете ли ему ближайшей дороги к вечности? Ага! Благодарю вас, я так и думал. Прощайте!

Конечно, Я этого не сказал. Я *молчал*, предоставив слово Вандергуду, и вот что сказал этот почтенный джентльмен, выпустив изо рта по-

тухшую и мокрую сигару:

— Черт возьми! Вы правы, Магнус. Благодарю вас, старина. Да, вы честно предупреждали меня, но я пожелал играть в одиночку. Теперь я банкрот и в вашем распоряжении. Ничего не имею против, если вы распорядитесь вынести *останки* джентльмена.

Я думал, что, не ожидая носилок, Магнус просто выбросит останки в окно, но великодушие этого господина было поистине изумительно: он взглянул на Меня с *состраданием* и даже протянул руку для пожатия.

— Вы очень страдаете, м-р Вандергуд?

Вопрос, на который довольно трудно ответить знаменитому *дуэту*! Я моргнул глазами и поднял плечи. Кажется, это удовлетворило Магнуса, и на несколько минут мы погрузились в сосредоточенное молчание. Не знаю, о чем думал Магнус, но Я не думал ни о чем: Я просто разглядывал с большим интересом стены, потолок, книги, картинки на стенах, всю эту обстановку человеческого жилища. Особенно заинтересовала Меня электрическая лампочка, на которой Я остановил надолго Мое внимание: почему *это* горит и светит?

— Я жду вашего слова, м-р Вандергуд.

Он еще ждет Моего слова? Хорошо.

— Дело очень просто, Магнус… ведь вы предупреждали Меня? Завтра Мой Топпи укладывает чемоданы, и Я еду в Америку продолжать дело с… консервами.

— А кардинал?

— Какой кардинал? Ах да!.. Кардинал Х. и миллиарды? Как же, я помню. Но не смотрите на Меня так удивленно, Магнус, Мне это надоело.

— Что именно вам надоело, м-р Вандергуд?

– *Это*. Шесть секретарей, безмозглые старухи, нюхательный табак и Мой дантевский ад, куда Меня водят на прогулку. Не смотрите на Меня так строго, Магнус. Вероятно, из Моих миллиардов можно было приготовить зелье покрепче, но я сумел сделать только кислое пиво. Отчего вы не захотели помочь мне? Впрочем, вы ненавидите людей, я забыл.

— Но вы их *любите*?

— Как вам сказать, Магнус? Нет, скорее Я к ним равнодушен. Не смотрите на Меня с таким… чувством, ей-Богу, не стоит! Да, Я к ним равнодушен. Их так много, знаете ли, было, есть и еще будет, что положительно не стоит…

— Значит, вы *лгали*?

— Смотрите не на Меня, а на Мои упакован-

ные чемоданы. Нет, не совсем. Мне, знаете ли, хотелось создать нечто интересное для игры, ну вот, для завязки Я и пустил в обращение эту… это чувство…

— Следовательно, вы только *играли*?

Я снова моргнул глазами и поднял плечи: Мне понравился этот способ ответа на слишком сложные вопросы. И Мне очень нравилось *это* лицо синьора Фомы Магнуса, его удлинившийся овал несколько вознаграждал Меня за все Мои театральные неудачи… и *Марию.* Замечу, что в Моих зубах была новая сигара.

— В вашем прошлом, вы говорили, есть какие-то темные страницы… В чем дело, м-р Вандергуд?

— О! Это маленькое преувеличение. Ничего особенного, Магнус. Извиняюсь, что напрасно потревожил вас, но тогда мне казалось, что этого требует стиль…

— Стиль?

— Да, и законы контраста. При темном прошлом светлое настоящее… понимаете? Но Я уже сказал вам, Магнус, что из Моей затеи ничего не вышло. В наших местах имеют не совсем верное представление об удовольствиях, доставляемых здешней игрою. Надо будет это растолковать, когда вернусь. На несколько минут Мне понрави-

лась бритая обезьяна, но ее способ околпачивать людей слишком стар и слишком верен… как монетный двор. Я люблю риск.

— Околпачивать людей?

— Ведь мы же их презираем, Магнус? Так не будем отказывать себе в удовольствии, если игра не удалась, говорить прямо. Вы, кажется, улыбнулись? Я очень рад. Но я устал болтать и с вашего разрешения выпью стакан вина.

Фома Магнус вовсе не был похож на улыбающегося человека, и Я сказал про улыбку так… для стиля. Прошло не меньше получаса в полном молчании, нарушаемом только взвизгами и возней сумасшедшего Марта да ровными шагами Магнуса: заложив руки за спину и не обращая на Меня никакого внимания, он методично измерял комнату: восемь шагов вперед, восемь шагов назад. По-видимому, он когда-нибудь сидел в тюрьме, и немало: у него было умение опытного арестанта создавать пространство из нескольких метров. Я позволил себе слегка зевнуть и этим обратил на себя внимание любезного хозяина. Но еще с минуту молчал Магнус, пока *следующие слова* не прозвучали в воздухе и не сбросили Меня с места:

— Но *Мария* любит вас. Вы, конечно, не знаете

этого?

Я встал.

— Да, это правда: Мария любит вас. Этого несчастья я не ожидал. Убить вас я опоздал, м-р Вандергуд, это нужно было совершить вначале, а теперь я не знаю, что делать с вами. Как вы сами думаете на этот счет?

Я выпрямился и…

…Мария любит *Меня!*

Я видел в Филадельфии неудачную казнь электричеством. Я видел в миланской «Скала», как мой коллега Мефисто *корчился* и прыгал по всей сцене, когда статисты двинулись на него с крестами, — и мой безмолвный ответ Магнусу был довольно искусным воспроизведением того и другого трюка: ах, в ту минуту в Моей памяти не оказалось лучших образцов! Клянусь вечным спасением, еще никогда Меня не пронизывало столько смертельных токов, еще никогда Я не пил такого горького напитка, еще никогда не овладевал Моей душою такой неудержимый *смех*!

Сейчас Я уже не смеюсь и не корчусь, как пошлый актер, — Я один, и только Моя серьезность слушает и видит Меня. Но в ту минуту торжества Мне понадобились все силы, чтобы громко не расхохотаться и не надавать звонких пощечин

этому суровому и честному человеку, бросавшему Мадонну в объятия… Дьявола, ты думаешь? Нет, американца Вандергуда с его козлиной бородкой и мокрою сигарой в золотых зубах! Презрение и ненависть, тоска и любовь, гнев и смех, горький, как полынь, — вот чем до краев была налита поднесенная Мне чаша… нет, еще хуже, еще горче, еще смертельнее! Что Мне обманутый Магнус со всей тупостью его глаз и ума, но как могли обмануться чистые взоры *Марии*? Или Я такой искусный донжуан, которому достаточно нескольких почти безмолвных встреч, чтобы обольстить невинную и доверчивую девушку? Мадонна, где ты? Или Она нашла во Мне сходство с одним из своих святых, как и у Топпи, но ведь со Мной же нет походного молитвенника! Мадонна, где Ты? Уста ли Твои тянутся к Моим устам, как пестики к тычинкам, как все эти биллионы похотей цветов, людей и животных? Мадонна, где Ты? *Или?..*

Я еще корчился, как актер, Я еще душил в приличном бормотанье Мою ненависть и презрение, когда это новое *или* вдруг наполнило Меня новым смятением и такой любовью… ах, такой любовью!

*Или*, подумал Я, *твое* бессмертие, Мадонна,

откликнулось на бессмертие *Сатаны* и из самой вечности протягивает ему эту кроткую руку? Ты, *обожествленная*, не узнала ли друга в том, кто *вочеловечился*? Ты, восходящая ввысь, не прониклась ли жалостью к *нисходящему*? О Мадонна, положи руку на Мою темную голову, чтобы узнал Я Тебя по твоему прикосновению!..

Слушай, что было дальше в эту ночь.

— Я не знаю, за что полюбила вас Мария. Это тайна ее души, недоступной моему пониманию. Да, я не понимаю, но я преклоняюсь перед ее волей, как перед откровением. Что мои человеческие глаза перед ее всепроникающим взором, м-р Вандергуд!.. (И он говорил то же!) Минуту назад, в горячности, я сказал что-то об убийстве и смерти… нет, м-р Вандергуд, вы можете навсегда быть спокойны: избранный Марией неприкосновенен для меня, его защищает больше, чем закон, — его покровом служит ее чистая любовь. Конечно, я немедленно попрошу вас оставить нас и — я верю в вашу честность, Вандергуд, — поставить между нами преградою океан…

— Но…

Магнус сделал шаг ко Мне и гневно крикнул:

— Ни слова дальше!.. Я вас не могу убить, но если вы осмелитесь произнести слово «брак», я!..

Он медленно опустил поднятую руку и продолжал спокойно:

— Вижу, что мне еще не раз придется извиняться за мою вспыльчивость, но это лучше, чем та *ложь*, образцы которой вы нам дали. Не оправдывайтесь, Вандергуд, это лишнее. А о браке позвольте говорить мне: это будет звучать менее оскорбительно для Марии, чем в ваших устах. Он совершенно немыслим, запомните это. Я трезвый реалист, в *роковом* сходстве Марии я вижу только сходство, и меня вовсе не поражает мысль, что моя дочь, при всех ее необыкновенных свойствах, когда-нибудь станет женою и матерью… мое категорическое отрицание брака было лишь одним из способов предупреждения. Да, я трезво смотрю на вещи, но, м-р Вандергуд, не вам суждено стать спутником Марии. Вы вовсе не знаете меня, и теперь я вынужден несколько приподнять завесу, за которою я скрываюсь уже много лет: мое бездействие лишь отдых, я вовсе не мирный селянин и не книжный философ, я человек борьбы, я воин на поле жизни! И моя Мария будет наградой только герою, если… когда-нибудь мне встретится герой.

Я сказал:

— Вы можете быть уверены, синьор Магнус,

что я ни слова не позволю себе сказать относительно синьорины Марии. Вы знаете, что я не герой. Но о вас мне позволено будет спросить: как мне сочетать ваши теперешние слова с вашим *презрением* к людям? Помнится, вы что-то очень серьезно говорили о эшафоте и тюрьмах.

Магнус громко рассмеялся:

— А вы помните, что вы говорили о вашей *любви* к людям? Ах, милый Вандергуд: я был бы плохим воином и политиком, если бы в мое образование не входило и искусство маленькой *лжи*. Мы играли оба, вот и все!

— Вы играли лучше, — признался Я довольно мрачно.

— А вы играли очень скверно, дорогой, не обижайтесь. Но что мне было делать, когда вдруг ко мне является джентльмен, нагруженный золотом, как…

— Как осел. Продолжайте.

— …и на всех языках начинает объясняться в своей любви к человечеству, причем его уверенность в успехе может равняться только количеству долларов в его кармане? Главный недостаток вашей игры, м-р Вандергуд, в том, что вы слишком явно жаждете успеха и стремитесь к немедленному эффекту, это делает зрителя

недоверчивым и холодным. Правда, я не думал, что это только игра, — самая плохая игра лучше искренней глупости… и я опять должен извиниться: вы представились мне просто одним из тех глупых янки, которые сами верят в свои трескучие и пошлые тирады, и… вы понимаете?

— Вполне. Прошу вас, продолжайте.

— Только одна ваша фраза — что-то о войне и революции, которые можно создать на ваши миллиарды, показалась мне несколько интереснее остального, но дальнейшее показало, что это лишь простая обмолвка, случайный кусок чужого текста. Ваши газетные триумфы, ваше легкомыслие в серьезных вещах, — вспомните кардинала Х.! — ваша дешевая благотворительность совершенно дурного тона… нет, м-р Вандергуд, вы не созданы для серьезного театра! И ваша болтовня сегодня, как она ни цинична, понравилась мне больше, чем ваш дутый балаганный пафос. Скажу искренно: если бы не *Мария*, я от души посмеялся бы сегодня с вами и без малейшего укора поднял бы *прощальный* бокал!

— Одна поправка, Магнус: я искренне хотел, чтобы вы приняли участие…

— В чем? В вашей игре? Да, в вашей игре недоставало *творца*, и вы искренно хотели взвалить

на меня нищету вашего духа. Как вы нанимаете художников, чтобы они расписывали и украшали ваши дворцы, так вы хотели нанять мою волю и воображение, мою силу и любовь!

— Но ваша ненависть к людям…

До сих пор Магнус почти не выходил из тона иронии и мягкой насмешки: мое замечание вдруг переродило его. Он побледнел, его большие белые руки судорожно забегали по телу, как бы отыскивая оружие, и все лицо стало угрожающим и немного страшным. Словно боясь силы собственного голоса, он понизил его почти до шепота; словно боясь, что слова сорвутся и побегут сами, он старательно ровнял их.

— Ненависть? Молчите, сударь. Или у вас совсем нет ни совести, ни простого ума? Мое презрение! Моя ненависть! Ими я отвечал не на вашу актерскую *любовь*, а на ваше истинное и мертвое равнодушие. Вы меня оскорбляли как человека вашим равнодушием. Вы всю жизнь нашу оскорбляли вашим равнодушием! Оно было в вашем голосе, оно нечеловеческим взглядом смотрело из ваших глаз, и не раз меня охватывал страх… страх, сударь! — когда я проникал глубже в эту непонятную пустоту ваших зрачков. Если в вашем прошлом нет темных страниц, которые

вы приплели для стиля, то там есть худшее: там есть *белые* страницы, и я не могу их прочесть!..

— Ого!

— Когда я смотрю на вашу вечную сигару, когда я вижу ваше самодовольное, но красивое и энергичное лицо, когда я любуюсь вашими непритязательными манерами, в которых кабацкая простота доведена до пуританской высоты, мне все понятно и в вас, и в вашей наивной игре. Но стоит мне встретить ваш зрачок… или его *белую* подкладку, и я сразу проваливаюсь в пустоту, мною овладевает тревога, я уже не вижу ни вашей честной сигары, ни честнейших золотых зубов, и я готов воскликнуть: кто вы, смеющий нести с собою такое равнодушие?

Положение становилось интересным. *Мадонна* любит Меня, а этот каждое мгновение готов произнести Мое имя! Не сын ли он моего *Отца*? Как мог он разгадать великую тайну Моего беспредельного равнодушия: Я так тщательно скрывал ее от тебя!

— Вот! Вот! — закричал Магнус, волнуясь. — В ваших глазах снова две слезинки, которые я уже видел однажды, — это *ложь*, Вандергуд! Под ними нет источника слез, они пали откуда-то сверху, из облаков, как роса. Лучше смейтесь: за вашим

смехом я вижу просто дурного человека, но за вашими слезами стоят *белые* страницы. Белые страницы!.. или их прочла моя Мария?

Не сводя с Меня глаз, словно боясь, что Я убегу, Магнус прошелся по комнате и сел против Меня. Лицо его погасло и голос казался утомленным, когда он сказал:

— Но я напрасно, кажется, волнуюсь…

— Не забудьте, Магнус, что сегодня Я сам говорил вам о равнодушии.

Он небрежно и устало махнул рукой.

— Да, вы говорили. Но здесь другое, Вандергуд. В этом равнодушии нет оскорбления, а там… Я почувствовал это сразу, когда вы явились с вашими миллиардами. Не знаю, будет ли вам понятно, но мне сразу же захотелось кричать о ненависти, требовать эшафота и крови. Эшафот — дело мрачное, но любопытные возле эшафота, м-р Вандергуд, — вещь невыносимая! Не знаю, что «в ваших местах» говорят о нашей игре, но мы за нее расплачиваемся жизнью, и когда вдруг появляется любопытный господин в цилиндре и с сигарой, его хочется, понимаете, взять за шиворот и… Ведь все равно он никогда не досиживает до конца. Вы также ненадолго изволили заглянуть к нам, м-р Вандергуд?

Каким длительным стоном пронеслось во Мне имя: *Мария!..* И Я не играл нисколько и уже не лгал нисколько, когда давал свой ответ мрачному человеку:

— Да, Я к вам ненадолго, синьор Магнус, вы угадали. По некоторым, довольно уважительным, причинам я не могу ничего рассказать о белых страницах, которые вы также угадали за моим кожаным переплетом, но на одной из них было начертано: смерть — уход. Это не цилиндр был в руках у любопытного посетителя, а револьвер… вы понимаете: смотрю, пока интересно, а потом кланяюсь и ухожу. Из уважения к вашему реализму выражусь яснее и проще: на ближайших днях, быть может, завтра, Я отправляюсь на тот свет… нет, это недостаточно ясно: на ближайших днях или завтра Я стреляюсь, убиваю себя из револьвера. Сперва думал выстрелить в сердце, но в голову, кажется, будет надежнее. Задумано это давно, еще в самом начале Моего появления у вас, и не в этой ли *готовности* к уходу вы усмотрели Мое «нечеловеческое» равнодушие? Ведь правда: когда одним глазом смотришь на *тот* свет, то в глазу, обращенном на этот, едва ли может гореть особенно яркое пламя… как в ваших глазах хотя бы. О! у вас удивительные глаза, синьор Магнус.

Магнус помолчал и спросил:

— А Мария?

— Разрешите отвечать? Я слишком высоко ставлю синьорину Марию, чтобы не считать ее *любви* ко Мне роковой ошибкой.

— Но вы хотели этой любви?

— Мне очень трудно ответить на этот вопрос. Вначале да, пожалуй, у Меня мелькнули кое-какие мечты, но чем дальше Я вникал в это *роковое* сходство…

— Это только сходство, — с живостью поправил меня Магнус, — вы не должны быть ребенком, Вандергуд! Душа Марии возвышенна и прекрасна, но она живой человек из мяса и костей. Вероятно, у нее также есть свои маленькие грешки…

— А Мой цилиндр, Магнус? А Мой *свободный* уход? Чтобы смотреть на синьорину Марию с ее роковым сходством, — пусть это будет только сходство, — Мне достаточно заплатить за кресло, но чем Я могу заплатить за ее *любовь?*

Магнус сурово промолвил:

— Только жизнью.

— Вы видите: только жизнью! Как же Я мог хотеть такой любви?

— Но вы не рассчитали: она уже любит вас.

— О! Если синьорина Мария действительно любит меня, то моя *смерть* не может быть препятствием… впрочем, я выражаюсь не совсем понятно. Хочу сказать, что Мой уход… нет, лучше Я ничего не скажу. Одним словом, синьор Магнус: *теперь* вы не согласились бы взять мои миллиарды в ваше распоряжение?

Он быстро взглянул на меня:

— Теперь?!

— Да. Теперь, когда мы уже не играем: Я в любовь, а вы в ненависть. Теперь, когда Я совсем ухожу и уношу с собою «останки» джентльмена? Выражусь совсем точно: вы не хотите ли быть Моим наследником?

Магнус нахмурился и гневно взглянул на меня: видимо, слова Мои он почел за насмешку. Но Я был серьезен и спокоен. Мне показалось, что большие белые руки его несколько дрожат. С минуту он сидел отвернувшись и вдруг круто обернулся.

— Нет! — крикнул он громко. — Вы снова хотите… нет!

Он топнул ногой и еще раз крикнул: нет! Его руки дрожали, дыхание было тяжело и прерывисто. Потом было долгое молчание, свист бури, шорохи и шепоты ветра. И тогда снова снизошло

на Меня великое спокойствие, великий, мертвый, всеобъемлющий покой. Все стало *вне* Меня. Я еще слышал земных демонов бури, но голоса их звучали отдаленно и глухо, не трогая Меня. Я видел перед собою *человека*, и он был чужд Мне и холоден, как изваяние из камня. Один за другим прошли предо Мною, погасая, все дни Моей человечности, мелькнули лица, прозвенели слабо голоса и непонятный смех — и стихли. Я обратил взоры в другую сторону — и там встретило Меня безмолвие. Я был точно замуравлен между двумя каменными глухими стенами: за одной была ихняя, человеческая, жизнь, от которой Я отделился, за другой — в безмолвии и мраке простирался мир Моего вечного и истинного бытия. Его безмолвие звучало, его мрак сиял, трепет вечной и радостной жизни плескался, как прибой, о твердый камень непроницаемой Стены, — но были глухи Мои чувства и безмолвствовала мысль. Из-под слабых ног Моей Мысли выдернули *память*, — и она повисла в пустоте, недвижная, мгновенно онемевшая. *Что* оставил Я за стеной моего Беспамятства?

Мысль не отвечала. Она была недвижна, пуста и молчала. Два безмолвия окружали Меня, два мрака покрывали мою голову. Две стены хоро-

нили Меня, и за одною, в бледном движении теней, проходила ихняя, человеческая, жизнь, а за другою — в безмолвии и мраке простирался мир Моего истинного и вечного бытия. Откуда услышу зовущий голос? Куда шагну?

И в эту минуту прозвучал далекий и чуждый голос человека. Он становился все ближе, в нем звучала ласка. Это говорил Магнус. С усилием, содрогаясь от напряжения, Я старался услышать и понять слова, и вот что Я услышал:

— А не остаться ли вам жить, Вандергуд?

***18 марта***

***Рим, палаццо Орсини***

Вот уже три дня, как Магнус и Мария живут в Риме, в Моем палаццо. Теперь он странно пуст и безмолвен и кажется действительно огромным. Нынче ночью, утомленный бессонницею, Я бродил по его лестницам и залам, по каким-то комнатам, которых раньше не видал, и количество их удивило Меня. Кое-где остались подмостки и леса, мольберты и краски, но Моих беспутных приятелей уже нет. *Душа* Марии изгнала все суетное и нечистое, и только благообразнейший Топпи торжественно болтается в

пустоте, как маятник церковных часов. Ах, до чего он благообразен! Если бы не этот его широкий зад с расходящимися фалдами и не запах меха от головы, Я сам принял бы его за одного из святых, почтивших Меня своим знакомством.

Моих гостей Я почти не вижу. Я перевожу все Мое состояние в золото, и Магнус с Топпи и всеми секретарями целый день заняты этой работой; наш телеграф работает непрерывно. Со Мною Магнус говорит мало и только о деле. Марии… кажется, ее Я избегаю. В Мое окно Я вижу сад, где она гуляет, и пока этого с Меня достаточно. Ведь ее душа здесь, и светлым дыханием Марии наполнена каждая частица воздуха. И Я уже сказал, кажется, что у Меня бессонница.

Как видишь, друг, Я остался *жить*; мертвою рукою не написать даже таких мертвых слов, какие Я пишу, — мертвою рукою ничего написать нельзя, решительно ничего! Забудем прошлое, как говорят помирившиеся любовники, и станем с тобою друзьями. Дай Мне руку, товарищ! Клянусь вечным спасением, Я не буду больше ни выгонять тебя вон, ни смеяться над тобою: если Я потерял мудрость змия, то взамен получил кротость голубицы. Немного жаль, что Я выгнал Моих интервьюеров и художников: Мне не у

кого спросить, кого Я *напоминаю* теперь моим просветленным ликом? Себе Я напоминаю напудренного негра, который боится рукавом стереть пудру и показать свою черную кожу… ах, у Меня все еще черная кожа!

Да, Я остался *жить*, но еще не знаю, насколько это удастся Мне: тебе известно, насколько трудны переходы из кочевого состояния в оседлое? Я был свободным краснокожим, веселым номадом, который свое *человеческое* раскидывает, как легкую палатку. Теперь Я из гранита закладываю фундамент для земного жилища, и Меня, маловерного, заранее охватывает холод и дрожь: будет ли тепло, когда белые снега опояшут мой новый дом! Что ты думаешь, друг, о различных системах центрального отопления?

В ту ночь Я обещал Фоме Магнусу, что не убью себя. Этот договор мы скрепили дружеским пожатием. Мы не открывали вен, мы не писали кровью, мы просто сказали «да», но этого достаточно: как тебе известно, только люди нарушают свои договоры, черти же всегда их исполняют… вспомни всех твоих волосатых и рогатых героев с их спартанской честностью! К счастью (назовем это «к счастью»), Я не назначил… срока. Клянусь вечным спасением! — Я был бы плохим королем

и владыкою, если бы, строя дворец, не оставил для себя тайного хода наружу, маленькой дверки, скромной лазейки, в которую исчезают умные короли, когда их глупые подданные восстают и врываются в Версаль.

Я не убью себя завтра. Быть может, еще очень долго Я не убью себя: из двух стен Я перешагнул за самую низкую и ныне человечествую вместе с тобою, товарищ. Мой земной опыт еще не велик, и — кто знает? — вдруг человеческая жизнь Мне очень понравится! Ведь дожил мой Топпи до седых волос и мирной кончины — отчего же и Мне, перейдя все возрасты, как времена года, не превратиться в почтенного седовласого старца, мудрого наставника и учителя, носителя заветов и склероза? Ах, этот смешной склероз, эти старческие немощи — это сейчас они пугают Меня, но разве Я не могу к ним привыкнуть за долгий совместный путь и даже полюбить их? Все говорят, что к жизни легко привыкнуть, — попробую привыкнуть и Я. Здесь все так хорошо устроено, что после дождя всегда приходит солнце и сушит мокрого, если он не поторопился умереть. Здесь все так хорошо устроено, что нет ни одной болезни, против которой не было бы лекарства… это так хорошо, можно всегда болеть, если близко

аптека!

А на всякий случай — маленькая дверка, тайный ход, короткий, мокрый и темный коридор, за которым звезды и вся ширь моего необъятного пространства! Друг мой, Я хочу быть с тобою откровенен: в моем характере есть непокорство, и вот этого Я опасаюсь. Что такое кашель или катар желудка? А вдруг Мне *так* не захочется кашля или каких-нибудь пустяков, что Я возьму и убегу! Сейчас ты Мне нравишься. Я готов заключить с тобою продолжительный и крепкий союз, но вдруг в твоем милом лице мелькнет что-то *такое*, что… нет, нельзя без тайной дверки для того, кто так капризен и непокорен! К несчастью, Я еще очень горд, это старый и всем известный порок Сатаны. Как рыба ударом в голову, Я оглушен моею человечностью, роковое беспамятство гонит Меня в твою жизнь, но одно Я знаю твердо: Я из рода *свободных*, Я из племени *владык*, свою волю претворяющих в законы. Побежденных царей часто берут в плен, но никогда цари не делаются рабами. И когда над Моею головою Я увижу бич грязного надсмотрщика и мои скованные руки будут бессильны отвести удар… что же: Я останусь жить с рубцами на спине? Буду торговаться с судьями за лишний удар плети? Поцелую руку

палача? Или в аптеку пошлю за примочкой?

Нет, пусть не осудит меня честный Магнус за маленькую неточность в нашем договоре: Я буду жить, но лишь до тех пор, пока хочу жить. Все блага человечности, которые он сулил Мне в ту ночь, когда искушался Сатана человеком, не вырвут оружия из моей руки: в нем единый залог моей свободы! Что все твои княжества и графства, все твои грамоты на благородство, твое золото на свободу, человече, рядом с этим маленьким и свободным движением пальца, мгновенно возносящим тебя на Престол всех Престолов!..

*Мария!*

Да, Я боюсь ее. Взор ее очей так повелителен и ясен, свет ее любви так могуч, чарующ и прекрасен, что все дрожит во Мне, колеблется и стремится к немедленному бегству. Неведомым счастьем, смутными обещаниями, певучими грезами она искушает Меня! Крикну ли: прочь! — или, непокорному и злому, покориться ее воле и идти за нею?

Куда? Не знаю. Но все ли Я знаю? Или есть еще иные миры, кроме тех, которые Я забыл и знаю? Откуда этот неподвижный свет за моей спиною? Он становится все шире и ярче, его теплым прикосновением уже согревается моя душа, и

ее полярные льды крошатся и тают. Но Я боюсь оглянуться. Не горит ли это проклятый Содом, и Я окаменею, оглянувшись? Или это новое солнце, которого Я еще не видал на земле, восходит за моей спиною, а Я бегу от него, как глупец, подставляю вместо сердца спину, вместо высокого чела — низкий и тупой затылок испуганного зверя?

Мария! Что ты дашь Мне за револьвер? Я заплатил за него десять долларов вместе с футляром, а с тебя — не возьму и царства! Но только не смотри на Меня, Владычица, иначе… иначе Я все отдам тебе даром: и револьвер, и футляр, и самого Сатану!

### *26 марта*

### *Рим, палаццо Орсини*

Уже пятую ночь Я не сплю. Когда погасает последний огонь в моем безмолвно палаццо, Я тихо спускаюсь по лестнице, тихо приказываю машину — почему-то Я боюсь даже шума своих шагов и голоса — и на всю ночь уезжаю в Кампанью. Там, оставив автомобиль на дороге, Я до рассвета брожу по гладкому шоссе или неподвижно сижу у каких-нибудь темных развалин. Меня совсем не видно, и редкие прохожие, какие-нибудь кре-

стьяне из Альбано, говорят громко, не стесняясь. Мне нравится, что Меня не видно, это напоминает что-то, что Я забыл.

Как-то, сев на камень, Я потревожил ящерицу, — вероятно, это она слегка прошуршала травой у моих ног и скрылась. Может быть, это была змейка, не знаю. Но Мне ужасно захотелось стать ящерицей или маленькой змейкой, которой не видно под камнем: Меня неприятно волнует мой большой рост, все эти размеры ног и рук, с ними так трудно превратиться в невидимое. Еще Я избегаю смотреть в зеркало на свое лицо: больно думать, что у Меня есть лицо, которое все видят. Почему вначале Я так боялся темноты? Она так хорошо скрывает, и в ней можно растворять все ненужное.

Должно быть, все животные, когда меняют кожу или броню, испытывают такой же смутный стыд, страх и беспокойство и ищут уединения.

Значит, Я меняю кожу? Ах, все это прежняя ненужная болтовня! Все дело в том, что Я не избежал взоров *Марии* и, кажется, готовлюсь замуравить последнюю дверь, которую Я так берег. Но Мне стыдно! Клянусь вечным спасением, Мне стыдно, как девушке перед венцом, Я почти краснею. Краснеющий Сатана… нет, тише, тише:

*его* здесь нет! Тише!..

Магнус рассказал ей все. Она не повторила, что любит Меня, но взглянула и сказала:

— Обещайте *мне*, что вы не убьете себя.

*Остальное* сказал ее взор. Ты помнишь, как он ясен? Но не думай, что Я ответил поспешным согласием. Как саламандра в огне, Я быстро прошел все цвета пламени, и Я не повторю тебе тех огненных слов, которые извергла моя раскаленная преисподняя: Я забыл их. Но ты помнишь, как ясен взор Марии? И, целуя руку ее, Я сказал покорно:

— Сударыня! Я не прошу у вас сорока дней размышления и пустыни: пустыню я сам найду, а для размышления мне довольно недели. Но неделю Мне дайте и… пожалуйста, не смотрите на меня больше, иначе…

Нет, Я сказал не так, а как-то другими словами, но это все равно. Теперь Я меняю кожу. Мне больно, стыдно и страшно, потому что всякая ворона может увидеть и заклевать Меня. Какая польза в том, что в кармане у Меня револьвер? Только научившись попадать в себя, сумеешь убить и ворону: вороны это знают и не боятся трагически отдутых карманов.

Вочеловечившийся, пришедний сверху, Я до

сих пор только наполовину принял *человека*. Как в чужую стихию, Я вошел в человечность, но не погрузился в нее весь: одной рукою Я еще держусь за мое Небо, и еще на поверхности волн мои глаза. Она же приказывает, чтобы Я принял человека всего: только тот *человек,* кто сказал: никогда не убью себя, никогда сам не уйду из жизни. А бич? А проклятые рубцы на спине? А гордость?

О Мария, Мария, как страшно ты искушаешь Меня!

Смотрю в прошлое Земли и вижу мириады тоскующих теней, проплывающих медленно через века и страны. Это рабы. Их руки безнадежно тянутся ввысь, их костлявые ребра рвут тонкую и худую кожу, их глаза полны слез и гортань пересохла от стонов. Вижу безумство и кровь, насилие и ложь, слышу их клятвы, которым они изменяют непрерывно, их молитвы Богу, где каждым словом о милости и пощаде они проклинают свою землю. Как далеко ни взгляну, везде горит и дымится в корчах земля; как глубоко ни направлю мой слух, отовсюду слышу неумолчные стоны: или и чрево земли полно стенающих? Вижу полные кубки, но к какому ни протянулись бы мои уста, в каждом нахожу уксус и желчь: или нет других напитков у человека? И это — *человек?*

Я знал их и прежде. Я видел их и раньше. Но Я смотрел на них так, как Август из своей ложи смотрел на вереницу жертв: «Здравствуй, Цезарь! Идущие на смерть приветствуют тебя». И Я глядел на них глазами орла, и даже кивком не хотела почтить их стонущего крика моя мудрая златовенчанная голова: они появлялись и исчезали, они шли бесконечно — и бесконечно было равнодушие моего цезарского взгляда. А теперь… неужели это Я торопливо шагаю, поднимая песок арены? И это Я, этот грязный, худой, голодный раб, что задрал вверх свое тюремное лицо и хрипло орет в равнодушные глаза Судьбы:

— Аве, Цезарь! Аве, Цезарь!

Вот острый бич взвился над моей спиною, и я с криком боли падаю ниц. *Господин* ли это бьет меня? Нет, это другой *раб*, которому велели бичевать *раба*: ведь сейчас же плеть будет в моей руке, и его спина покроется кровью, и он будет грызть песок, который еще скрипит на моих зубах!

О Мария, Мария, как страшно ты искушаешь Меня!

## III

### *29 марта, Рим*

Купи самой черной краски, возьми самую большую кисть и широкой чертой раздели мою жизнь на вчера и сегодня. Возьми жезл Моисея и раздели текучее время, как поток, осуши дно времени — лишь тогда ты почувствуешь мое *сегодня*.

Ave, Gaesar, moriturus te salutant![12]

### *2 апреля*

### *Рим, палаццо Орсини*

Я не хочу лгать. Во мне еще нет любви к тебе, человече, и если ты уже успел раскрыть объятья, то, пожалуйста, закрой их: еще не настало время для жарких лобзаний. Потом, когда-нибудь мы и обнимемся с тобою, а пока будем сдержанны и холодны, как два джентльмена в несчастье. Не скажу, чтобы и уважение мое к твоей личности заметно возросло, хотя твоя жизнь и твоя судьба стали моей жизнью и моей судьбою: достаточно

---

**[12] Примечания: 12**

Здравствуй, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя! (*лат.*)

того, что я добровольно подставил шею под ярмо, и теперь один и тот же кнут будет полосовать наши спины.

Да, пока достаточно и этого. Ты заметил, что большая буква снята с моего «я»? — она выброшена мною вместе с револьвером. Это знак покорности и равенства, ты понимаешь? Быть равным с тобою — вот клятва, которую я принес себе и Марии. Как король, я присягнул на верность твоей конституции, но не изменю клятве, как король: от прежней жизни моей я сохранил уважение к договорам. Клянусь, я буду верным твоим товарищем по общей каторге нашей и не убегу один!

За эти последние ночи перед решением я много думал о *нашей* жизни. Она гнусна, это правда? Тяжело и оскорбительно быть этой штучкой, что называется на земле человеком, хитрым и жадным червячком, что ползает, торопливо множится и лжет, отводя головку от удара, — и сколько ни лжет, все же погибает в назначенный час. Но я буду червячком. Пусть у меня родятся дети, пусть и мою размышляющую головку в назначенный час раздавит неразмышляющая нога — я покорно принимаю все это. Мы оба оскорблены с тобою, товарищ, и в этом уже есть

маленькое утешение: ты будешь слушать мои жалобы, а я твои, а если дойдет дело до суда, то вот уже готовы и свидетели! Это хорошо, когда убивают на площади, — всегда есть очевидцы и свидетели.

Буду и лгать, если придется. Не той свободной ложью *игры*, которою лгут и пророки, а той вынужденной заячьей ложью, когда приходится прятать уши и летом быть серым, а на зиму белеть. Что поделаешь, когда за каждым деревом прячется охотник с ружьем! Это *со стороны* кажется неблагородным поступком и вызывает осуждение, а нам с тобою надо жить, товарищ. Пусть *сторонние* осуждают нас и дальше, но, когда понадобится, будем лгать и по-волчьи: выскакивать внезапно и хватать за горло; надо жить, брат, надо жить, и виноваты ли мы, что в горячей крови так много соблазна и вкуса! В сущности, ведь ни ты, ни я не гордимся ни ложью, ни трусостью, ни свирепостью нашей, и кровожадны мы отнюдь не по убеждению.

Но как ни гнусна наша жизнь, еще более она несчастна — ты согласен с этим? Я еще не люблю тебя, человече, но в эти ночи я не раз готов был заплакать, думая о твоих страданиях, о твоем измученном теле, о твоей душе, отданной на

вечное распятие. Хорошо волку быть волком, хорошо зайцу быть зайцем и червяку червяком, их дух темен и скуден, их воля смиренна, но ты, человече, вместил в себя Бога и Сатану — и как страшно томятся Бог и Сатана в этом тесном и смрадном помещении! Богу быть волком, перехватывающим горло и пьющим кровь! Сатане быть зайцем, прячущим уши за горбатой спиной! Это почти невыносимо, я с тобой согласен. Это наполняет жизнь вечным смятением и мукой, и печаль души безысходна.

Подумай: из троих детей, которых ты рождаешь, один становится убийцей, другой жертвой, а третий судьей и палачом. И каждый день убивают убийц, а они все рождаются; и каждый день убийцы убивают совесть, а совесть казнит убийц, и все живы: и убийцы и совесть. В каком тумане мы живем! Послушай все *слова*, какие сказал человек со дня своего творения, и ты подумаешь: это Бог! Взгляни на все дела человека с его первых дней, и ты воскликнешь с отвращением: это скот! Так тысячи лет бесплодно борется с собою человек, и печаль души его безысходна, и томление плененного духа ужасно и страшно, а *последний* Судья все медлит своим приходом… Но он и не придет никогда, это говорю тебе я: навсегда одни

мы с нашей жизнью, человече!

Приму и это. Еще не нарекла меня своим именем Земля, и не знаю, кто я: Каин или Авель? Но принимаю жертву, как принимаю и убийство. Всюду за тобою и всюду с тобою, человече. Будем сообща вопить с тобою в пустыне, зная, что никто нас не услышит… а может, и услышит кто-нибудь? Вот видишь: я уже вместе с тобою начинаю верить в чье-то Ухо, а скоро поверю и в треугольный Глаз… ведь не может быть, честное слово, чтобы такой концерт не имел слушателя, чтобы такой спектакль давался при пустом зале!

Думал я о том, что меня еще ни разу не били, и мне страшно. Что будет с моей душою, когда чья-то грубая рука ударит меня по лицу… что будет со мною! Ведь я знаю, что никакая земная расплата не вернет мне моего лица, и что будет тогда с моею душою?

Клянусь, приму и это. Всюду за тобой и всюду с тобой, человече. Что мое лицо, когда ты своего Христа бил по лицу и плевал в его глаза? Всюду за тобой! А надо будет, сам ударю Христа вот этой рукой, что пишу: всюду за тобой, человече. Били нас и будут бить, били мы Христа и будем бить… ах, горька наша жизнь, почти невыносима!

Еще недавно я оттолкнул твои объятия, сказал:

рано. Но сейчас говорю: обнимемся крепче, брат, теснее прижмемся друг к другу — так больно и страшно быть одному в этой жизни, когда все выходы из нее закрыты. И я еще не знаю, где больше гордости и свободы: уйти ли самому, когда захочешь, или покорно, не сопротивляясь, принять тяжелую руку палача? Сложить руки на груди, одну ногу слегка выставить вперед и, гордо закинув голову, спокойно ждать:

— Исполняй свою обязанность, палач!

Или:

— Вот моя грудь, солдаты: стреляйте!

В этой позе есть пластичность, и она мне нравится. Но еще больше нравится мне то, что в ней каким-то странным образом снова возрождается мое большое Я. Конечно, палач не замедлит исполнить свою обязанность, и солдаты не опустят ружей, но важна линия, важно *мгновение*, когда перед самою смертью я вдруг почувствую себя бессмертным и стану шире жизни. Странно, но лишь одним поворотом головы, одной фразочкой, сказанной или подуманной вовремя, я как бы изъемлю мой дух из оборота, и вся неприятная операция происходит *вне меня*. И когда смерть щелкнет выключателем, ее мрак не покроет света, который ранее отделил себя и рассеялся

в пространстве, чтобы снова собраться где-то и засиять… но где?

Странно, странно… Я шел от человека — и оказался у той же стены Беспамятства, которую знает один Сатана. Как много значит поза, однако! Это надо запомнить. Но будет ли так же убедительна поза и не потеряет ли она в своей пластичности, если вместо смерти, палача и солдат придется сказать иное… хотя бы так:

— Вот мое лицо: бейте!

Не знаю, почему так заботит меня лицо, но оно меня очень заботит, сознаюсь тебе, человече, — беспокоит чрезвычайно. Нет, пустяки. *Изъемлю дух* из оборота. Пусть, пусть бьют! Когда дух изъят, то это не больнее и не оскорбительнее, чем если бы ты стал бить мое пальто на вешалке…

…Но я совсем забыл, что я не один, и, находясь в твоем обществе, впадаю в неприличную задумчивость. Уже полчаса, как я молчу над этой бумагой, а казалось мне, что я все время говорю — и очень оживленно! Забыл, что мало думать, а надо еще говорить! Как жаль, человече, что для обмена мыслями мы должны прибегать к услугам такого скверного и вороватого комиссионера, как слово, — он крадет все ценное и лучшие мысли портит своими магазинными ярлыками. Скажу

по правде: это огорчает меня больше, нежели смерть и побои.

Меня пугает необходимость *умолкать*, когда я дохожу до *необыкновенного*, которое невыразимо. Как реченька, я бегу и движусь вперед только до океана: в его глубинах кончается мое журчание. В себе самом, не двигаясь и не уходя, взад и вперед колышется океан. На землю он бросает только шум и брызги, а глубина его нема и неподвижна, и бестолково ползают по ней легкие кораблики. Как выражу себя?

До того, как принять решение и зачислиться в земные рабы, я не говорил ни с Марией, ни с Магнусом… зачем говорить мне с Марией, когда воля ее *ясна*, как и взор? Но, став рабом, пошел к Магнусу жаловаться и советоваться — по-видимому, с этого начинается человеческое.

Магнус слушал меня молча и, как показалось, несколько рассеянно. Он работает день и ночь, почти не зная отдыха, и сложное дело ликвидации так быстро подвигается в его энергичных руках, как будто всю жизнь он занимался только этим. Мне нравится его размах и великолепное презрение к мелочам: в запутанных случаях он выбрасывает спорные миллионы с легкостью и грацией вельможи… Но он очень устал, его глаза

кажутся теперь больше и темнее на бледном лице, и, кроме того, — как я только теперь узнал от Марии — его мучат частые головные боли.

Мои жалобы на жизнь, боюсь, не вызвали в нем особенного сочувствия. Какие обвинения я ни возводил на человека и его жизнь, Магнус нетерпеливо соглашался:

— Да, да, Вандергуд, это и есть — быть человеком. Ваше несчастье в том, что вы догадались об этом несколько поздно и теперь излишне волнуетесь. Когда вы *испытаете* хоть часть того, что теперь так пугает вас, вы будете говорить иначе. Впрочем, я радуюсь, что *равнодушие* уже оставило вас: вы стали значительно нервнее и подвижнее. Но откуда в ваших глазах этот чрезмерный страх? Встряхнитесь, Вандергуд!

Я засмеялся.

— Благодарю вас, я уже встряхивался. По-видимому, это смотрит из моего глаза *раб*, ожидающий плети… потерпите, Магнус, я еще не совсем привык. Скажите, мне придется совершать или совершить… убийство?

— Очень возможно.

— А вы не скажете мне, *как* это происходит?

Мы оба одновременно взглянули на его большие белые руки, и Магнус ответил слегка иро-

нически:

— Нет, этого я вам не скажу. Но если хотите, я расскажу вам другое: о том, что значит *до конца* принять человека, — ведь именно это вас волнует?

И с большой холодностью, с каким-то тайным нетерпением, как будто другая мысль поглощала все его внимание, он коротко рассказал мне об одном невольном и страшном убийце. Не знаю, передавал ли он факт или нарочно для меня сочинил эту мрачную побасенку, но дело заключалось в следующем. Это было давно; один русский, политический ссыльный, человек очень образованный и в то же время религиозный, что еще встречается в России, бежал с каторги и, после долгого и мучительного блуждания по сибирским лесам, нашел приют у каких-то сектантов-изуверов. Огромные бревенчатые свежие хижины в дремучем лесу, высокие заборы, огромные бородатые люди, огромные злые собаки — что-то в этом роде. И как раз в его присутствии должно было совершиться чудовищное преступление: эти сумасшедшие мистики под влиянием каких-то диких религиозных представлений должны были заклать невинного *агнца*, то есть на самодельном алтаре, при пении гимнов убить ребенка. Всех

мучительных подробностей Магнус не передал, ограничившись только кратким указанием, что это был семилетний мальчик в новой рубашечке и что здесь же присутствовала его еще молодая мать. Все разумные доводы, все убеждения ссыльного, что они готовятся свершить величайшее кощунство, что не милость Господня ждет их, а страшнейшее мучение ада, оказались бессильны перед тупым и страстным упорством фанатиков. Он становился на колени, умолял, плакал, хватался рукою за нож — в эту минуту жертва, уже обнаженная, лежала на столе и *мать* старалась утишить ее слезы и крики, — но этим привел фанатиков только в бешенство: они пригрозили убить и его... Магнус взглянул на меня и как-то особенно холодно и медленно произнес:

— А как бы вы поступили в этом случае, мистер Вандергуд?

— Конечно, я боролся бы, пока не был бы убит!

— Да? *Он* поступил лучше. *Он* предложил свои услуги и *своей* рукою, при соответствующем пении, перерезал мальчику горло. Вас это удивляет? Но *он* сказал: лучше на себя возьму этот страшный грех и кару за него, нежели отдам аду этих невинных глупцов. Конечно, такие вещи случаются только с русскими, и мне кажется, что

и сам он был несколько сумасшедшим. Он и умер впоследствии в сумасшедшем доме.

После некоторого молчания я спросил:

— А как бы *вы* поступили, Магнус?

И еще холоднее он ответил:

— Право, не знаю. Это зависело бы от минуты. Очень возможно, что просто ушел бы от этих зверей, но возможно, что и… Человеческое безумие весьма заразительно, м-р Вандергуд!

— Вы называете это только безумием?

— Я сказал: человеческое безумие. Но здесь дело в вас, Вандергуд: как *вам* это нравится? Я иду работать, а вы подумайте, где *граница* человеческого, которое вы сполна хотите принять, и потом скажите мне. Ведь вы не раздумали, надеюсь, остаться с *нами?*

Он усмехнулся с снисходительной ласковостью и вышел, а я остался думать. И вот думаю: где граница?

Признаюсь еще, что я начал как-то нелепо побаиваться Фомы Магнуса… или и этот страх — один из новых даров моей полной человечности? Но когда он так говорит со мною, мною овладевает странное смущение, мои глаза робко мигают, моя воля сгибается, как будто на нее положили неизвестный мне, но тяжелый груз. Подумай,

человече: я с *почтением* жму его большую руку и *радуюсь* его ласке! Раньше этого не было со мною, но теперь при каждом разговоре я ощущаю, что этот человек во всем может идти *дальше* меня.

Боюсь, что я *ненавижу* его. Если я не испытывал еще любви, то я не знаю и ненависти, и так странно будет, если ненависть я должен буду начать с *отца* Марии!.. В каком тумане мы живем, человече! Вот я произнес имя *Марии*, вот духа моего коснулся ее ясный взор, и уже погасла и ненависть к Магнусу (или я выдумал ее?), и уже погас страх перед человеком и жизнью (или я выдумал и это?), и великая радость, великий покой нисходят на мою душу.

Будто снова я белая шхуна на зеркальном океане. Будто все ответы я держу в своей руке и мне только лень разжать ее и прочесть. Будто вернулось ко мне *бессмертие* мое… ах, я больше не могу говорить, человече! Хочешь, я крепко пожму твою руку?

*4 апреля 1914 г.*

Добрейший Топпи одобряет все мои поступки. Он очень развлекает меня, этот добрейший Топпи. Как я и ожидал, он *совершенно* забыл свое истинное происхождение: все мои напоминания о нашем прошлом он считает шуткой, иногда сме-

ется, но чаще обиженно хмурится, так как очень религиозен, и даже шуточное сопоставление его с «рогатым» чертом кажется ему оскорбительным, — он сам убежден теперь, что черти рогаты. Его американизм, вначале бывший бледным и слабым, как карандашный набросок, теперь налился красками, и я сам готов поверить всей чепухе, которую Топпи выдает за свою жизнь, — так она искренна и убедительна. По *его* словам, он служит у меня уже около пятнадцати лет, и особенно смешно послушать его рассказы о моей молодости.

По-видимому, и его коснулись чары *Марии*: мое решение отдать все деньги ее отцу удивило его меньше, нежели я ожидал. С минуту он молча пососал свою сигару и спросил:

— А что он будет делать с вашими деньгами?

— Не знаю, Топпи.

Он удивленно и хмуро поднял брови:

— Вы шутите, м-р Вандергуд?

— Видишь ли, Топпи: пока мы, то есть Магнус занят тем, что все мое состояние превращает в золото и распихивает его по банкам — на свое имя, ты понимаешь?

— О! Как не понять, м-р Вандергуд.

— Это предварительные, необходимые шаги. А

что будет дальше… я пока еще не знаю.

— О! Вы опять шутите?

— Вспомни, старина, что я и сам не знал, что мне делать с моими деньгами. Мне нужны не деньги, а новая деятельность: ты понимаешь? Магнус же *знает*. Мне еще неизвестен его план, но мне важно то, что сказал мне Магнус: я заставлю вас самого работать, Вандергуд! О, Магнус великий человек, ты это увидишь, Топпи!

Топпи хмуро ответил:

— Вы хозяин вашим деньгам, м-р Вандергуд.

— Ах, ты все забыл и все перепутал, Топпи! Но ты помнишь об *игре*? о том, что я хотел *играть?*

— Да, вы что-то говорили. Но мне и тогда казалось, что вы шутите.

— Нет, я не шутил, но я ошибся. Здесь играют, но это не театр. Это игорный дом, Топпи, и я отдаю деньги Магнусу: пусть он мечет банк. Ты понимаешь? Он банкомет, он создает всю игру, а я буду ставить… ну, жизнь, что ли!

Видимо, старый шут ничего не понял. С усилием раза три передвинув брови вверх и вниз, он вдумчиво спросил:

— А как скоро ваше венчание с синьориной Марией?

— Еще не знаю, Топпи. Но дело не в этом. Я

вижу, ты чем-то недоволен. Ты не доверяешь Магнусу?

— О! Синьор Магнус достойный человек. Но одного я боюсь, м-р Вандергуд, если позволите быть откровенным: он человек неверующий. Мне это странно, как отец синьорины Марии может быть человеком неверующим, но это так. Позвольте спросить: вы что-нибудь дадите его преосвященству?

— Это теперь зависит от Магнуса.

— О! От синьора Магнуса? Так, так. А вы знаете, что его преосвященство уже был у синьора Магнуса? Приезжал на днях и пробыл в кабинете около часу, вас тогда не было дома.

— Нет, не знаю. Мы об этом еще не говорили, но ты не бойся: *что-нибудь* мы дадим твоему кардиналу. Сознайся, старина: ты совсем очарован этой старой обезьяной?

Топпи сурово взглянул на меня и вздохнул. Потом задумался… и странное дело! — в его чертах появилось что-то обезьянье, как у кардинала. Потом где-то очень глубоко в нем засветилась улыбка, озарила свисший нос, поднялась к глазам и вспыхнула в них двумя острыми огоньками, не лишенными блудливого ехидства. Я смотрел с удивлением и даже радостью: да это мой старый

Топпи вылезал из своей человеческой могилы… убежден, что и волосы его вместо ладана снова пахнут мехом! С большой нежностью я поцеловал его в темя — старые привычки неискоренимы! — и воскликнул:

— Ты очарователен, Топпи! Но *что* так обрадовало тебя?

— Я все ждал, покажет ли он кардиналу Марию?

— Ну?

— Не показал!

— Ну?!

Но Топпи молчал. И тем же путем, как пришла, медленно исчезла усмешка: сперва потух и потемнел свисший нос, потом сразу погасли живые огоньки в глазах — и снова то же обезьянье уныние, кислота и запах церковного притвора погребли на мгновение воскресшего. Было бесполезно тревожить этот прах дальнейшими вопросами.

Это было вчера. Днем был теплый дождь, но к вечеру прояснело, и утомленный Магнус, — кажется, у него болела голова, — предложил втроем проехаться в Кампанью. Как всегда бывало при наших интимных поездках, шофера мы не брали: его обязанности с необыкновенным искусством

и смелостью исполнял Магнус. В этот раз свою обычную смелость он довел до дерзости: несмотря на сгущавшиеся сумерки и грязноватую дорогу, Магнус вел автомобиль с такой бешеной быстротой, что я не раз с беспокойством поглядывал на его широкую неподвижную спину. Но это было только вначале: близость Марии, которую я поддерживал рукою (не смею сказать: обнимал!), скоро привела меня к потере всех земных ощущений. Я не могу тебе рассказать, человече, так хорошо, чтобы ты это почувствовал, — ни о пахучем воздухе Кампаньи, который обвевал мое лицо, ни о прелести и чарах стремительного бега, ни об этой потере материального веса, почти полном исчезновении *тела*, когда самому себе кажешься только стремящейся мыслью, летящим взглядом…

Но еще меньше я могу рассказать тебе о *Марии*. Ее лик Мадонны белел в сумерках, как мрамор; таинственным безмолвием мрамора, его совершенной красоты было ее кроткое, милое и мудрое молчание. Я еле касался рукою ее тонкого и гибкого стана, но если бы я обнимал и держал в руке всю твердь земную и небесную, я не испытал бы более полного чувства обладания всем *миром!* Ты знаешь, что такое линия в мерах? Немного,

правда. И всего только на линию склонялось ко мне божественное тело Марии, — нет, не больше! — но что бы ты сказал, человече, если бы *солнце*, сойдя с своего пути всего на линию, на эту линию приблизилось к тебе? Разве ты не сказал бы, что это *чудо*?

Мое существование казалось мне необъятным, как вселенная, которая не знает ни твоего времени, ни твоего пространства, человече! На мгновение мелькнула передо мною черная стена моего Беспамятства, та неодолимая преграда, пред которою смущенно бился дух вочеловечившегося, — и скрылась так же мгновенно: ее без шума и борьбы поглотили волны моего нового моря. Все выше поднимались они, заливая мир. Мне уже нечего было ни вспоминать, ни знать: все помнила и всем владела моя новая человеческая душа. Я человек!

Откуда я выдумал, что я ненавижу Магнуса? Я взглянул на эту неподвижную, прямую твердую человеческую спину, подумал, что за нею бьется сердце, и о том, как трудно, больно и страшно ей быть прямой и твердой, и о том, сколько боли и страданий уже испытало это человеческое существо, как оно ни гордится и ни хмурится, — и вдруг почувствовал, что я до боли, до слез люблю

Магнуса, вот этого Магнуса! Он так быстро едет и не боится! А в ту минуту, как я думал это, на меня обратились взоры Марии… ах, ночью они так же ясны, как и днем! Но теперь в них было легкое беспокойство, они спрашивали: о чем эти слезы?

Что мог я ответить какими-то дурацкими словами! Я молча взял руку Марии и приложил к губам. И все так же не сводя с меня своих ясных очей, светлея мрамором и холодом своего лика, она тихо отвела руку — я смутился — и вновь дала ее мне, сняв перчатку. Позволишь дальше не продолжать, человече? Я не знаю, кто ты, читающий эти строки, и немного боюсь тебя… твоей слишком быстрой и смелой фантазии, да и неудобно такому джентльмену, как я, рассказывать о своем успехе у дам. Тем более что и возвращаться пора: на горе уже заблестели огни Тиволи, и Магнус замедлил ход машины.

Обратно мы ехали совсем тихо, и повеселевший Магнус, вытирая платком потный лоб, изредка обращался к нам с короткими замечаниями. Не скрою одной своей мысли: ее несомненная человечность интересно отмечает всю полноту моего перерождения, — когда мы поднимались по широкой лестнице моего палаццо, среди его царственной красоты и богатства, я вдруг

подумал: «А не послать ли мне к черту всю эту авантюру с человечностью? Просто — жениться и жить князем в этом дворце. Будет свобода, будут дети и их смех, будет простое земное счастье и любовь. Зачем я отдал деньги этому господину? Как глупо!»

Искоса я взглянул на Магнуса, — и он показался мне чужим: «отберу деньги!» Но дальше я увидел строгий лик моей Марии, — несоответствие ее любви с этим планом маленького скромненького счастья было так велико и разительно, что даже не потребовалось ответа. И сейчас эта мыслишка вспомнилась случайно, как один из курьезов «топпизма» — я буду называть это «топпизмом» в честь моего совершеннейшего Топпи.

И вечер был очарователен. По желанию Магнуса Мария пела, и ты не можешь представить того благоговения, с каким слушал ее Топпи! Самой Марии он ничего не посмел сказать, но, уходя спать, долго и с выражением тряс мою руку, потом так же долго и с выражением раскачивал большую руку Магнуса. Я также поднялся, чтобы идти к себе.

— Вы еще будете работать, Магнус?

— Нет. Вы не хотите спать, Вандергуд? Пойдемте ко мне поболтаем. Кстати, вам надо подписать

одну бумагу. Хотите вина?

— О! С удовольствием, Магнус. Я также люблю ночные беседы.

Мы выпили вина. Магнус, что-то насвистывая без звука, бесшумно ходил по ковру, я, по обыкновению, полулежал в кресле. Палаццо был безмолвен, как саркофаг, и это напомнило ту беспокойную ночь, когда за стеною бесновался сумасшедший Март. Вдруг Магнус громко сказал, не останавливаясь:

— Дело идет прекрасно.

— Да?

— Через две недели все будет кончено. Ваше пухлое и разбросанное состояние, в котором можно заблудиться, как в лесу, превратится в ясный, отчетливый и тяжелый золотой комок… вернее, в небольшую гору. Вы точно знаете цифру ваших денег, Вандергуд?

— Оставьте, Магнус. Я не хочу знать. И это ваши деньги.

Магнус быстро взглянул на меня и резко подчеркнул:

— Нет, это ваши.

Я покорно пожал плечами: мне не хотелось спорить. Было так тихо, и мне так нравилось смотреть на этого сильно и бесшумно шагающего

человека — я еще помнил его неподвижную и суровую спину, за которой впервые мне так ясно представилось его сердце. Он продолжал после некоторого молчания:

— Вы знаете, Вандергуд, что кардинал был здесь?

— Старая обезьяна? Знаю. Что ему понадобилось?

— То же. Он хотел видеть вас, но я не стал отрывать вас от ваших мыслей.

— Благодарю. Вы его выгнали?

Магнус сердито проворчал:

— К сожалению, нет. Не гримасничайте, Вандергуд. Я уже говорил вам, что с ним необходимо быть осторожным, пока… мы здесь. Но в том, что он старая, бритая, негодная, злая, жадная, трусливая обезьяна, — вы совершенно правы!

— Ого! А выгнать нельзя?

— Нельзя.

— Я вам верю, Магнус. А чего надо этому королю, который благоволит на днях посетить нас?

— Экс-король? Вероятно, того же. Вы сами должны его принять, конечно.

— Но в вашем присутствии? Не иначе. Поймите, дорогой друг, что с той ночи я только ваш ученик. Вы находите, что нельзя выгонять старой обезья-

ны? Прекрасно, пусть остается. Вы говорите, что надо принять какого-то экс-короля? Прекрасно, примем. Но я позволю линчевать себя на первом фонаре, если я знаю, зачем это надо.

— Вы опять несерьезны, Вандергуд.

— Нет, я *очень* серьезен, Магнус. Но, клянусь вечным спасением, я решительно не знаю, что мы делаем и что будем делать? Я не упрекаю вас, я вас даже не спрашиваю: как я уже сказал, я вам верю и всюду следую за вами. Чтобы вы снова не упрекнули меня в легкомыслии и непрактичности, добавлю деловую подробность: залогом служит мне Мария и ее любовь. Да, я еще не знаю, куда вы обратите вашу волю, на что вы захотите истратить вашу энергию, в неистощимости которой я убеждаюсь с каждым новым днем, к каким замыслам и целям приведет вас или уже привел ваш опыт и ум, — но одно для меня несомненно: это будут огромные дела, это будут великие цели. И возле вас всегда найдется дело и для меня… во всяком случае, это будет лучше моих безмозглых старух и шести слишком умных секретарей. Почему вы не хотите верить в мою скромность, как я верю в ваш… гений? Вообразите, что я пришелец с какой-то другой планеты, с Марса, например, и теперь хочу самым серьезным образом проделать

опыт *человека*… это очень просто, Магнус!

Несколько мгновений Магнус хмуро смотрел на меня — и вдруг рассмеялся:

— Нет, вы действительно пришелец с какой-то планеты, Вандергуд!.. А если ваше золото я употреблю на зло?

— Зачем? Разве это так интересно?

— Гхм… Вы думаете, что *это* неинтересно?

— Да и вы думаете так же. Для маленького зла вы слишком большой человек, как и миллиарды слишком большие деньги, а большое зло… честное слово, я еще не знаю, что это значит — *большое зло*? Может быть, это значит: *большое добро*? Среди недавних моих размышлений, когда я… одним словом, пришла такая странная мысль: кто приносит больше пользы человеку: тот, кто ненавидит его, или тот, кто любит? Вы видите, Магнус, как я еще несведущ в человеческих делах и как я… готов на все.

Уже без смеха и с крайним, как мне показалось, любопытством Магнус всего меня измерял глазами, будто решая вопрос: сидит ли перед ним сплошной дурак или первейшая умница Америки. Судя по его вопросу, он был ближе ко второму мнению:

— Значит, если я верно понял ваши слова, — вас

ничто не устрашит, м-р Вандергуд?

— Думаю, что *ничто*.

— А убийство… много убийств?

— Вы помните, где вы наметили вашим рассказом о мальчике границу человеческого? Чтобы не произошло ошибки, я еще на несколько километров отодвинул ее вперед — этого хватит?

В глазах Магнуса выразилось что-то вроде уважения… черт его возьми, однако! — он, кажется, действительно принимал меня за простофилю. Продолжая быстро ходить по комнате, он несколько раз пытливо, точно желая вспомнить и проверить мои слова, взглянул на меня — и быстрым движением коснулся моего плеча:

— Вы занятная голова, Вандергуд. Жаль, что я не знал этого раньше.

— Почему жаль?

— Так, пустое. Нет, мне интересно, как вы будете говорить с королем: наверное, он предложит вам очень большое зло. А большое зло — большое добро, не так ли? — Он рассмеялся и дружески кивнул мне.

— Не думаю. Скорее, он предложит мне большую глупость.

— Гхм!.. А большая глупость не есть ли большой ум? — И он снова рассмеялся, но вдруг нахму-

рился и серьезно добавил: — Не обижайтесь, Вандергуд. Мне очень понравилось, что вы говорили, и это хорошо, что вы ни о чем меня не спрашиваете: сейчас я не мог бы ответить на ваши вопросы. Но кое-что могу сказать и сейчас… в общих чертах, конечно. Вы слушаете?

— С большим вниманием.

Магнус сел против меня и, отхлебнув вина, спросил с видом странной сосредоточенности:

— Как вы относитесь к взрывчатым веществам?

— С большим уважением.

— Да? Похвала холодная, но большего они и не стоят. А было время, когда я готов был молиться динамиту, как откровению… этот шрамик на лбу один из следов моего юношеского увлечения. С тех пор я сделал большие успехи в химии и во многом другом, и это охладило мою страсть. Недостаток всякого взрывчатого вещества, начиная с пороха, заключается в том, что взрыв действует на ограниченном пространстве и поражает только ближайшие предметы: для войны этого, пожалуй, достаточно, но этого мало для более широких задач. Кроме того, как сила узкоматериальная, динамит или порох требует для себя непрерывно направляющей руки: сам по себе

он глуп, слеп и глух, как крот. Правда, в мине Уайтхеда есть попытка скопировать *сознание*, позволяющая снаряду самому исправлять свои небольшие ошибки и как бы видеть цель, но это лишь жалкая пародия на глаза…

— А вы хотели бы, чтобы ваш «динамит» имел сознание, волю и глаза?

— Вы правы, я этого хотел. И мой новый *динамит* все это имеет: волю, сознание и глаза.

— Я еще не знаю цели, но это… страшно.

Магнус хмуро улыбнулся:

— Страшно? Боюсь, однако, что ваш страх перейдет в смех, когда я назову вам имя моего динамита. Это *человек*. Вы еще не рассматривали человека под этим углом, Вандергуд?

— Сознаюсь, что нет. Как и динамит под углом психологии. Но мне вовсе не смешно.

— Химия! Психология! — сердито воскликнул Магнус. — Это все оттого, что знания разделены и рука с полными десятью пальцами сейчас редкость. Вы, и я, и ваш Топпи — все мы снаряды, одни уже начиненные и готовые, другие — еще нуждающиеся в зарядке. И весь вопрос в том, вы понимаете, как зарядить снаряд, а главное: как взорвать его? Вы знаете, конечно, что для различных препаратов требуются и особые способы

взрыва.

Я не стану приводить здесь той лекции о взрывчатых веществах, что с величайшим жаром и увлечением прочел мне Магнус: мне впервые пришлось увидеть его в таком волнении. Несмотря на захватывающий интерес темы, как выражаются мои друзья-журналисты, я слушал только наполовину и больше разглядывал череп, вмещающий в себе столь обширные и опасные знания. В силу ли внушения, которое шло от Магнуса, или от простого утомления этот круглый череп, сверкающий огнями глаз, постепенно стал превращаться в моих глазах в настоящий взрывчатый снаряд, в готовую бомбу с светящимся фитилем… Я вздрогнул, когда Магнус небрежно бросил на стол тяжелый предмет, похожий на брусок серо-желтоватого мыла, и невольно вскрикнул:

— Что это?

— По виду — мыло или воск. По силе — это дьявол. Достаточно половины этого бруска, чтобы стереть с поверхности храм Святого Петра. Но это капризный Дьявол. Его можно бить, рубить на части, жечь в печке, и он останется безмолвным:

динамитный патрон разорвет его, но не вызовет гнева. Я могу бросить его на улицу, под ноги

лошадей, его будут грызть собаки, им станут играть дети, — и он останется равнодушным. Но стоит мне кольнуть его током высокого напряжения — и ярость его взрыва будет чудовищна, безмерна! Сильный, но глупый Дьявол!

С той же небрежностью, почти презрением Магнус бросил своего Дьявола обратно в ящик стола, откуда его достал, и сурово уставил на меня свои темные глаза. Я слегка развел бровями:

— Вижу, что вы знаете ваш предмет в совершенстве, и этот капризный дьявол мне очень нравится. Но я хотел бы слышать от вас о *человеке*.

Магнус засмеялся:

— А разве не о нем я говорил? Разве история этого куска мыла не есть история вашего *человека*, которого можно бить, жечь, рубить, бросать под ноги лошадей, отдавать собакам, разрывать на части, не вызывая в нем ни ярости, ни разрушающего гнева? Но кольните его *чем-то* — и его взрыв будет ужасен… как вам это известно, мой милый Вандергуд!

Он снова засмеялся и с наслаждением потер свои большие белые руки: едва ли он помнил в эту минуту, что на них уже есть человеческая кровь. Да и надо ли это помнить *человеку*? По-

молчав, сколько требовало уважение к предмету, я спросил:

— А вам известно средство, как взрывать человека?

– *Известно.*

— А вы не нашли бы возможным сообщить его мне?

— К сожалению, это не так легко и не так удобопонятно, как ток высокого напряжения… пришлось бы слишком много говорить, дорогой Вандергуд.

— А коротко?

— А коротко… Надо обещать человеку *чудо*.

— И это все?

— И это все.

— Опять обман? Старая обезьяна?

— Опять обман. Но не старая обезьяна, не Крестовые походы, не бессмертие на небе. Теперь время иных чаяний и иных чудес. Он обещал воскресение всем мертвым, я обещал воскресение всем живым. За Ним шли мертвые, за мною… за нами пойдут живые.

— Но мертвые *не воскресли*. А живые?

— Кто знает? *Надо сделать опыт*. Я еще не могу посвятить вас в деловую сторону, но предупреждаю: опыт должен быть в очень широких

размерах. Вас *это* не страшит, м-р Вандергуд?

Я неопределенно пожал плечами. Что мог я ответить? Этот господин, носящий на плечах бомбу вместо головы, снова расколол меня на две половины, из которых *человек* — увы! — был меньшей половиной. Как Вандергуд я испытывал — сознаюсь без стыда — жестокий страх и даже боль: как будто сила и ярость чудовищного взрыва уже коснулась моих костей и ломает их… ах, где же мое безоблачное счастье с Марией, где великое спокойствие, где эта чертова белая шхуна? Но как великое и бессмертное любопытство, как гений *игры* и вечного движения, как жадный взор никогда не закрывающихся глаз я почувствовал — сознаюсь также без стыда — сильнейшую радость, почти восторг! И, ежась от сладкого холода, я невольно пробормотал:

— Как жаль, что я не знал этого раньше.

— Почему жаль?

— Так, пустое. Не забывайте, что я пришелец с другой планеты и только знакомлюсь с человеком. Так как же мы поступим с этой планетой, Магнус?

Он снова рассмеялся:

— Вы большой чудак, Вандергуд! С этой планетой? Мы устроим на ней небольшой праздник.

Но довольно шуток, я их не люблю. — Он сердито нахмурился и строго, как старый профессор, посмотрел на меня… Манеры этого господина не отличались легковесностью. Когда ему показалось, что я стал достаточно серьезен, он благосклонно кивнул головой и спросил: — Вы знаете, Вандергуд, что вся Европа сейчас в очень тревожном состоянии?

— Война?

— Возможно, что и война, ее все тайно ожидают. Но война как преддверие в царство *чуда*. Понимаете: *мы* слишком долго живем простой таблицей умножения, мы устали от таблицы умножения, *нас* охватывают тоска и скука от этого слишком прямого пути, грязь которого теряется в бесконечности. Сейчас *мы* уже все хотим чуда, а скоро наступит день, когда мы потребуем чуда немедленно! Не я один хочу *опыта в больших размерах* — его готовит сам мир… ах, Вандергуд, поистине не стоило бы жить, если бы не эти крайне любопытные моменты! Крайне любопытные! — Он жадно потер руки.

— Вы довольны?

— Как химик, я в восторге. Мои снаряды уже начинены, сами того не зная, — но они узнают это, когда я приложу мой фитиль к затравке. Вы

представляете себе это зрелище, когда начнет взрываться *мой* динамит с его сознанием, волей и глазами, находящими цель?

— А кровь? Быть может, мое напоминание неуместно, но когда-то вы с большим волнением говорили о *крови.*

Магнус остановил на мне долгий взгляд: что-то вроде страдания выразилось в его глазах. Но это не было страдание совести или жалости — это была боль взрослого и умного человека, мысли которого перебиты глупым вопросом ребенка.

— Кровь? — сказал он. — Какая кровь?

Я повторил ему тогдашние его слова и рассказал мой странный и неприятный сон о бутылках, наполненных кровью вместо вина и так легко бьющихся. Утомленно, с закрытыми глазами, он выслушал мой рассказ и продолжительно вздохнул.

— Кровь! — пробормотал он. — Кровь! Это глупости. Тогда я много наболтал вам пустяков, Вандергуд, и их не следует вспоминать. Впрочем, если *это* страшит вас, то еще не поздно.

Я решительно возразил:

— Меня *ничто* не страшит. Как уже сказано, я всюду иду за вами. Это протестует моя *кровь* — понимаете? — а не сознание и воля. Вероятно,

я буду первым, кого вы обманете: я также хочу чуда. Разве не чудо — ваша *Мария*? За эти дни и ночи я повторил всю таблицу умножения, и она мне ненавистна, как тюремная решетка. С точки зрения вашей химии я вполне начинен и прошу вас только об одном: поскорее взорвите меня!

Магнус сурово согласился:

— Хорошо. Через две недели. Вы довольны?

— Благодарю вас. Могу я надеяться, что тогда и синьорина Мария станет моей женою?

Магнус усмехнулся:

— Мадонна?

— О! Я не понимаю вашей улыбки… и она не вполне совместна с моим уважением к вашей дочери, синьор Магнус.

— Не волнуйтесь, Вандергуд. Моя улыбка относилась не к Марии, а к вашей вере *в чудеса*. Вы славный малый, Вандергуд, я начинаю любить вас, как сына. Через две недели вы получите все, и тогда мы заключим новый и крепкий союз. Вашу руку, товарищ!

Впервые он так дружески и крепко жал мою руку. Если бы на его плечах была не бомба, а простая человеческая голова, я, пожалуй, поцеловал бы его… но прикладываться к бомбе! При всем уважении!

Это первая ночь, когда я спал как убитый и каменные стены дворца не давили на меня. Стены уничтожила взрывчатая сила слов Магнуса, а крыша растаяла под высоким звездным покровом Марии: в ее царство безмятежности, любви и покоя унеслась моя душа. Гора Тиволи и ее огоньки — вот что я видел, засыпая.

***8 апреля, Рим***

Прежде чем постучаться ко мне, его величество экс-король Э. обил немало порогов в Европе. Верный примеру своих апостолических предков, веривших в золото Израиля, он с особой охотой прибегал к еврейским банкирам: кажется, и я был обязан честью посещения его непоколебимой уверенности, что я также иудей. Хотя его величество пребывал в Риме инкогнито, я, предупрежденный о визите, встретил его на нижней ступени лестницы и поклонился очень низко, — кажется, так полагается по этикету. Затем, по тому же этикету, мы представили друг другу: он — своего адъютанта, я — Фому Магнуса.

Сознаюсь, я не был высокого мнения о бывшем короле, и тем более поразил он меня своим высоким мнением о себе. Он вежливо, но с таким великолепным пренебрежением подал мне руку,

он с такой спокойной уверенностью смотрел на меня как на существо низшего порядка, он так естественно шагал впереди меня, садился без приглашения, по-королевски откровенно рассматривал стены и мебель, что вся моя неловкость от незнания этикета мгновенно исчезла: надо только следовать за этим малым, который так прекрасно все знает. По виду это был еще совсем молодой человек с несвежим цветом лица и великолепной прической, в меру истасканный, достаточно сохранившийся, с глазами бесцветными и спокойными и надменно выдвинутой нижней губой. Прекрасны были его руки. Он нисколько не скрывал, что мое американское лицо, казавшееся ему еврейским, и необходимость просить у меня денег наводили на него непроходимую скуку: он слегка зевнул, усевшись в кресло, и сказал:

— Садитесь же, господа.

И легким жестом предложил своему адъютанту изложить причину посещения.

На Магнуса он не обращал никакого внимания и, пока толстый, красневший, любезный адъютант вкрадчиво повествовал о «недоразумении», удалившем его величество из отечества, — спокойно и скучно рассматривал свои

ногти. Наконец перебил плавную речь своего поверенного нетерпеливым замечанием:

— Говорите короче, маркиз. Мистер… Вандергуд не хуже нас с вами знает эту историю. Одним словом, эти дураки выгнали меня. Как вы смотрите на это, милейший Вандергуд?

Как я смотрю на это? Я низко поклонился:

— Я рад служить вашему величеству.

— Ну да, это все говорят. Но дадите ли вы мне денег? Продолжайте, маркиз.

Маркиз, нежно улыбнувшись мне и Магнусу (несмотря на толщину, у него был очень голодный вид), продолжал плести свое тончайшее кружево о «недоразумении», пока заскучавший король снова не прервал его:

— Понимаете: эти глупцы думают, что все их несчастья от меня. Не правда ли, как это глупо, м-р Вандергуд? А теперь им стало еще хуже, и они пишут: возвращайтесь, Бога ради, мы погибаем! Прочтите письма, маркиз.

Вначале король говорил с некоторым оживлением, но, видимо, всякое усилие быстро утомляло его. Маркиз послушно достал из портфеля пачку бумаг и довольно долго мучил нас жалобами осиротевших подданных, умолявших своего господина вернуться. Я смотрел на короля: он скучал

не меньше нас. Ему так ясно было, что народ не может существовать без него, что всякие подтверждения казались излишними… а мне было так странно: откуда у этого ничтожного человека так много этой счастливой уверенности? Не было сомнения, что этот цыпленок, не умеющий сам найти и зерна, искренне верит в особые свойства своей личности, способной дать целому народу чаямые блага. Глупость? Воспитание? Привычка? А в эту минуту маркиз читал стенание какого-то корреспондента, где сквозь официальную бездарность и ложь пышных выражений сквозила та же уверенность и искренний призыв. Также глупость и привычка?

— И так далее, и так далее, — равнодушно прервал чтение король. — Достаточно, маркиз, закройте ваш портфель. Так как же вы смотрите на это, любезный Вандергуд?

— Осмелюсь сказать вашему величеству, что я представитель старой демократической республики и…

— Оставьте, Вандергуд! Республика, демократия! Это глупости. Вы сами хорошо знаете, что король всегда необходим. У вас, в Америке, также будет король. Как можно без короля: кто же ответит за них Богу? Нет, это глупости.

Этот цыпленок собирался отвечать Богу за людей! А он продолжал все так же спокойно и невозмутимо:

— Король все может. А что может президент! Ничего. Вы понимаете, Вандергуд: ни-че-го! Зачем же вам президент, который ничего не может? — Он соблаговолил сделать нижней губой насмешливую улыбку. — Это все глупости, это газеты выдумали. Разве вы сами станете слушаться вашего президента, м-р Вандергуд?

— Но народное представительство…

— Фи! Извините, м-р… Вандергуд (он с трудом вспомнил мое имя), но какой же глупец станет слушаться какого-то народного представительства? Гражданин А. будет слушаться гражданина Б., а гражданин Б. будет слушаться гражданина А., не так ли? А кто же их заставит слушаться, если они оба умные? Нет, я также изучал логику, м-р Вандергуд, и вы мне позволите немного посмеяться!

Он немного посмеялся и сделал привычный жест рукою:

— Продолжайте, маркиз… Нет, впрочем, я буду сам. Король может все, вы понимаете, Вандергуд?

— Но закон…

— Ах, и этот чудак о законе — вы слышите, маркиз? Нет, я решительно не понимаю, зачем им всем так понадобился этот закон! Чтобы всем было одинаково плохо?.. Извините, но вы очень эксцентричны, м-р Вандергуд. Впрочем, если вы уж так хотите, пусть будет закон, но кто же вам его даст, если не я?

— Но народное представительство…

Король почти с отчаянием поднял на меня свои бесцветные глаза:

— Ах, опять этот гражданин А. и Б.! Но поймите же, любезный Вандергуд: какой же это закон, если они сами его делают? Какой же умный человек станет его слушаться? Нет, это глупости. Неужели вы сами слушаетесь вашего закона, Вандергуд?

— Не только я, ваше величество, но вся Америка…

Он с сожалением измерял меня глазами:

— Извините, но я этому не верю. Вся Америка! Ну, значит, они просто не понимают, что такое закон, — вы слышите, маркиз, вся Америка! Но дело не в этом. Мне надо вернуться, Вандергуд, вы слышали, что они пишут, бедняги?

— Я счастлив видеть, что дорога вам открыта, государь.

— Открыта? Вы думаете? Гхм! Нет, мне надо

денег. Одни пишут, а другие не пишут, вы понимаете?

— Может быть, они просто не умеют писать, государь?

— Они-то?! Ого!! Вы посмотрели бы, что они писали против меня, я был даже расстроен. Их просто надо расстрелять.

— Всех?

— Почему всех? Некоторых довольно. Другие просто испугаются. Понимаете, Вандергуд, они просто украли у меня власть и теперь, конечно, не захотят отдать. Не могу же я сам следить, чтобы меня не обкрадывали? А эти господа, — он кивнул на покрасневшего маркиза, — не сумели, к сожалению, оберечь меня.

Маркиз смущенно пробормотал:

— Государь!..

— Ну, ну, я знаю твою преданность, но ты же прозевал, это правда? А теперь столько хлопот, столько хлопот! — Он слегка вздохнул. — Вам не говорил кардинал Х., что мне надо дать денег, м-р Вандергуд? Он обещал сказать. Конечно, я потом все возвращу и... но об этом вам следует поговорить с маркизом. Я слыхал, что вы очень любите людей, м-р Вандергуд?

По мрачному лицу Магнуса пробежала легкая

усмешка. Я молча поклонился.

— Мне говорил кардинал. Это очень похвально, м-р Вандергуд. Но если вы любите людей, то непременно дадите мне денег, я не сомневаюсь. Им необходим король, газеты говорят глупости. Почему в Германии король, в Англии король, в Италии король и еще сто королей, а у нас не нужен король?

Адъютант пробормотал:

— Недоразумение…

— Конечно, недоразумение, маркиз прав. Газеты называют это революцией, но лучше поверьте мне, я знаю мой народ: это простое недоразумение. Теперь они сами плачут. Как можно без короля? Тогда совсем не было бы королей, вы понимаете, какие глупости! Они ведь говорят, что можно и без Бога. Нет, надо пострелять, пострелять!

Он быстро встал и в этот раз с благосклонной улыбкой пожал мою руку и кивнул головой Магнусу.

— До свидания, до свидания, любезный Вандергуд. У вас прекрасная фигура… о, какой молодец! На этих днях маркиз заедет к вам. Что я еще хотел сказать? Ах да: желаю вам, чтобы и у вас в Америке был поскорее король… Это необходимо, мой

друг, этим все равно кончится! О ревуар!

С тем же торжеством мы проводили его величество до выходной двери. Маркиз следовал сзади, и в его наклоненной голове, точно разрубленной до шеи пробором среди реденьких волос, в ее покрасневшей коже выражались голод и чувство постоянной неудачи… ах, он уже столько раз и так бесплодно говорил о «недоразумении»! Что-то вспомнилось и королю о бесплодно обитых порогах: его бескровное лицо снова залилось серой скукой, и на мой последний поклон он удивленно вскинул глаза, откровенно выражавшие: что еще надо этому дураку? Ах да, у него деньги. И лениво попросил:

— Так не забудьте же, м-р… любезнейший!

А автомобиль был великолепен, и так же великолепен был рослый гайдук, похожий на переодетого жандарма. Когда мы поднялись по лестнице (среди наших почтительных лакеев, смотревших на меня как на коронованную особу) и вошли к себе, Магнус погрузился в долгое и ироническое молчание. Я спросил:

— Сколько лет этому цыпленку?

— А вы этого не знали, Вандергуд? Плохо. Ему тридцать два года. Кажется моложе.

— Кардинал действительно говорил о нем и

просил дать денег?

— Да. То, что останется после самого кардинала.

— Почему *они* так цепляются за монархию?

— Вероятно, потому, что монархический образ правления и на небе. Вы можете представить себе республику святых и управление миром на основе выборного права? Подумайте, что тогда и черти получат право голоса. Король необходим, Вандергуд, поверьте.

— Вздор! Этот не стоит даже шутки.

— Я не шучу. Вы ошибаетесь. И, простите за прямоту, мой друг: в своих суждениях о короле *он* в этот раз был выше вас. Вы видели только цыпленка, образ, узкоматериальный и только смешной, — *он* самосозерцал себя как символ. Оттого он так спокоен, и, нет сомнения, — *он* вернется к своему излюбленному народу.

— И пострелял?

— И пострелял и напугает. Ах, Вандергуд, как вы упорно не хотите расстаться с таблицей умножения! Ведь ваша республика есть простая таблица, а король, — вы чувствуете, — а король *чудо*! Что проще, глупее и безнадежнее, как миллион бородатых людей, управляющих собою, — и как удивительно, как чудесно, когда этим милли-

оном бородачей управляет *цыпленок*! Это чудо! И какие возможности открываются при этом! Мне было смешно, когда вы, даже с чувством, упомянули закон, эту мечту дьявола. Король необходим как раз для того, чтобы *нарушать* закон, чтобы была *воля*, стоящая *выше* закона!

— Но законы меняются, Магнус.

— Менять — значит подчиняться только необходимости и новому закону, которого раньше вы не знали. Только нарушая закон, вы ставите волю выше. Докажите, что Бог сам подчинен своим законам, то есть, попросту говоря, не может свершить чуда, — и завтра ваша бритая обезьяна останется в одиночестве, а церкви пойдут под манежи. Чудо, Вандергуд, чудо — вот что еще держит людей на этой проклятой земле!

При этих словах Магнус с силой ударил по столу сжатым кулаком. Лицо его было мрачно, в темных глазах горело необычное возбуждение. Точно угрожая кому-то, он продолжал:

— Вот *он* верит в чудо, и я завидую ему. Он ничтожен, он действительно только цыпленок, но он верит в чудо — и он уже был королем и будет королем! А мы!..

Он презрительно махнул рукой и заходил по ковру, как рассерженный капитан по палубе

*своего* корабля. Я с почтением глядел на его тяжелую взрывчатую голову и сверкающие глаза: только впервые мне ясно представилось, сколько *сатанинского* честолюбия таил в себе этот странный господин. «А мы!» Мой взгляд был замечен Магнусом и вызвал гневный окрик:

— Что вы так смотрите на меня, Вандергуд? Глупо! Вы думаете о моем честолюбии? Глупо, Вандергуд! Разве *вам*, господин из Иллинойса, также не хотелось бы стать… ну хотя бы императором России, где *воля* пока еще выше закона?

— А на какой престол метите вы, Магнус? — отозвался я, уже не скрывая иронии.

— Если вам угодно так лестно думать обо мне, мистер Вандергуд, то я *мечу* выше. Глупости, товарищ! Лишь бескровные моралисты никогда не мечтали о короне, как одни евнухи никогда не соблазнялись мыслью о насилии над женщиной. Вздор! Но я не хочу престола, даже русского: он слишком тесен.

— Но есть еще один престол, сеньор Магнус: Господа Бога.

— Почему же только Господа Бога? А про Сатану вы изволили забыть, м-р Вандергуд?

И это было сказано Мне… или уже вся улица знает, что престол мой вакантен?! Я почтительно

склонил голову и сказал:

— Позвольте мне первому приветствовать вас… ваше величество.

Магнус свирепо взглянул на меня и оскалился, как собака над спорной костью. И эта сердитая крошка хочет быть Сатаною! И эта щепотка земли, которой едва хватит Дьяволу на одну понюшку, мечтает венчаться моей короной! Я еще ниже опустил голову и потупил глаза: я чувствовал, как разгорается в них лучистое пламя презрения и божественного смеха, и этого смеха не должен был знать мой почтенный преемник. Не знаю, сколько времени мы молчали, но когда наши взоры снова встретились, они были ясны, чисты и невинны, как два луженых таза в тени. Но первый заговорил Магнус.

— Итак? — сказал он.

— Итак, — ответил я.

— Прикажете дать денег королю?

— Деньги в вашем распоряжении, дорогой друг.

Магнус задумчиво посмотрел на меня.

— Не стоит, — решил он. — Это слишком старое чудо, надо слишком много полиции, чтобы в него поверили. *Мы* сотворим чудо получше.

— О, без сомнения! Мы сотворим гораздо лучше.

Через две недели?

— О да, приблизительно! — любезно ответил Магнус.

Расставаясь, мы обменялись горячим рукопожатием, а часа через два милостивейший король прислал нам по ордену: мне — какую-то звезду, Магнусу — что-то вообще. Мне стало немного жаль бедного идиота, продолжавшего игру в одиночку.

### *16 апреля, Рим*

Мария слегка нездорова, и я почти не вижу ее. Про ее нездоровье мне доложил Магнус — и солгал: он почему-то не хочет, чтобы я виделся с нею. Чего он боится? И опять у него, в мое отсутствие, был кардинал Х. О «чуде» мне ничего не говорят.

Но я терпелив — и жду. Вначале это показалось мне несколько скучным, но на днях я нашел новое развлечение, и теперь я даже доволен. Это — римские музеи, в которых я провожу каждое утро как добросовестный американец, недавно научившийся отличать живопись от скульптуры. Но со мной нет Бедекера, и я странно счастлив, что решительно ничего не понимаю в этом деле: мраморе и картинах. Мне просто нравится

все это.

Мне нравится, что в музеях так хорошо пахнет морем. Почему морем? — я не знаю: море далеко, и я скорее ждал запаха гнили. И там так просторно — просторнее, нежели в Кампанье. В Кампанье я вижу только пространство, по которому бегают поезда и автомобили, здесь я плаваю во времени. Здесь так много зато времени! И еще мне нравится, что здесь так почтительно сохраняют обломок мраморной ноги, какую-то каменную подошву с кусочком пятки. Как осел из Иллинойса, я совершенно не понимаю, что в ней хорошего, но уже верю, что это хорошо, и меня трогает твоя осторожная бережливость, человече. Береги! Ломай живые ноги, это ничего, но эти ты должен сохранять. Очень хорошо, когда две тысячи лет живые, умирающие, постоянно меняющиеся люди берегут холодный осколочек мраморной ноги.

Когда с римской улицы, где каждый камешек залит светом апрельского солнца, я вхожу в тенистый музей, его прозрачная и ровная тень мне кажется особенным светом, более прочным, нежели слишком экспансивные солнечные лучи. Насколько *помню*, именно так должна светиться вечность. И эти мраморы! Они столько поглотили

солнца, как англичанин виски, прежде чем их загнали сюда, что теперь им не страшна никакая ночь… и мне возле них не страшно проклятой ночи. Береги их, человече!

Если *это* называется искусство, то какой же ты, Вандергуд, осел! Конечно, ты культурен, ты почтительно смотрел на искусство, но как на чужую религию и понимал в ней не больше, чем тот осел, на котором мессия вступал в Иерусалим. А вдруг пожар? Вчера эта мысль весь день тревожила меня, и я пошел с нею к Магнусу. Но он слишком занят чем-то другим и долго не понимал меня.

— В чем дело, Вандергуд? Вы хотите застраховать Ватикан — или что? Скажите яснее.

— О! Застраховать! — воскликнул я с негодованием. — Вы варвар, Фома Магнус!

Наконец он понял. Улыбнувшись весьма добродушно, он потянулся, зевнул и положил перед моим носом какую-то бумажку.

— А вы действительно господин с Марса, милый Вандергуд. Не возражайте и лучше подпишите эту бумажку. Последняя.

— Подпишу, но с одним условием. Ваш взрыв не коснется Ватикана?

Он снова усмехнулся:

— А вам жаль? Тогда лучше не подписывайте. Вообще, если вам чего-нибудь жаль — чего бы то ни было, Вандергуд, — он нахмурился и сурово посмотрел на меня, — то лучше расстанемся, пока не поздно. В моей игре нет места для жалости, и моя пьеса не для сентиментальных американских мисс.

— Если вам угодно… — Я подписал бумагу и отбросил ее. — Но, кажется, вы не на шутку вступили в обязанности Сатаны, дорогой Магнус!

— А разве у Сатаны есть обязанности? Жалкий Сатана. Тогда я не хочу быть Сатаною.

— Ни жалости, ни обязанностей?

— Ни жалости, ни обязанностей.

— А что же тогда?

Он быстро взглянул на меня блестящими глазами и ответил одним коротким словом, рассекшим воздух перед моим лицом:

– *Воля*.

— И… и ток высокого напряжения?

Магнус снисходительно улыбнулся:

— Я очень рад, что вы так хорошо запомнили мои слова, Вандергуд. Это может вам пригодиться в свое время.

Проклятая собака! Мне так захотелось ударить его, что я поклонился особенно вежливо и низко.

Но он удержал меня, радушным жестом указывая на кресло:

— Куда же вы, Вандергуд? Посидите. Последнее время мы так мало видимся. Как ваше здоровье?

— Благодарю вас, чудесно. А как здоровье синьорины Марии?

— Все еще неважно. Но это пустяки. Еще несколько дней ожидания, и вы… Так вам понравились музеи, Вандергуд? Когда-то и я отдал им много времени и чувства. Да, помню, помню… Вы не находите, Вандергуд, что человек в массе своей существо отвратительное?

Я удивленно поднял глаза:

— Я не вполне понимаю этот переход, Магнус. Наоборот, музеи открыли мне человека с новой и довольно приятной стороны…

Он засмеялся:

— Любовь к людям?.. Ну, ну, не сердитесь на шутку, Вандергуд. Видите ли: все, что делает человек, прекрасно в наброске — и отвратительно в картине. Возьмите эскиз христианства с его Нагорной проповедью, лилиями и колосьями, как он чудесен! И как безобразна его картина с пономарями, кострами и кардиналом Х.! Начинает гений, а продолжает и кончает идиот и животное. Чистая и свежая волна морского прибоя ударяет в

грязный берег — и, грязная, возвращается назад, неся пробки и скорлупу. Начало любви, начало жизни, начало Римской империи и великой революции — как хороши все начала! А конец их? И если отдельному человеку удавалось умереть так же хорошо, как он родился, то массы, массы, Вандергуд, всякую литургию кончают бесстыдством!

— О! А причины, Магнус?

— Причины? По-видимому, здесь сказывается самое *существо* человека, животного, в массе своей злого и ограниченного, склонного к безумию, легко заражаемого всеми болезнями и самую широкую дорогу кончающего неизбежным тупиком. И оттого так высоко над жизнью человека стоит его искусство!..

— Я не понимаю.

— Что же здесь непонятного? В искусстве гений начинает и гений кончает. Вы понимаете: гений! Болван, подражатель или критик бессилен что-нибудь изменить или испортить в картинах Веласкеса, скульптуре Анджело или стихах Гомера. Он может их уничтожить, разбить, сжечь, сломать, но принизить их до себя не в силах — и оттого он так ненавидит истинное искусство. Вы понимаете, Вандергуд? Его лапа бессильна!

Магнус помотал в воздухе белой рукой и рас-

смеялся.

— Но почему же он так тщательно охраняет и бережет?..

— Это не он охраняет и бережет. Это делает особая порода *верующих сторожей*. — Магнус снова рассмеялся. — А вы заметили, как им неловко в музее?

— Кому им?

— Ах, ну этим, которые приходят смотреть! Но самое смешное в этой истории не то, что дурак — дурак, а то, что гений неуклонно обожает дурака под именем ближнего и страстно ищет его убийственной любви. Самым диким образом гений не понимает, что *его* настоящий ближний — такой же гений, как и он, и вечно раскрывает свои объятия человекоподобному… который туда и лезет охотно, чтобы вытащить часы из жилетного кармана! Да, милый Вандергуд, это очень смешная история, и я боюсь…

Он умолк и задумался, тяжело глядя в пол: так, вероятно, смотрят люди в глубину собственной могилы. И я понял, чего боялся этот гений, и еще раз преклонился перед этим сатанинским умом, знавшим в мире только себя и свою волю. Вот Бог, который даже с Олимпом не пожелает разделить своей власти! И сколько презрения к

человечеству! И какое открытое пренебрежение ко мне! Вот проклятая щепотка земли, от которой способен расчихаться даже дьявол!

И ты знаешь, чем кончил я этот вечер? Я взял за шиворот моего благочестивого Топпи и пригрозил его застрелить, если он не напьется вместе со мною, — и мы напились! Началось это в каком-то грязненьком «Гамбринусе» и продолжалось в ночных темных тавернах, где я щедро поил каких-то черноглазых бандитов, мандолинистов и певцов, певших мне про *Марию*: я пил, как ковбой, попавший в город после годичной трезвой работы. Долой музеи! Помню, я много кричал и размахивал руками, но еще никогда я не любил мою чистую *Марию* так нежно, так сладко и больно, как в этом угарном чаду, пропитанном запахами вина, апельсинов и какого-то горящего сала, в этом диком кругу чернобородых, вороватых лиц и жадно сверкающих глаз, среди мелодичного треньканья мандолин, открывшего мне самую преисподнюю рая и ада!

Смутно помню каких-то ласковых, но торжественных убийц, которых я целовал и прощал во имя Марии. Помню, что я предлагал всем идти пьянствовать в Колизей, на то самое место, где когда-то умирали мученики, но не знаю, почему

это не вышло, — кажется, по техническим затруднениям. Но как хорош был Топпи! Вначале он напивался долго и молча, как архиепископ. Потом вдруг стал показывать интересные фокусы. Поставил себе на нос огромную фляжку кианти и весь облился красным вином. Пробовал передергивать карты, но был немедленно уличен ласковыми убийцами, с блеском исполнившими тот же фокус. Ходил на четвереньках, пел в нос какие-то духовные стихи, плакал и вдруг откровенно заявил, что он — Черт.

Домой мы шли пешком, шатаясь по всей улице, стукаясь о стены и фонари и блаженствуя, как два студента. Топпи пробовал задирать полисменов, но, тронутый их вежливостью, кончал суровым благословением, мрачно говоря:

— Иди и больше не греши!

Потом со слезами сознался, что он влюблен в одну синьору, пользуется взаимностью и потому должен отказаться от духовного звания. Сказав это, лег на чей-то каменный порог и упрямо заснул, там его я и оставил.

Мария, Мария, как испытуешь ты меня! Я еще ни разу не касался твоих уст, вчера я целовал только красное вино… но откуда же на моих губах эти жгучие следы? Только вчера я коленопре-

клоненно венчал тебя цветами, Мадонна, только вчера я с робостью касался края твоих одежд, а сегодня ты только женщина и я хочу тебя! Мои руки дрожат; с тяжелым бешенством я думаю о препятствиях, о комнатах, шагах и порогах, разделяющих нас, — я хочу тебя! В зеркало я не узнал мои глаза: на них лежит какая-то странная пленка, и дышу я тяжело и неровно, и весь день моя мысль похотливо блуждает около твоей обнаженной груди. Я все забыл.

В чьей я власти? Она гнет меня, как мягкое раскаленное железо, я оглушен, я слеп от собственного жара и искр. Что ты делаешь, человече, когда *это* случается с тобою? Идешь и берешь женщину? Насилуешь ее? Подумай: сейчас ночь, и Мария так близко, я могу совсем, совсем неслышно дойди до ее комнаты… И я хочу ее крика! А если Магнус закроет мне путь? Я убью Магнуса.

Вздор.

Нет, скажи, в чьей я власти? Ты это должен знать, человек. Сегодня перед вечером, убегая от себя и Марии, я бродил по улицам, но там еще хуже: везде я видел мужчин и женщин, мужчин и женщин. Как будто прежде я их не видал! Мне все они казались голыми. Я долго стоял на Мон-

те-Пинчио и старался понять, что такое закат солнца, и не мог понять: предо мною двигались бесконечно мужчины и женщины и смотрели друг другу в глаза. Что такое женщина, объясни мне! Одна, очень красивая, сидела в автомобиле, ее бледное лицо розовело от заката, а в ушах горели две искры брильянтов. Она смотрела на закат, и закат смотрел на нее, и больше ничего, но я не мог вынести этого: мое сердце охватили такая тоска и любовь, такая любовь и тоска, как будто я умираю. Там, сзади нее, были еще деревья, зеленые, почти черные.

Мария! Мария!

### *19 апреля, о. Капри*

На море полный штиль. С высокого обрыва я долго смотрел на маленькую шхуну, застывшую в голубом просторе. Ее белые паруса были неподвижны, и она казалась счастливою, как я в тот день. И снова великое спокойствие снизошло на меня, и святое имя *Марии* звучало безмятежно и чисто, как воскресный колокол на дальнем берегу.

Потом я лег на траву, лицом к небу. Спину мне нагревала добрая земля, а перед закрытыми глазами было так много горячего света, точно я

погрузился лицом в самое солнце. В трех шагах от меня была пропасть, стремительный обрыв, головокружительная отвесная стена, и оттого мое ложе из травы казалось воздушным и легким, и было приятно обонять запах травы и весенних каприйских цветов. Еще пахло Топпи, который лежал возле меня: когда он нагревается солнцем, от него начинает сильно пахнуть мехом. Он крепко загорел, точно намазался углем, и вообще это очень приятный старый Черт.

Это место, где мы лежали, называется Анакапри и составляет возвышенную часть островка. Солнце уже зашло, когда мы отправились вниз, и светила неполная луна, но было все так же тепло и тихо и где-то звучали влюбленные мандолины, взывая к Марии. Везде Мария! Но великим спокойствием дышала моя любовь, была обвеяна чистотою лунного света, как белые домики внизу. В таком же домике жила когда-то Мария, и в такой же домик я увезу ее скоро, через четыре дня.

Высокая стена, вдоль которой спускается дорога, закрыла от нас луну, и тут мы увидели статую Мадонны, стоявшую в нише довольно высоко над дорогой и кустарником. Перед царицей ровно светился слабый огонек лампады, и в своем сторожном безмолвии она казалась такою живою,

что немного холодело сердце от сладкого страха. Топпи преклонил голову и пробормотал какую-то молитву, а я снял шляпу и подумал: «Как ты стоишь высоко над этою чашей, полной лунной мглы и неведомых очарований, так *Мария* стоит над моей душою…»

Довольно! Здесь опять начинается необыкновенное, и я умолкаю. Сейчас буду пить шампанское, а потом пойду в кафе, там сегодня играют какие-то «знаменитые» мандолинисты из Неаполя. Топпи соглашается лучше быть застреленным, чем идти со мною: его до сих пор мучает совесть. Но это хорошо, что я буду один.

***23 апреля***

***Рим, палаццо Орсини***

…Ночь. Мой дворец безмолвен и мертв, как будто и он лишь одна из руин старого Рима. За большим окном сад: он призрачен и бел от лунного света, и дымчатый столб фонтана похож на безголовый призрак в серебряной кольчуге. Его плеск едва слышен сквозь толстые рамы — словно сонное бормотанье ночного сторожа.

Да, все это очень красиво и… как это говорится? — дышит любовью. Конечно, хорошо бы

рядом с Марией идти по голубому песку этой дорожки и ступать на свои тени. Но мне тревожно, и моя тревога шире, чем любовь. Стараясь шагать легко, я брожу по всей комнате, тихо припадаю к стенам, замираю в углах и все слушаю что-то. Что-то далекое, что за тысячи километров отсюда. Или оно только в моей памяти, то, что я хочу услыхать? И тысячи километров — это тысячи лет моей жизни?

Ты удивился бы, увидев, как я одет. Вдруг мне стал невыносимо тяжел мой прекрасный американский костюм, и на голое тело я надел трико для купанья. Тогда я сразу как будто похудел, стал очень высок и гибок и долго пробовал свою гибкость, скользя по комнате, неожиданно меняя направление, как бесшумная летучая мышь. Это не я тревожусь, это полны тревоги все мои мускулы и мышцы, и я не знаю, чего они хотят. Потом мне стало холодно, я оделся и сел писать. Кроме того, я выпил вина и закрыл драпри, чтобы не видеть белого сада. Кроме того, я еще осмотрел, привел в порядок и зарядил браунинг, который я завтра возьму с собою на дружескую беседу с Фомою Магнусом.

Видишь ли, у Фомы Магнуса есть *сотрудники*. Так он называет этих неизвестных мне господ,

которые почтительно дают мне дорогу при встрече, но не кланяются, как будто мы встретились на улице, а не в моем доме. Их было два, когда я уезжал на Капри, теперь их шестеро, как сказал мне Топпи, и они здесь живут. Топпи они не нравятся, да и мне тоже. Лиц у них нет, я странным образом не видел, — это я понял только теперь, когда захотел их вспомнить.

— Это мои сотрудники, — сказал мне сегодня Магнус насмешливо, нисколько не скрывая насмешки.

— Скажите им, Магнус, что они дурно воспитаны. Они не кланяются при встрече.

— Наоборот, дорогой Вандергуд! Они слишком воспитанны. Они просто не решаются на поклон, не будучи вам представлены! Это очень… корректные люди. Впрочем, завтра вы все узнаете, не хмурьтесь и потерпите, Вандергуд. Одна ночь!

— Как здоровье синьорины Марии?

– *Завтра* она будет здорова. — Он положил руку мне на плечо и приблизил свои темные, злые и наглые глаза. — Любовный жар, а?

Я стряхнул с плеча его руку и крикнул:

— Синьор Магнус! Я…

— Вы… — Он хмуро посмотрел на меня и спокойно повернул спину. — До завтра, мистер

Вандергуд.

Вот почему я зарядил револьвер. Вечером мне передали письмо от Магнуса: он извиняется, объясняет все нервностью и уверяет, что искренно и горячо хочет моей дружбы и доверия. Соглашается, что его *сотрудники* действительно невоспитанные люди. Я долго всматривался в эти неразборчивые, торопливые строки, на подчеркнутое слово «доверия» — и мне захотелось взять с собою не револьвер для беседы с этим другом, а скорострельную пушку.

Одна ночь, но она так длинна!

*Мне угрожает опасность*. Это чувствую я, и это *знают* мои мускулы, оттого они в такой тревоге, теперь я понял это. Ты думаешь, что я просто струсил, человече? Клянусь вечным спасением — нет! Не знаю, куда девался мой страх, еще недавно я всего боялся: и темноты, и смерти, и самой маленькой боли, а сейчас мне ничего не страшно. Только странно немного… так говорят: мне странно?

Вот сижу я на твоей Земле, человече, и думаю о другом человеке, который мне опасен, и сам я — человек. А там луна и фонтан. А там — Мария, которую я люблю. А вот — вино и стакан. И это — твоя и моя жизнь… Или я только выдумал,

что я когда-то был Сатаною? Вижу, что это лишь нарочно, и фонтан, и Мария, и самые мои мысли о каком-то Магнусе-человеке, но истинного моего не могу ни найти, ни понять. Тщетно допрашиваю память — она полна, и она безмолвна, как закрытая книга, и нет силы раскрыть эту зачарованную книгу, таящую все тайны моего прошлого бытия. Напрягая зрение, тщетно вглядываюсь в дальнюю и светлую глубину, откуда сошел я на эту картонную Землю, — и ничего не вижу в томительных колыханиях безбрежного тумана. Там, за туманом, моя страна, но кажется, но кажется, я совсем забыл к ней дорогу.

Ко мне вернулась скверная привычка Вандергуда напиваться в одиночку, и я пьян немного. Это ничего, в последний раз. Это тоже нарочно. Сейчас я видел нечто, после чего не хочу смотреть ни на что другое. Мне захотелось взглянуть на белый сад и представить, как мог бы я идти с Марией по голубой песчаной дорожке, — я закрыл свет в комнате и раздернул широко драпри. И как видение, как сон, встал передо мною белый сад, и — подумай! — по голубой, по песчаной дорожке шли двое, мужчина и женщина, и женщина была — Мария. Они шли тихо, ступая на свои тени, и мужчина обнимал ее. Мой счетчик в груди

застучал бешено, упал на пол и почти разбился, когда наконец я узнал мужчину, — о, это был Магнус, только Магнус, милый Фома, отец, будь он проклят с своими отеческими объятиями!

Ах, как я опять полюбил мою Марию! Я стал на колени перед окном и протянул к ней руки… правда, что-то в этом роде я уже видел в театре, но мне все равно: я протянул руки, ведь я один и пьян, отчего мне не делать так, как я хочу? Мадонна! Потом я сразу задернул занавес.

Тихо, как паутинку, как горсть лунного света, я понесу мое видение и вплету его в ночные сны. Тихо!.. Тихо!

## IV

***25 мая 1914 г***

***Италия***

Если бы слугою моим было не жалкое слово, а сильный оркестр, я заставил бы выть и реветь все мои медные трубы. Я поднял бы к небу их блещущие пасти и выл бы долго, выл бы медным скрежещущим воем, от которого волосы встают на голове и пугливее бегут облака. Я не хочу

лживых скрипок, мне ненавистен нежный рокот продажных струн под пальцами лжецов и мошенников — дыхание! дыхание! Моя глотка как медная труба, мое дыхание как ураган, рвущийся в узкие щели, и весь я звеню, лязгаю и скрежещу, как груда железа под ветром. О, это не всегда гневный и мощный рев медных труб — часто, очень часто это жалобный визг перегорелого и ржавого железа, скользящий и одинокий, как зима, свист согнутых прутьев, от которого холодеют мысли и сердце заволакивается ржавчиной тоски и бездомья. Все, что может гореть в огне, выгорело во мне. Это я хотел игры? Это я хотел игры? Так вот — смотри на этот чудовищный остов сгоревшего театра: в нем сгорели и все актеры… ах, все актеры сгорели в нем, и сама гнусная правда смотрит в нищенские дыры его пустых окон!

Клянусь моим престолом! — о какой еще там любви бормотал я, вочеловечившийся? Кому еще там протягивал мои объятия? Не тебе ли… товарищ? Клянусь моим престолом! — если я был Любовью *на одно мгновение,* то отныне я — Ненависть и остаюсь ею *вечно*. Сегодня остановимся на этом, дорогой товарищ. Я давно не писал, и мне снова надо привыкать к твоему тусклому и плоскому лику, разрисованному румянами по-

щечин, и я немного забыл те слова, что говорятся между порядочными и недавно битыми людьми. Пойди вон, мой друг. Сегодня и медная труба, и ты першишь у меня в горле, червячок. Оставь меня.

### *26 мая, Италия*

Это было месяц назад, когда Фома Магнус *взорвал* меня. Да, это правда, он таки взорвал меня, и это было месяц тому назад, в священном городе Риме, в палаццо Орсини, когда-то принадлежавшем миллиардеру Генри Вандергуду, — ты помнишь этого милого американца с его сигарой и золотыми патентованными зубами? Увы. Его больше нет с нами, он внезапно скончался, и ты сделаешь хорошо, если закажешь о нем заупокойную мессу: его иллинойсская душа нуждается в твоих молитвах.

Вернемся, однако, к его последним часам. Я постараюсь быть точным в моих воспоминаниях и передам не только чувства, но и все слова, сказанные в тот вечер, — это было вечером, луна уже светила. Очень возможно, что будут не совсем те слова, что говорились, но, во всяком случае, те, что я слышал и запомнил… если тебя когда-нибудь секли, уважаемый товарищ, то ты знаешь, как трудно самому запомнить и сосчитать все

удары розги. Перемещение центров, понимаешь? О, ты все понимаешь. Итак, примем последнее дыхание Генри Вандергуда, взорванного злодеем Фомою Магнусом и погребенного… *Марией.*

Помню, после той *тревожной* ночи наутро я проснулся совсем спокойным и даже радостным. Вероятно, то было влияние солнца, светившего в то самое широкое окно, откуда ночью лился этот неприятный и слишком многозначительный лунный свет. Понимаешь, то луна, а то солнце? О, ты все понимаешь. Очень вероятно, что по той же причине я проникся самой трогательной верой в добродетель Магнуса и ждал к ночи — безоблачного счастья. Тем более что его сотрудники — ты помнишь его сотрудников? — *кланялись* мне. Что такое поклон? А как много он значит для веры в человека!

Ты знаешь мои хорошие манеры и поверишь, что внешне я был сдержан и холоден, как джентльмен, получивший наследство, но если бы ты приложил ухо к моему животу, ты услышал бы, что внутри меня играют скрипки. Что-то любовное, понимаешь? О, ты все понимаешь. Так с этими скрипками я и вошел к Магнусу вечером, когда уже снова светила луна. Магнус был один. Мы долго молчали, и это показало, что

меня ждет очень интересный разговор. Наконец я заговорил:

— Как здоровье синьорины…

Но он прервал меня:

— Нам предстоит очень трудный разговор, Вандергуд. Вас это не волнует?

— О нет, нисколько!

— Хотите вина? Впрочем, нет, не стоит. Я выпью немного, а вам не стоит. Правда, Вандергуд?

Он засмеялся, наливая вино, и тут я с удивлением заметил, что сам он *очень* волнуется: его большие белые руки палача заметно дрожали. Не знаю точно, когда замолкли мои скрипки, — кажется, в эту минуту. Магнус выпил два стакана вина — он хотел немного — и продолжал, садясь:

— Да, вам не стоит пить, Вандергуд. Мне нужно все ваше *сознание*, ничем не затемненное… вы ничего не пили сегодня? Виски и сода? Нет? Это хорошо. Надо, чтобы сознание было светло и трезво. Я часто думал, нельзя ли в таких случаях применять анестезирующие средства, как при… при…

— Как при вивисекции?

Он серьезно мотнул головою:

— Да, как при вивисекции, вы чудесно схватили мою мысль, старина. Да, при душевной

вивисекции. Например, когда любящей матери сообщают о смерти ее сына или… очень богатому человеку, что он разорился. Но сознание, как быть с сознанием… нельзя же его всю жизнь держать под наркозом! Вы понимаете, Вандергуд? В конце концов, я вовсе не такой жестокий человек, каким иногда кажусь даже самому себе, и чужая *боль* часто вызывает во мне очень неприятные ответные судороги. Это нехорошо. У оператора рука должна быть тверда.

Он посмотрел на свои пальцы: они уже не дрожали. Улыбнувшись, он продолжал:

— Впрочем, вино также помогает. Милый Вандергуд, клянусь вечным спасением, которым и вы так любите клясться, что мне очень неприятно причинять вам эту маленькую… боль. Пустое, Вандергуд! Сознание, больше сознания! Вашу руку, дружище!

Я протянул руку, и своей горячей большой рукою Магнус словно обнял мою ладонь и пальцы и долго держал их в этой странной ванне, напряженной, словно проникнутой какими-то электротоками. Потом отпустил с легким вздохом.

— Вот так. Бодрее, Вандергуд!

Я пожал плечами. Закурил сигару. Спросил:

— Ваш пример относительно *очень* богатого человека, который внезапно стал нищим, не относится ко мне? Я разорен?

Магнус медленно, смотря мне прямо в глаза, ответил:

— Если хотите, то да. У вас нет ничего. Ровно ничего. И этот дворец уже продан, завтра в него вступят новые владельцы.

— О! Это интересно. А где же мои миллиарды?

— У меня. Они мои. Я очень богатый человек, Вандергуд!

Я переложил сигару в другую сторону рта и выразительно сказал:

— И готовы протянуть мне руку помощи? Вы наглый мошенник, Фома Магнус.

— Если хотите, то да. В этом роде.

— И лжец!

— Пожалуй. Вообще, милый Вандергуд, вам необходимо тотчас же переменить ваш взгляд на жизнь и людей. Вы слишком идеалист.

— А вам, — я поднялся с кресла, — а вам следует переменить собеседника. Позвольте мне откланяться и прислать сюда полицейского комиссара.

Магнус засмеялся:

— Вздор, Вандергуд! Все сделано по закону. Вы

сами передали мне все. Это никого не удивит… при вашей любви к людям. Конечно, вы можете объявить себя сумасшедшим. Понимаете? Тогда я, пожалуй, сяду в тюрьму. Но вы сядете в сумасшедший дом. Едва ли вы этого захотите, дружище. Полиция! Впрочем, ничего, говорите, это облегчает в первые минуты.

Кажется, я действительно не сумел скрыть моего волнения. Я с гневом бросил сигару в огонь камина и измерил глазами окно и Магнуса… нет, эта туша была слишком велика для игры в мяч. В ту минуту самая потеря состояния не вполне ясно представлялась моему уму, и возмущало меня не это, а наглый тон Магнуса, его почти покровительственные манеры старого мошенника. И еще что-то, очень беспокойное и даже зловещее, как угроза, смутно чувствовалось мною: как будто настоящая опасность была у меня не перед глазами, а за спиной. Я не знал, куда направить глаза, и это лишало меня самообладания.

— В чем дело наконец?! — топнул я ногою.

— В чем дело? — как эхо, отозвался Магнус. — Да, и я, в сущности, не совсем понимаю, что так возмущает вас, Вандергуд? Вы столько раз предлагали мне эти деньги, даже навязывали их мне, а теперь, когда они в моих руках, вы хотите звать

полицию! Конечно, — Магнус улыбнулся, — здесь есть маленькая разница: великодушно предоставляя деньги в мое *распоряжение*, вы оставались их господином и господином положения, тогда как сейчас… понимаете, дружище: сейчас я могу просто вытолкать вас из этого дома!

Я выразительно посмотрел на Магнуса. Он ответил не менее выразительным пожатием широких плеч и сердито сказал:

— Оставьте эти глупости. Я сильнее вас. Не будьте дураком больше, чем обязывает к тому положение.

— Вы необыкновенно наглый мошенник, синьор Магнус!

— Опять! Как эти сентиментальные души ищут утешения в словах! Возьмите сигару, сядьте и слушайте. Уже давно мне нужны деньги, очень большие деньги. В моем прошлом, которое вам ни к чему знать, у меня были некоторые… неудачи, раздражавшие меня. Дураки и сентиментальные души, вы понимаете? Моя энергия была схвачена и заперта, как воробей в клетку. Три года неподвижно сидел я в этой проклятой щели, подстерегая случая…

— Это в прекрасной Кампанье?

— Да, в прекрасной Кампанье… и уже начал

терять надежду, когда появились вы. Здесь я несколько затрудняюсь в выражениях…

— Говори прямо, не стесняйся.

— Можно на «ты»? Да, это удобнее. С твоей любовью к людям, с твоей *игрою*, как ты назвал это впоследствии, ты был очень странен, мой друг, и я довольно долго колебался, кто ты: необыкновенный ли дурак или такой же… мошенник, как и я. Видишь ли, такие необыкновенные ослы слишком редко встречаются, чтобы не вызывать сомнения даже во мне. Ты не сердишься?

— О, нисколько.

— Ты суешь мне деньги, а я думаю: ловушка! Впрочем, ты подвигался вперед очень быстро, и некоторые меры с моей стороны…

— Извини, что я прерываю тебя. Значит, эти книги твои… уединенные размышления над жизнью, белый домик и… все это ложь? А убийство, помнишь: руки в крови?

— Убивать мне приходилось, это правда, и над жизнью я размышлял немало, поджидая *тебя*, но остальное, конечно, ложь. Очень грубая, но ты был так мило доверчив…

— А… Мария?

Признаюсь, человече, что я едва выговорил это имя: так схватило меня что-то за горло. Магнус

внимательно осмотрел меня и мрачно ответил:

— Дойдем и до Марии. Как ты волнуешься, однако, у тебя даже ногти посинели. Может быть, дать вина? Ну, не надо, терпи. Я продолжаю. Когда у тебя началось с Марией… конечно, при моем маленьком содействии, я окончательно поверил, что ты…

— Необыкновенный осел?

Магнус быстро и успокоительно поднял руку:

— О нет! Таким ты казался только вначале. Скажу тебе правдиво, как и все, что я говорю сейчас: ты вовсе не глуп, Вандергуд, теперь я узнал тебя ближе. Это пустяки, что ты так наивно отдал мне все свои миллиарды, — мало ли умных людей обманывалось искусными… мошенниками! Твое несчастье в другом, товарищ.

Я имел силы усмехнуться:

— Любовь к людям?

— Нет, дружище: презрение к людям! *Презрение* и вытекающая из него наивная вера в тех же людей. Ты видишь всех людей настолько ниже себя, ты так убежден в их фатальном бессилии, что совершенно не боишься их и готов погладить по головке гремучую змею: так славно гремит! Людей надо бояться, товарищ! Ведь я знаю твою *игру*, но порою ты искренно болтал что-то о чело-

веке, даже жалел его, но всегда откуда-то сверху или сбоку — не знаю. О, если бы ты мог ненавидеть людей, я с удовольствием взял бы тебя с собою. Но ты эгоист, ты ужасный эгоист, Вандергуд, и я даже перестаю жалеть, что ограбил тебя, когда подумаю об этом! Откуда у тебя это подлое презрение!

— Я еще только учусь быть человеком.

— Что ж, учись. Но зачем же ты зовешь мошенником твоего профессора? Это неблагодарно: ведь я же твой профессор, Вандергуд!

— К черту болтовню. Значит… значит, ты не берешь меня с собою?

— Нет, дружище, не беру.

— Так. Одни миллиарды? Хорошо. Но твой план: взорвать землю или что-то в этом роде? Или ты и здесь лгал? Не может быть, чтобы ты хотел только… открыть ссудную кассу или стать тряпичным королем!

Магнус с грустью, даже как будто с сочувствием посмотрел на меня и медленно ответил:

— Нет, здесь я не лгал. Но ты не годишься идти со мною. Ты будешь постоянно хватать меня за руку. Ты сейчас только кричал: лжец, мошенник, вор… странно, ты еще только учишься быть человеком, а уже так пропитался этими пустяками.

Когда я подниму руку, чтобы бить, твое презрение начнет хныкать: оставь их, не трогай, пожалей. О, если бы ты мог ненавидеть! Нет, ты ужасный эгоист, старина.

Я закричал:

— Да черт тебя возьми наконец с твоим эгоизмом! Я вовсе не глупее тебя, мрачная скотина, и я не понимаю, что ты открыл в ненависти святого!

Магнус нахмурился:

— Прежде всего не кричи, или я тебя выгоню. Слыхал? Да, пожалуй, ты не глупее меня, но человеческое дело — не твое дело. Понял, розовая скотина?! Идя взрывать, я иду устраивать мои дела, а ты хочешь быть только моим управляющим на чужом заводе. Пусть воруют и портят машины, а тебе только бы получать свое жалованье да поклоны, да? А я не могу! Все это, — он широким жестом повел рукою, — мой завод, *мой*, ты понимаешь, и обкрадывают меня. Я обворован и оскорблен. И я ненавижу оттого, что я оскорблен. Что бы ты делал в конце концов с твоими миллиардами, если бы я не догадался взять их у тебя? Строил бы оранжереи и делал наследников — для продолжения! Собственная яхта в две трубы и брильянты для жены? А я… дай мне все золото, что есть на земле, и я все его брошу в

пекло моей ненависти. Потому, что я оскорблен! Когда ты видишь горбатого, ты бросаешь ему лиру, чтобы он дальше таскал свой горб, да? А я хочу уничтожить его, убить, сжечь, как кривое полено. Ты кому жалуешься, когда тебя обманут или собака укусит тебя за палец? Жене, полиции, общественному мнению? А если жена с лакеем наставит тебе рога или общественное мнение не поймет тебя и вместо сожаления высечет, ты тогда идешь к Богу? А мне не к кому идти, я никому не жалуюсь, но и не прощаю, понимаешь! Не прощаю, прощают только эгоисты. Я лично оскорблен!

Я слушал молча. Оттого ли, что я сел близко к камину и смотрел в огонь и только слушал, слова Магнуса слились с видом горящих и раскаленных поленьев: вспыхивало полено новым огнем — и вспыхивало слово, распадалась на части насквозь раскаленная, красная масса — и слова разбрызгивались, как горячие угли. В голове у меня было не совсем ясно, и эта игра вспыхивающих, светящихся, летающих слов погрузила меня в странный и мрачный полусон. Но вот что сохранила память:

— О, если бы ты мог ненавидеть! Если бы ты не был так труслив и малодушен! Я взял бы тебя с

собою, и ты увидел бы такой пожар, который навсегда осушил бы твои дрянненькие слезы, выжег бы дотла твои слезливые мечты! Ты слышишь, как поют дураки во всем мире? Это они заряжают пушки. Умному надо только приложить огонь к затравке, ты понимаешь? Ты можешь спокойно смотреть, как за тоненькой перегородкой лежат рядом блаженствующий теленок — и голодная змея? Я не могу. Я должен пробуравить маленькое отверстие, маленькое отверстие… остальное они сделают сами. Ты знаешь, что от соединения правды с ложью получается взрыв? Я хочу соединять. Я ничего не буду делать сам: я только *кончу* их работу. Ты слышишь, как они весело поют? Я заставлю их плясать! Пойдем со мною, товарищ! Ты хотел какой-то игры — мы дадим необыкновенный спектакль! Мы приведем в движение всю землю, и миллионы марионеток послушно запрыгают по нашему приказу: ты еще не знаешь, как они талантливы и послушны, это будет превосходная игра, ты получишь огромное удовольствие…

Большое полено упало и рассыпалось множеством искр и горячих угольков. Огонь упал, и камин стал угрюмым и красным. Из потемневшего закопченного жерла несло молчаливым

жаром, опалявшим мое лицо, и вдруг мне представился мой театр кукол. Это огонь и тепло строили миражи. Будто снова глухо затумпали барабаны, и весело звякнули медные тарелки, и веселый клоун пошел вверх ногами, а у бедной куколки разбили ее фарфоровую головку. Потом еще головку и еще. Потом я увидел мусорный ящик, и оттуда торчали две неподвижные ножки в розовых туфельках.

А барабаны все тумпали: тумп — тумп — тумп. И я сказал задумчиво:

— Мне кажется, что им будет больно.

И за моей спиною прозвучал надменный и равнодушный ответ:

— Очень возможно.

…Тумп. Тумп. Тумп…

— Тебе все равно, Вандергуд, а я не могу! Пойми наконец, я не могу допустить, чтобы всякая двуногая мразь также называлась человеком. Их стало слишком много, под покровительством докторов и законов они плодятся, как кролики в садке. Обманутая смерть не успевает справляться с ними, она сбита с толку, она совсем потеряла мужество и свой моральный дух. Она беспутничает по танцклассам. Я их ненавижу. Мне становится противно ходить по земле, которой овладела

чужая, чужая порода. Надо на время отменить законы и пустить смерть в загородку. Впрочем, они сделают это сами. Нет, это не я, это они сами. Не думай, что я как-то особенно жесток, нет, — я только логичен. Я только вывод — знак равенства — итог — черта под рядом цифр. Ты можешь называть меня Эрго[13], Магнус Эрго! Они говорят: дважды два, я отвечаю: четыре. Ровно четыре. Вообрази, что мир застыл на мгновение в полной неподвижности, и ты увидишь такую картину: вот чья-то улыбающаяся беззаботно голова, а над нею — занесенный, застывший топор. Вот куча пороху, а вот падающая в порох искра. Но она остановилась и не падает. Вот тяжелое здание на единственной уже согнувшейся подпоре. Но все застыло, и подпора не ломается. Вот чья-то грудь, а вот чья-то рука, делающая пулю для этой груди. Разве это приготовил я? Я только беру рычажок и — раз! — двигаю его вниз. Топор опускается на смеющуюся голову и дробит ее. Искра падает в порох — готово! Здание рушится. Приготовленная пуля пробивает приготовленную грудь. А я только надавил рычажок, я, Магнус Эрго! Подумай: разве я мог бы убивать, если бы в мире

---

**[13] Примечания: 13**

От *лат.* ergo — вывод, резюме.

были только скрипки и другие музыкальные инструменты?

Я захохотал:

— Только скрипки!

Магнус ответил смехом: голос его был хрипл и тяжел:

— Но у них другие инструменты! И я буду пользоваться их инструментами. Видишь, как это просто и интересно?

— А дальше, Магнус Эрго?

— Почем я знаю, что будет дальше? Я вижу только эту страницу и решаю только *эту* задачу. Я не знаю, что на следующей странице.

— Может быть, то же самое?

— Может быть, то же самое. А может быть, что это последняя страница… ну что ж: итог все равно нужен.

— Ты когда-то говорил о *чуде*?

— Да. Это мой рычаг. Ты помнишь, что я рассказывал о *моем* взрывчатом веществе? Я обещаю кроликам, что они станут львами… Видишь ли, кролик не выносит ума. Если кролика сделать умным, он повесится от тоски. Ум — это логика, а что хорошего может обещать кролику логика? Один вертел и непочетное место в ресторанном меню. Ему надо или обещать бессмертие за небольшую

плату, как это делает мой друг кардинал Х., или земной рай. Ты увидишь, какую энергию, какую смелость и прочее разовьет мой кролик, когда я нарисую ему на стене райские кущи и эдемские сады!

— На стене?

— Да, на каменной стене. Он весь, всей своей породой пойдет на штурм!.. И кто знает… да, кто знает… а вдруг он этой массой действительно сломает стену?

Магнус задумался. Я встал от потухшего камина и внимательно посмотрел на взрывчатую голову моего отвратительного друга… что-то наивное, какие-то две морщинки, почти детские по своему выражению, сложились на его каменном лбу. Я засмеялся и вскрикнул:

— Фома Магнус! Магнус Эрго! Ты веришь?

Не поднимая головы, он так же задумчиво, словно не слыхав моего смеха, ответил:

— Надо попробовать.

Но я продолжал смеяться, во мне уже начала разгораться дикая — вероятно, человеческая — насмешливая злоба:

— Фома Магнус! Магнус Кролик! Ты веришь?

Тогда он с силою ударил по столу своей тяжелой ладонью и заревел как исступленный:

— Молчи! Я говорю: надо попробовать. Откуда я могу знать? Я еще не был на Марсе и не смотрел на Землю с изнанки. Молчи, проклятый эгоист! Ты ничего не понимаешь в наших делах. Ах, если бы ты мог ненавидеть!..

— Я уже ненавижу.

Магнус внезапно и странно успокоился. Сел — и внимательно, недоверчиво, исподлобья, осмотрел меня со всех сторон:

— Ты? Ненавидишь? Кого?

— Тебя.

Он еще раз так же внимательно осмотрел меня и недоверчиво качнул головою:

— Это правда, Вандергуд?

— Если *они* кролики, то ты самый отвратительный из них, потому что ты — помесь кролика и… Сатаны. Ты трус! Это не важно, что ты мошенник, грабитель, лжец и убийца, но ты трус. Я ждал большего, старина. Я ждал, что твой ум поднимет тебя до величайшего злодейства, но ты самое злодейство превращаешь в какую-то подлейшую филантропию. Ты такой же лакей, как и другие, но прислуживать ты хочешь человеческому заду: вот вся твоя мудрость!

Магнус вздохнул:

— Нет, это не то. Ты ничего не понимаешь,

Вандергуд.

— А тебе не хватает смелости, дружище. Если ты Магнус Эрго — какая наглость: Магнус Эрго! — то и иди до конца. Тогда и я пойду с тобою… быть может!

— Правда пойдешь?

— А отчего мне не пойти? Пусть я Презрение, а ты Ненависть, мы можем идти вместе. Не бойся, что я буду хватать тебя за руку. Ты многое мне открыл, моя милая гадина, и я не стану удерживать твоей руки, если даже ты поднимешь ее на себя.

— Ты изменишь мне?

— А ты меня убьешь. Разве этого недостаточно?

Но Магнус недоверчиво качал головой и твердил:

— Ты изменишь мне. Я живой человек, а от тебя несет запахом трупа. Я не хочу презирать *себя*, тогда я погиб. Не смей смотреть на меня! Смотри на тех.

Я засмеялся.

— Хорошо. Я не буду смотреть на *тебя*. Я буду смотреть на тех. Моим презрением я облегчу тебе работу.

Магнус задумался и думал долго. Потом исподлобья взглянул на меня и тихо спросил:

— А Мария?..

Проклятый! Он снова уронил мое сердце на землю! Я дико смотрел на него, как разбуженный ночью огнем пожара. И три высоких волны перекатились через мою грудь. Первою волною поднялись умолкшие скрипки… ах, как взвыли они, точно не на струнах, а на моих жилах играл музыкант! Потом огромным валом с пенистою гривой прокатились все образы, все чувства и мысли моей недавней и милой человечности: подумай, там было все! Там была даже ящерица, которая как-то лунной ночью прошуршала возле моих ног. Даже маленькую ящерицу я вспомнил! И третьей глубокой волною тихо вскатилось на берег священное имя: *Мария!* И тихо ушла, оставив нежнейшее кружево пены, и солнце из-за моря брызнуло лучами, и на одно мгновение, на одну минуточку стал я белой шхуной с опущенными парусами. Где были звезды, пока единым словом не возжег их владыка вселенной? Мадонна.

Магнус тихо окликнул меня:

— Куда ты? Там ее нет. Чего ты хочешь?

— Простите, дорогой Магнус, но я бы хотел видеть синьорину Марию. Только на одну минуту. Мне не совсем хорошо, что-то сделалось с моей го-

ловой и глазами. Вы улыбаетесь, дорогой Магнус, или это только кажется мне? Я слишком долго смотрел на горящие дрова, и теперь мне трудно понять, что передо мною. Вы сказали: Мария? Да, я хотел бы увидеть ее. Мы потом продолжим наш интересный разговор, вы мне напомните, где мы остановились, а пока я очень просил бы… Может быть, мы поедем на автомобиле в Кампанью? Там так хорошо. И синьорина Мария…

— Сядь. Ты сейчас ее увидишь.

Но я еще не кончил мою околесицу — что за черт случился с моей головою! Я еще долго плел ее и — теперь мне смешно вспомнить это! — раза два горячо пожал неподвижную и тяжелую руку Фомы Магнуса: вероятно, он казался мне отцом в ту минуту. Наконец я замолчал, стал кое-что соображать, но все еще покорно по приказу Магнуса сел в кресло и приготовился внимательно слушать его.

— Теперь ты можешь слушать? Ты очень разволновался, старина. Помни: сознание! Сознание!

— Да, теперь могу. Я… все вспомнил. Продолжай, дружище, я слушаю.

Да, я вспомнил все, но мне было безразлично, что говорил и что будет говорить Магнус: я ждал

Марию. Вот как сильна была моя любовь! Почему-то глядя в сторону и отбивая такт ладонью по столу, Магнус медленно и словно неохотно произнес следующее:

— Слушай, Вандергуд. В сущности, для меня было бы всего удобнее просто выгнать тебя на улицу с твоим идиотским Топпи. Ты хотел испытать *все* человеческое, и я с удовольствием посмотрел бы на тебя, как ты зарабатываешь хлеб. Вероятно, отвык, а? Интересно бы и другое: посмотреть, во что превратится твое великолепное презрение, когда… Но я не зол. Странно сказать, но во мне есть даже чувство маленькой благодарности за… твои миллиарды и, кроме того, маленькая надежда. Да, надежда, что ты еще можешь стать… человеком. И хотя это несколько свяжет меня, я готов взять тебя с собою, но только — после некоторого испытания. Ты — все еще хочешь взять… Марию?

— Да.

— Хорошо.

Магнус тяжело поднялся с кресла и направился к двери. Но на половине дороги он внезапно повернулся ко мне и — до чего это было неожиданно со стороны старого мошенника! — поцеловал меня в лоб.

— Сиди, сиди, старина. Я сейчас ее позову. Слуг сегодня нет в доме.

Последнее он договорил, легонько стуча в дверь. На мгновение показалась голова одного из сотрудников и скрылась. Так же тяжело Магнус вернулся на свое место и, вздохнув, сказал:

— Сейчас придет.

Мы молчали. Я неотступно смотрел на высокую дверь, и вот она открылась. Вошла Мария. Я быстрыми шагами направился к ней навстречу и низко наклонился над ее рукою. И Магнус *крикнул:*

— Не целуй руки!

### *27 мая*

Вчера я не мог продолжать. Не смейся! Это простое сочетание простых слов — не целуй руки! — кажется мне самым страшным из всего, что может произнести человеческий язык. На меня они действуют магически, как заклятие. Когда бы они ни прозвучали во мне, они *прерывают* меня, прекращают то состояние, в каком я был, и переводят в новое. Если я говорил, я умолкаю, как внезапно онемевший. Если я шел, я останавливаюсь. Если я стоял, я бегу. Если они прозвучат во сне, то, как бы ни крепок был мой сон, я про-

сыпаюсь и больше уже не сплю. Очень простые, чрезвычайно простые слова: не целуй руки!

Теперь слушай, что было дальше.

Итак: я наклонился над рукой *Марии*. Но возглас Магнуса был так неожиданен и странен, в хриплом голосе его звучала такая повелительность и даже страх, что нельзя было не подчиниться! Но я не понял и с недоумением поднял голову, все еще держа руку Марии в своей, и вопросительно взглянул на Магнуса. Он дышал тяжело — как будто уже видел падение в пропасть — и на мой вопросительный взгляд тихо, слегка задыхаясь, ответил:

— Оставь ее руку. Мария, отойди от него.

Мария высвободила руку и отошла в сторону, далеко от меня. Все еще не понимая, я смотрел, как она отходила, уже стоял один, а все еще ничего не понимал. На одно коротенькое мгновение мне стало даже смешно, напоминало какую-то сцену из комедии, где влюбленные и сердитый отец, но тотчас же этот нелепый смех погас, и я с покорным ожиданием устремил глаза на Магнуса.

Магнус медлил. Тяжело встав, он два раза прошел по комнате, потом остановился прямо передо мною и, заложив руки за спину, сказал:

— При всех твоих странностях, ты порядочный человек, Вандергуд. Я тебя *ограбил* (он так сказал!), но я не могу дальше позволять, чтобы ты целовал руку у… этой женщины. Слушай! Слушай! Я уже сказал тебе, что ты должен сразу и немедленно переменить твой взгляд на людей. Это очень трудно, я сочувствую тебе, но это необходимо, дружище. Слушай, слушай! Ты был введен мною в заблуждение: Мария — не дочь мне… вообще у меня нет детей. И… не Мадонна. Она — моя любовница и была ею до вчерашней ночи…

…Теперь я понимаю, что Магнус был по-своему милосерд и погружал меня в темноту с нарочитой медленностью. Но тогда я не понимал этого и, задыхаясь *медленно*, дыша все короче, так же медленно терял сознание. И когда с последними словами Магнуса во мне погас последний свет и непроницаемая тьма объяла меня, я выхватил револьвер и несколько раз выстрелил в Магнуса. Не знаю, сколько было выстрелов, помню только ряд смеющихся вспыхивающих огоньков и толчков руки, дергавших ее кверху. Совершенно не помню, как и когда вбежали *сотрудники* Магнуса и обезоружили меня. Когда я опомнился, картина была такая. *Сотрудников* уже не было в комнате.

Я глубоко сидел в кресле у потухшего камина, волосы мои были мокры от воды, и над левой бровью сочилась кровью небольшая ссадина. Воротничка на мне не было, и рубашка была разорвана, был почти совсем оторван левый рукав, и мне все приходилось подтягивать его кверху. Мария стояла на том же месте и в той же позе, словно ни разу не двинувшись за все время борьбы. Удивило меня присутствие Топпи, который сидел в углу и странно смотрел на меня. У стола, спиною ко мне, стоял Магнус и наливал себе вино.

Когда я особенно глубоко вздохнул, Магнус быстро обернулся и сказал странно обычным тоном:

— Хотите вина, Вандергуд? Теперь вам можно выпить стакан. Нате выпейте. Видите, вы в меня не попали. Не знаю, радоваться этому или нет, но я жив. Ваше здоровье, старина!

Я коснулся пальцем лба и пробормотал:

— Кровь…

— Пустое, маленькая ссадина, она сейчас подсохнет. Не надо трогать.

— Пахнет…

— Порохом? Да, но и это сейчас пройдет. Здесь Топпи, вы видите? Он просил оставить его здесь.

Вы ничего не будете иметь против, если ваш секретарь останется при дальнейшем разговоре? Он очень предан вам.

Я взглянул на Топпи и улыбнулся. Топпи состроил гримасу и нежно простонал:

— Мистер Вандергуд! Это я, ваш Топпи.

И заплакал. Этот старый черт, все еще пахнущий мехом, этот шут в черном сюртуке, этот пономарь с отвислым носом, совратитель маленьких девочек — заплакал! Но еще хуже то, что, поморгав глазами, заплакал и я, «мудрый, бессмертный, всесильный!». Так плакали мы оба, два прожженных черта, попавших на землю, а *люди* — я счастлив отдать им должное! — с сочувствием смотрели на наши горькие слезы. Плача и одновременно смеясь, я сказал:

— А трудно быть человеком, Топпи?

И Топпи, всхлипнув, покорно ответил:

— Очень трудно, мистер Вандергуд.

Но тут я взглянул случайно на Марию, и мои сентиментальные слезы сразу высохли. Вообще этот вечер памятен мне самыми неожиданными и нелепыми переходами в настроении, ты, вероятно, знаешь их, человече? То я ныл и звякал лирою, как слезливый поэт, то вдруг преисполнялся каменным спокойствием и чув-

ством несокрушимой силы, а то начинал болтать глупости, как попугай, испугавшийся собаки, и болтал все громче, глупее и несноснее, пока новый переход не повергал меня в смертельную и бессловесную тоску. Магнус поймал мой взгляд на Марию и как-то нехотя улыбнулся. Я поправил ворот моей разорванной рубашки и сказал сухо:

— Не знаю еще, радоваться мне или нет, что я не убил тебя, дружище. Теперь я совершенно спокоен и просил бы тебя рассказать мне все… об этой женщине. Но так как ты лжец, то прежде всего я спрошу ее. Синьорина Мария, вы были моей невестой, и в ближайшие дни я думал назвать вас своей женой, скажите же правду: вы действительно… любовница этого человека?

— Да, синьор.

— И… давно?

— Пять лет, синьор.

— А сколько вам лет сейчас?

— Девятнадцать, синьор.

— Значит, с четырнадцати лет? Продолжай, Магнус.

— О, Боже!

(Это воскликнул Топпи, старый черт.)

— Сядь, Мария. Как видишь, Вандергуд, — спокойно и сухо начал Магнус, словно демонстрируя

не человека, а препарат, — эта моя любовница — явление не совсем обычное. При ее необыкновенном сходстве с Мадонной, способном обмануть и не таких знатоков в религии, как мы с тобою, при ее действительно неземной красоте, чистоте и прелести она с ног до головы продажная, развратная и совершенно бесстыдная тварь…

— Магнус!

— Успокойся. Ты видишь, как она слушает меня? Даже твой старый Топпи ежится и краснеет, а у нее — все так же ясен взор и все черты полны ненарушимой гармонии… ты заметил, как ясен взор Марии? Он всегда ясен. Мария, ты слушаешь меня?

— Да, конечно.

— Хочешь апельсин или вина? Возьми там на столе. Кстати, обрати внимание на ее походку: она всегда как будто идет по цветам или шествует на облаках, — легкость и красота необыкновенная! Как старый ее любовник, могу прибавить еще подробность, которой ты не знаешь: она сама, ее тело, пахнет какими-то удивительными цветами. Теперь о ее душевных свойствах, как говорят психологи. Если о ней говорить обычным языком, то она глупа, как гусыня, глупа

непроходимо. Но хитра. Но лжива. Очень жадна к деньгам, но любит их только в золоте. Все, что она говорила тебе, говорила с моих слов, более сложные фразы заучивая наизусть… я таки порядочно намучился с нею. И все же я очень боялся, что ты, несмотря на любовь, увидишь ее слишком явную глупость, и потому все последние решительные дни скрывал ее от тебя.

Топпи простонал:

— О, Боже! Мадонна!

— Вас это удивляет, м-р Топпи? — спросил Магнус, повернув голову. — И не одного вас, добавлю. Помнишь, Вандергуд, я говорил тебе о *роковом* сходстве Марии, которое привело одного юношу к смерти. Тогда я солгал тебе только наполовину: юноша действительно покончил с собою, когда увидел сущность моей Марии. Он был чист душою, любил, как и ты, и не мог вынести… как это говорится! — крушения своего идеала.

Магнус засмеялся:

— Ты помнишь Джиованни, Мария?

— Немного.

— Ты слышишь, Вандергуд? — смеясь, спросил Магнус. — Точно так же и таким же голосом она сказала бы обо мне через неделю, если бы ты сегодня убил меня. Скушай еще апельсин, Мария… Но

если говорить о Марии не совсем обычным языком, то она даже и не глупа. Просто у нее нет того, что зовется душою, совсем нет. Я много раз пытался заглянуть в глубину ее сердца, ее мыслей, и каждый раз кончалось у меня головокружением, как на краю пропасти: там нет *ничего*. Пустота. Ты, вероятно, замечал, Вандергуд, или вы, м-р Топпи, что лед не так холоден, как лоб *мертвого* человека? И какую известную вам пустоту, невольные друзья мои, вы ни вообразите себе, она не может сравниться с тем почти абсолютным vacuum, что составляет ядро моей прекрасной, светоносной звезды. Звезда морей, — кажется, так ты однажды назвал ее, Вандергуд?

Магнус снова засмеялся и выпил стакан вина, он много пил в тот вечер.

— Хотите вина, м-р Топпи? Нет? Ну, как хотите. Я выпью. Так вот почему, Вандергуд, я не хотел, чтобы ты целовал руку у этой твари. Не потупляй глаз, дружище. Вообрази, что ты в музее, и смотри на нее смело и прямо. Вы что-то хотите возразить, м-р Топпи?

— Да, синьор Магнус. Извините меня, мистер Вандергуд, но я просил бы позволения удалиться. Как джентльмен, хотя и… маленький, я не могу присутствовать при… при…

Магнус насмешливо прищурил глаза:

— При такой сцене?

— Да, при такой сцене, когда один джентльмен, с молчаливого согласия другого джентльмена, так оскорбляет женщину, — вспыльчиво воскликнул Топпи и встал.

Все так же иронически Магнус обратился ко мне:

— А ты что скажешь, Вандергуд? Отпустить этого слишком маленького джентльмена?

— Останься, Топпи.

Топпи покорно сел. С того момента, как начал говорить Магнус, я как будто впервые перевел дыхание и взглянул на Марию. Что тебе сказать? Это была *Мария*. И тут я понял немного, *что* именно происходит в голове, когда люди начинают сходить с ума.

— Можно продолжать? — спросил Магнус. — Впрочем, мне осталось немного. Да, я взял ее, когда ей было четырнадцать или пятнадцать лет, она сама не знает точно своих годов, но я был уже не первый ее любовник и… не десятый. Никогда я не мог узнать точно и полно ее прошлого. Либо она хитро лжет, либо действительно лишена памяти, но никакие самые тонкие расспросы, на которые попался бы даже опытный преступ-

ник, ни подкупы и подарки, ни даже угрозы — а она очень труслива — не могли принудить ее к рассказу. Она «не помнит», вот и все. Но ее глубочайшая развращенность, способная смутить даже султана, ее необыкновенная опытность и смелость в арс аманди[14]подтверждают мою догадку, что она получила воспитание в лупанарии… или при дворе какого-нибудь Нерона. Я не знаю ее возраста, и на моих глазах она не меняется: отчего не допустить, что ей не двадцать, а две тысячи лет? Мария… ты все умеешь и все можешь?

Я не смотрел на эту женщину. Но в ее ответе прозвучало легкое неудовольствие:

— Не говори глупостей. Что может подумать обо мне м-р Вандергуд?

Магнус громко рассмеялся и стукнул стаканом:

— Слышишь, Вандергуд: она дорожит твоим мнением! А если я прикажу ей немедленно в нашем присутствии раздеться…

— Боже мой, Боже мой! — простонал Топпи и закрыл лицо руками. Я быстро взглянул в глаза Магнусу — и надолго застыл в страшном очаровании этого взгляда. Его лицо еще смеялось, эту

---

**[14] Примечания: 14**
В искусстве любви (от *лат.* — ars amandi).

бледную маску еще корчило подобие веселого смеха, но глаза были неподвижны и тусклы. Обращенные на меня, они смотрели куда-то дальше и были ужасны своим выражением темного и *пустого* бешенства: так гневаться и так грозить мог бы только череп своими пустыми орбитами.

И опять потемнело у меня в голове, и, когда я опомнился, Магнус уже сидел, отвернувшись, и спокойно пил вино. Не поворачиваясь, он приподнял стакан на свет, понюхал вино, отхлебнул немного и сказал тем же спокойным голосом, как и раньше:

— Так вот, Вандергуд, дружище. Теперь ты знаешь почти все о Марии, или Мадонне, как ты ее называл, и я тебя спрашиваю: ты хочешь ее взять или нет? Я отдаю ее. Возьми. Если ты скажешь «да», она сегодня же будет в твоей спальне и… клянусь вечным спасением, ты проведешь очень недурную ночь. Ну что?

— Вчера ты, а сегодня я?

— Вчера я, а сегодня ты! — Он нехотя улыбнулся. — Ты совсем плохой мужчина, Вандергуд, что спрашиваешь о таких пустяках. Или ты еще не привык, чтобы твою постель нагревал другой? Возьми, она славная девочка. Она все умеет.

— Ты кого мучаешь, Магнус: меня или себя?

Магнус иронически взглянул на меня:

— Какой умный мальчик! Конечно, себя! Вы очень умный американец, м-р Вандергуд, и я искренне удивляюсь, что вы сделали такую плохую карьеру. Идите спать, милые дети, спокойной ночи. Что ты так смотришь, Вандергуд: находишь, что час слишком ранний? Тогда возьми ее и прогуляйся по саду. Когда ты увидишь Марию при лунном свете, три тысячи Магнусов не в силах будут доказать, что это небесно чистое существо такая же тварь, как…

Я вспылил:

— Вы отвратительный мошенник и лжец, Фома Магнус! Если она получила воспитание в лупанарии, то ваше высшее образование, почтеннейший синьор, закончилось, видимо, в каторжной тюрьме. Откуда вы принесли этот аромат, которым так густо пропитаны все ваши истинно джентльменские шутки и остроты. Меня начинает тошнить от вашей бледной рожи. Сделав женщину приманкой, как самый обыкновенный трущобный герой…

Магнус ударил кулаком по столу, его глаза налились кровью и горели.

— Молчать! Ты невообразимый осел, Вандергуд! Разве ты не понимаешь, что я сам был

обманут ею, — обманут, как и ты? Кто не обманется, встретив Мадонну? О дьявол! И чего стоят страдания твоей ничтожной, полосатой, американской душонки рядом с муками *моей* души? О дьявол! Остроты, шутки, джентльмены и леди, ослы и тигры, боги и черти! Разве ты не видишь: это не женщина, это орел, который ежедневно клюет мою печень! Мои муки начинаются с утра. Каждое утро, забыв вчерашнее, я вижу перед собою Мадонну и верю! Я думаю: что было со мною вчера? Вероятно, я ошибся, чего-то недоглядел. Не может быть, чтобы этот ясный взор, эта божественная поступь, этот пречистый лик Мадонны принадлежали проститутке. Это в твоей душе грязь, Фома, а она чиста, как облатка. И бывало так, что я на коленях вымаливал прощения у этой твари! Представляешь это: на коленях! И вот когда я был истинным и жалким мошенником, Вандергуд. Я жалко выдумывал ее, я подсовывал ей мои мысли и чувства, радовался, как идиот, чуть не плакал от счастья, когда она, шатаясь в словах, что-то повторяла. Как жрец, я сам раскрашивал моего идола, а потом падал ниц в упоении! Но правда была сильнее. Минута за минутой, час за часом сползала с нее ложь, и бывало так, что к ночи я бил ее. Плакал и бил, бил жестоко, как

сутенер бьет свою любовницу. А потом ночь с ее вавилонским развратом, мертвый сон — и забвение. И опять утро. И опять Мадонна. И опять… О дьявол! Как печень у Прометея, за ночь вырастала моя вера, и, как коршун, целый день она терзала ее. Ведь я тоже живой человек, Вандергуд!

Поеживаясь, как от холода, Магнус быстро заходил по комнате, заглянул в потухший камин и подошел к Марии. Мария вопросительно подняла на него свой ясный взор, и с осторожной нежностью, как ласкают попугая или кошку, Магнус погладил ее по голове, бормоча:

— Какая головка! Какая милая головка… Вандергуд, пойди погладь ее!

Я подтянул надорванный рукав и иронически спросил:

— И этого коршуна теперь ты хочешь отдать мне? У тебя уже не хватает корму? Кроме моих миллиардов, тебе нужна и моя печень!

Но Магнус уже успокоился. Поборов волнение и заметно овладевавший им хмель, он неторопливо вернулся на свое место и вежливо приказал:

— Сейчас я отвечу на ваш вопрос, м-р Вандергуд. Пожалуйста, пойди к себе, Мария. Мне еще необходимо поговорить с м-ром Вандергудом. И вас, почтеннейший м-р Топпи, я также попросил

бы на время удалиться. Вы можете побыть в зале с моими друзьями.

— Если м-р Вандергуд прикажет… — сухо сказал Топпи, не вставая.

Я утвердительно кивнул головою, и мой секретарь послушно вышел, не глядя на Магнуса. Удалилась и Мария. Если говорить всю правду, то в первую минуту нашего тет-а-тет с Магнусом мне снова захотелось заплакать — припасть к его жилету и заплакать: ведь все же этот грабитель был моим другом! *Но* я только глотнул слезы, сделал: ам! — и удовлетворился. Потом миг короткого отчаяния, что Мария *ушла*. И медленно, словно издалека, словно от каких-то давних воспоминаний, начало подползать к моему сердцу слепое и дикое бешенство, потребность бить и разрушать. Скажу еще, что меня очень раздражал надорванный, непрерывно сползавший рукав: мне надо было быть суровым и грозным, а он делал меня смешным… ах, от каких пустяков зависит на этой земле исход важнейших событий! Я закурил сигару и с умышленной грубостью бросил в спокойное и ненавистное лицо Магнуса:

— Ну ты! Довольно комедий и шарлатанства. Говори, что надо. Так ты хочешь отдать мне своего коршуна?

Магнус спокойно ответил, хотя глаза его гневно сверкнули:

— Да. Это и есть то испытание, которое я хотел предложить вам, Вандергуд. Боюсь, что я несколько поддался чувству бесполезной и бесплодной мести и в присутствии Марии говорил горячее, нежели следует. Дело в том, что все это, о чем я так живописно повествовал, страсть и отчаяние и все муки… Прометея, остались в прошлом. Теперь я смотрю на Марию без боли и даже с некоторым удовольствием, как на красивого и полезного зверька… Полезного в душевном хозяйстве, вы понимаете? Что такое Прометеева печень? Все это вздор! В сущности, я должен быть только благодарен Марии. Своими зубками она выгрызла всю мою бессмысленную *веру* и дала мне тот ясный, твердый и непогрешимый взгляд на жизнь, при котором невозможны никакие обманы и… сентиментальности. *Вы* должны это понять и испытать, Вандергуд, если хотите идти вместе с Магнусом Эрго.

Я молчал, лениво посасывая сигару. Магнус потупил глаза и продолжал еще спокойнее и суше:

— Пустынники, чтобы приучить себя к смерти, спали в гробу: пусть для вас Мария будет этим гробом, и, когда вам захочется сходить в церковь,

поцеловать женщину или протянуть руку другу, взгляните на Марию и вспомните ее *отца*, Фому Магнуса. Возьмите ее, Вандергуд, и вы скоро убедитесь в пользе моего дара. Мне она больше не нужна. И когда ваша оскорбленная душа загорится пламенем истинно человеческой неугасимой ненависти, а не дряблого презрения, приходите ко мне, я приму вас в ряды моего воинства, которое уже вскоре… Вы еще колеблетесь? Ну тогда идите ловить другие обманы, но только бойтесь мадонн и мошенников, господин из Иллинойса!

Он громко рассмеялся и залпом выпил стакан вина. Напускное спокойствие покинуло его. В его покрасневших глазах снова запрыгали огоньки хмеля, то веселые и смешливые, как огоньки карнавала, то мрачно-торжественные и дымные, как погребальные факелы у ночной могилы. Мошенник был пьян, но держался крепко и только шумел ветвями, как дуб под южным ветром. Встав передо мною, он цинично выпрямил грудь, словно весь выставляясь наружу, и точно плюнул в меня словами:

— Ну! Ты еще долго будешь думать, осел? Скорее, или я тебя выгоню. Скорее! Ты мне надоел наконец, зачем я трачу на тебя слова? О чем ты думаешь?

В голове у меня зашумело. С яростью поддергивая сползающий проклятый рукав, я ответил:

— Я думаю о том, какое ты злое, надменное, тупое и отвратительное животное! Я думаю о том, в каких источниках жизни или недрах самого ада я мог бы найти для тебя достойное наказание. Да, я пришел на эту землю, чтобы поиграть и посмеяться. Да, я сам был готов на всякое зло, сам лгал и притворялся, но ты, волосатый червяк, забрался в самое мое сердце и укусил меня. Ты воспользовался тем, что у меня человеческое сердце, и укусил меня, волосатый червяк. Как ты смел обмануть меня? Я накажу тебя.

— Ты? Меня?

Рад сказать, что Магнус казался не только изумленным, но и опешившим. Его глаза расширились и округлились, раскрытый рот наивно выставлял белые зубы. Словно с трудом дыша, он повторил:

— Ты? Меня?

— Да. Я тебя.

— Полиция?

— Ты ее не боишься? Хорошо. Пусть все твои труды ничего не стоят, пусть на земле ты останешься безнаказанным, бессовестная и злая тварь, пусть в море *лжи*, которая есть ваша жизнь, бесследно

растворится и исчезнет и твоя ложь, пусть на всей земле нет ноги, которая раздавила бы тебя, волосатый червь. Пусть! Здесь бессилен и я. *Но* наступит день, и ты уйдешь с этой земли. И когда ты придешь ко Мне и вступишь под сень Моей державы…

— Твоей державы? Постой, Вандергуд. Что же ты?

И вот здесь произошло самое позорное событие в моей земной жизни. Скажи: это смешно и стыдно, когда Сатана, хотя и вочеловечившийся, молитвенно склоняет колени перед проституткой и до нитки обкрадывается первым попавшимся проходимцем? Да, это смешно и стыдно для мудрого Сатаны, принесшего с собою дыхание вечности. Но что сказать про Сатану, который превращается в бессильного и жалкого лжеца и с треском напяливает на свою мудрую голову картонную корону театрального царя? Мне стыдно, человече. Дай мне одну из твоих оплеух, человече, которыми ты кормишь твоих друзей и наемных шутов. Или это оборванный рукав привел меня в такую безрассудную и жалкую ярость? Или это и было последним актом вочеловечения, когда дух нисходит до земли и дыханием своим метет пыль и навоз? Или *гибель*

Мадонны, при которой я присутствовал, повлекла в ту же пропасть и Сатану?

Но вот что, — ты подумай! — вот что я ответил Магнусу. Выпрямив грудь в разорванной сорочке, незаметно поддерживая рукав, чтобы он совсем не свалился, сурово и грозно глядя прямо в глупые и, как я верил, испуганные глаза мошенника Магнуса, я *торжественно* ответил:

— Я — Сатана.

Одно мгновение Магнус молчал и затем рассмеялся всем смехом, какой только может вместить пьяная, отвратительная человеческая утроба. Ты, конечно, ждешь этого, человече, но я не ждал, клянусь вечным спасением, совсем не ждал! Я что-то крикнул, но наглый хохот этого животного заглушил мой голос. Наконец, улучив минуту в раскатах его хохота, я быстро и скромно пояснил… как примечание внизу страницы, как комментарий издателя:

— Понимаешь: я вочеловечившийся Сатана. Вочеловечившийся!

Он выслушал меня, выпучив глаза, — и с новыми раскатами смеха, шатаясь от его порывов, направился к дверям, раскрыл и крикнул:

— Сюда! Идите сюда! Тут Сатана! Вочело… вочеловечившийся!

И скрылся за дверями. О, если бы я мог провалиться, исчезнуть, улететь, как истинный черт на крыльях, в эту бесконечно длившуюся минуту, пока он собирал свою *публику* для необыкновенного спектакля. И вот они появились все, будь они прокляты: и Мария, и все шестеро *сотрудников*, и мой несчастный Топпи, и сам Магнус, и в заключении шествия — его преосвященство кардинал Х.! Проклятая бритая обезьяна шла очень чинно и даже поклонилась мне, вслед за тем так же чинно уселась в кресло и расправила на коленях сутану. Все недоумевали, еще не зная точно, в чем дело, и смотрели то на меня, то на Магнуса, старавшегося быть серьезным.

— В чем дело, синьор Магнус? — благосклонно спросил кардинал.

— Позвольте доложить следующее, ваше преосвященство. Мистер Генри Вандергуд только что заявил мне, что он Сатана. Да, вочеловечившийся Сатана. Таким образом, наше предположение, что он американец из Иллинойса, падает. М-р Вандергуд — Сатана и, по-видимому, только недавно изволил прибыть из ада. Как же нам быть, ваше преосвященство?

Молчание еще могло спасти меня. Но разве можно было что-нибудь сделать с этим разъярив-

шимся Вандергудом, у которого обида бурлила в сердце! Как лакей, присвоивший себе имя своего знатного господина, что-то смутно знающий о его величии, могуществе и связях, — Вандергуд важно выступил вперед и сказал с *ироническим* поклоном:

— Да, я Сатана. Но должен добавить к речи синьора Магнуса — не только вочеловечившийся, но и ограбленный Сатана. Вам не известны, ваше преосвященство, те *два* мошенника, что ограбили меня. Не вы ли один из них, ваше преосвященство?

Один Магнус продолжал ухмыляться, все остальные стали, как мне казалось, серьезны и ждали ответа кардинала. И он последовал: бритая обезьяна оказалась недурным актером. Сделав преувеличенно испуганное лицо, кардинал поднял правую руку и произнес с выражением крайнего добродушия, противоречившего жесту и словам:

— Ваде ретро, Сатанас![15]

Не стану рассказывать, *как* они смеялись. Ты сам можешь представить это. Даже Мария слегка открыла свои зубки. Почти теряя сознание от

---

**[15] Примечания: 15**
Изыди, Сатана! (от *лат.* — Vade retro, Satane!)

бешенства и бессилия, я обратился к Топпи за сочувствием и поддержкой, но Топпи закрыл лицо руками, ежился в углу и молчал. Среди общего смеха, покрывая его, раздался тяжелый и безгранично глумливый голос Магнуса:

— Смотрите на ощипанного петуха. Это — Сатана!

И новый взрыв смеха. Его преосвященство неистово бил крылышками, захлебывался, ныл, его обезьянья неприспособленная гортань едва пропускала каскады хохота. Я бешено дернул за свой проклятый рукав, оторвал его и, размахивая им, как флагом, на всех парусах пустился в открытое море лжи. Я знал, что где-то впереди есть рифы, о которые я разобьюсь, но ураган *бессилия* и гнева нес меня, как щепку.

Мне стыдно приводить эту речь, где каждое слово дрожало и выло от бессилия. Словно сельский поп, пугающий своих невежественных прихожан, я грозил им *адом* и его дантевскими муками литературного свойства. О, я таки знал кое-что, что могло бы действительно напугать их, но как я мог выразить *необыкновенное*, что невыразимо на их языке? И я болтал о вечном огне. О вечных муках. О неутолимой жажде. О скрежете зубовном. О бесплодии жалоб и слез. И о чем еще? Ах,

даже о раскаленных крючьях болтал я, все больше распаляемый равнодушием и бесстыдством этих плоских лиц, этих маленьких глаз, этих ничтожных душ, мнивших себя безнаказанными. Но уютно, как в крепости, сидели они за стенами своего ничтожества и роковой слепоты, и распылялись все мои слова об их непроницаемые лбы! И ты подумай, единственный, кто был действительно испуган, был мой Топпи, Топпи, который один только мог знать, что эти слова мои — ложь! Это было так невыносимо глупо и смешно, когда я встретил его молящие, испуганные глаза, что я сразу, на самом высоком месте, оборвал мою речь. Еще раз и два молчаливо взмахнул оторванным рукавом, заменявшим знамя, и бросил его в угол. Мгновение мне еще казалось, что несколько испугана бритая обезьяна: синева ее щек резче выделилась на бледном квадратном лице, и угольки глаз как-то подозрительно тлели под чернотою косматых бровей, но вот она не спеша подняла руку, и тот же кощунственный шутливый возглас прервал общее молчание:

— Ваде ретро, Сатанас!

Или за этой шуткой кардинал хотел скрыть свой действительный испуг? Не знаю. Ничего не знаю. Раз я не мог ни провалить их, ни сжечь,

как Содом и Гоморру, то стоит ли толковать о мурашках и гусиной коже? От этого спасает простой стакан вина.

И Магнус, как искусный целитель душ, спокойно предложил:

— Не хотите ли стакан вина, ваше преосвященство?

— Приму с благодарностью, — ответил кардинал.

— А Сатане мы не дадим, — дополнил Магнус, наливая вино, и шутливо покосился на меня. Но теперь он мог говорить и делать что угодно: Вандергуд иссяк и висел на ручке кресла, как тряпка.

Когда вино было выпито, Магнус закурил папиросу (он курит папиросы), обвел взором слушателей, как лектор перед началом лекции, приветливо кивнул совсем поблекшему Топпи и сказал следующее… хотя он был явно пьян и глаза его налились кровью, голос его был тверд и речь размеренно спокойна:

— Должен сказать, м-р Вандергуд, что я был очень внимательным слушателем, и ваша пылкая и страстная тирада произвела на меня большое художественное, сказал бы я, впечатление… минутами вы напоминали мне лучшие

места из проповедей брата Джеронима Савонаролы. Вы не находите, ваше преосвященство, некоторого сходства? Но увы! — вы несколько отстали от времени. Те угрозы адом и вечными муками, которые могли повергнуть в панику веселую и прекрасную Флоренцию, звучат крайне неубедительно в воздухе современного Рима. *Грешников* давно нет на земле, м-р Вандергуд, — вы этого не заметили? — а для преступников и, как вы неоднократно выражались, мошенников простой комиссар полиции гораздо страшнее, нежели сам Вельзевул со всем его штабом чертей. Несколько странно, должен признаться, наряду с адскими муками и вечностью, прозвучало ваше обращение к суду истории и потомства, но и здесь вы оказались не на высоте современной мысли: теперь всякий дурак знает, что беспристрастная история с одинаковой любезностью заносит на свои скрижали как имена праведников, так и имена злодеев. Все дело в масштабе, м-р Вандергуд, вам, как американцу, это должно быть особенно понятно. И те невещественные розги, которыми история наказывает больших преступников, очень мало отличаются от ее лавров — на большом расстоянии, и эта маленькая разница положительно теряется, уверяю вас, Вандергуд,

совершенно исчезает! И поскольку двуногое желает залезть в историю — а это желание есть у всех нас, м-р Вандергуд, оно может совершенно не стесняться в выборе двери: извиняюсь перед его преосвященством, но ни одна потаскуха с улицы не принимает так охотно нового гостя, как история нового… героя. Боюсь, что ни с адом, ни с историей дело у вас не вышло, Вандергуд: лучше прямо посылайте за полицией. Ах, но боюсь, что и с полицией у вас ничего не выйдет: я еще не успел сказать вам, что его преосвященство вступил в некоторую долю в тех миллиардах, что вы совершенно законно уступили мне, и его связи… вы понимаете?

Бедный Топпи: он только моргал глазами! Сотрудники весело рассмеялись, но кардинал сердито проворчал, сжигая меня своими угольками:

— Но он нагл. Он говорит, что он — Сатана. Выставьте его вон, синьор Магнус. Это кощунство!..

— Разве? — вежливо улыбнулся Магнус. — Я и не знал, что Сатана также принадлежит к лику…

— Сатана — падший ангел, — наставительно сказал кардинал.

— И, как таковой, он также у вас на службе? Я понимаю, — вежливо кивнул Магнус и с улыбкой обратился ко мне: — Слышите, Вандергуд? Его

преосвященство недоволен вашей дерзостью.

Я молчал. Магнус лукаво подмигнул мне красными глазами и продолжал с искусственной важностью:

— Я думаю, ваше преосвященство, что здесь простое недоразумение. Я знаю скромность и вместе начитанность м-ра Вандергуда и полагаю, что к имени Сатаны он прибег как к известному художественному приему. Разве Сатана грозит полицией? А мой несчастный компаньон грозил ею. И разве вообще кто-нибудь видал *такого* Сатану?

Он эффектным жестом протянул ко мне руку, — и новый смех был ответом на эту шутку. Залился смехом и кардинал, и только Топпи качнул своей премудрой головой, как бы говоря:

— Идиоты!..

Кажется, Магнус заметил это. Или хмель снова овладел им. Или то буйство, каким пылала его душа, не могло долго держаться ни в каких плотинах, рвалось наружу. Но он угрожающе качнул своей тяжелой взрывчатой головою и крикнул:

— Довольно смеяться! Это глупо. Откуда вы все знаете? Это глупо, говорю вам. Я ни во что не верю, и оттого я все допускаю. Пожми мне руку, Вандергуд: они все глупцы, а я готов допустить,

что ты — Сатана. Только ты попал в скверную историю, дружище Сатана. Потому что я все равно тебя сейчас выгоню! Слышишь… черт.

Он погрозил мне пальцем и задумался, низко и тяжело опустив голову и сверкая красными глазами, как бык, готовый кинуться. Смущенно молчали сотрудники и обиженный кардинал. Магнус еще раз многозначительно погрозил мне пальцем и сказал:

— Если ты Сатана, то ты и здесь опоздал. Понимаешь? Ты зачем пришел сюда? Играть, ты говорил? Искушать? Смеяться над нами, людишками? Придумать какую-нибудь новую злую игру, где мы плясали бы под твою музыку? Ну так ты опоздал. Надо было приходить раньше, а теперь земля выросла и больше не нуждается в твоих талантах. Я не говорю о себе, который так легко обманул тебя и отнял деньги: я — Фома Эрго. Не говорю о Марии. Но посмотри на этих скромных маленьких друзей моих и устыдись: где в твоем аду ты найдешь таких очаровательных, бесстрашных, на все готовых чертей? А они даже в историю не попадут, такие они маленькие.

*1919*

# Александр Куприн

# Звезда Соломона
## I

Странные и маловероятные события, о которых сейчас будет рассказано, произошли в начале нынешнего столетия в жизни одного молодого человека, ничем не замечательного, кроме разве своей скромности, доброты и полнейшей неизвестности миру. Звали его Иван Степанович Цвет. Служил он маленьким чиновником в Сиротском суде, даже, говоря точнее, и не чиновником, а только канцелярским служителем, потому что еще не выслужил первого громкого чина коллежского регистратора и получал тридцать семь рублей двадцать четыре с половиной копейки в месяц. Конечно, трудно было бы сводить концы с концами при таком ничтожном жалованье, но милостивая судьба благоволила к Цвету, должно быть, за его душевную простоту. У него был малюсенький, но чистенький, свежий и приятный голосок, так себе, карманный голосишко, тенорок-брелок, — сокровище не бог весть какой важности, но все-таки благодаря ему Цвет пел в церковном хоре своего богатого прихода, за-

меняя иногда солистов, а это вместе с разными певческими халтурами, вроде свадеб, молебнов, похорон, панихид и прочего, увеличивало более чем вдвое его скудный казенный заработок. Кроме того, он с удивительным мастерством и вкусом вырезал и клеил из бумаги, фольги, позументов и обрезков атласа и шелка очень изящные бонбоньерки для кондитерских, блестящие котильонные ордена и елочные украшения. Это побочное ремесло тоже давало небольшую прибыль, которую Иван Степанович аккуратно высылал в город Кинешму своей матушке, вдове брандмейстера, тихо доживавшей старушечий век на нищенской пенсии в крошечном собственном домишке, вместе с двумя дочерьми, перезрелыми и весьма некрасивыми девицами.

Жил Цвет мирно и уютно, вот уже шестой год подряд, все в одной и той же комнате в мансарде над пятым этажом. Потолком ему служил наклонный и трехгранный скат крыши, отчего вся комнатка имела форму гроба; зимой бывало в ней холодно, а летом чрезвычайно жарко. Зато за окном был довольно широкий внешний выступ, на котором Цвет по весне выгонял в лучинных коробках настурцию, резеду, лакфиоль, петунью и душистый горошек. Зимою же на внутреннем

подоконнике шарашились колючие бородавчатые кактусы и степенно благоухала герань. Между тюлевыми занавесками, подхваченными синими бантами, висела клетка с породистым голосистым кенарем, который погожими днями, купаясь в солнечном свете и фарфоровом корытце, распевал пронзительно и самозабвенно. У кровати стояли дешевенькие ширмочки с китайским рисунком, а в красном углу, обрамленное шитым старинным костромским полотенцем, утверждено было Божие милосердие, образ Богородицы-Троеручицы, и перед ним под праздники сонно и сладостно теплилась розовая граненая лампадка.

И все любили Ивана Степановича. Квартирная хозяйка — за порядочное, в пример иным прочим, буйным и скоропреходящим жильцам, поведение, товарищи — за открытый приветливый характер, за всегдашнюю готовность услужить работой и денежной ссудой или заменить на дежурстве товарища, увлекаемого любовным свиданием; начальство — за трезвость, прекрасный почерк и точность по службе. Своим канареечным прозябанием сам Цвет был весьма доволен и никогда не испытывал судьбу чрезмерными вожделениями. Хотелось ему,

правда, и круто хотелось — получить заветный первый чин и надеть в одно счастливое утро великолепную фуражку с темно-зеленым бархатным околышем, с зерцалом и с широкой тульей, франтовато притиснутой с обоих боков. И экзамен был им на этот предмет сдан, только далеко не блестяще, особенно по географии и истории, и потому мечты носились пока в густом розовом тумане. Давно заказанная фуражка покоилась в картонке, в нижнем ящике комода. Иногда, придя из присутствия, Цвет извлекал ее на свет божий, приглаживал бархат рукавом и сдувал с сукна невидимые пылинки. Он не курил, не пил, не был ни картежником, ни волокитой. Позволял себе только разумные и дешевые удовольствия: по субботам, после всенощной, — жаркую баню с долгим любовным пареньем на полке, а в воскресенье утром — кофе с топлеными сливками и с шафранным кренделем. Изредка совершал он прогулки на вербы, на троицкое катанье, на балаганы, на ледоход и на Иордань и раз в год ходил в театр на какую-нибудь сильную, патриотическую пьесу, где было побольше действий, а также слез, криков и порохового дыма.

Была у него одна невинная страстишка, а пожалуй, даже призвание — разгадывать в жур-

налах и газетах всевозможные ребусы, шарады, арифмографы, криптограммы и прочую путаную белиберду. В этой пустяковой области Цвет отличался несомненным, выдающимся, исключительным талантом, и много было случаев, что он для своих товарищей и знакомых, выписывающих недорогие еженедельные изданьица, разгадывал шутя сложные премированные задачи. Высоким мастером был он также в чтении всевозможных секретных шифров, и об этом странном даровании Ивана Степановича наша правдивая, хотя и неправдоподобная повесть рассказывает не случайно, а с нарочитым подчеркиванием, которое станет ясным в дальнейшем изложении.

Изредка, в праздничные дни, под вечерок, заходил Цвет — и то по особо настойчивым приглашениям — в один трактирный низок под названием «Белые лебеди». Там иногда собирались почтамтские, консисторские, благочинские и сиротские чиновники, а также семинаристы и кое-кто из соборных певчих — голосистая, хорошо сладившаяся, опытная в хоровом пении компания. Толстый и суровый хозяин, господин Нагурный, страстный обожатель умилительных церковных песнопений, охотно отводил на

эти случаи просторный «банкетный» кабинет. Пелись старинные русские песни, кое-что из малорусского репертуара, особенно из «Запорожца за Дунаем», но чаще — церковное, строгого стиля, вроде «Чертог твой вижду», «Егда славнии ученицы», или из бахметьевского обихода греческие распевы. Регентовал обычно великий знаток Сребструнов от Знамения, а октаву держал сам знаменитый и препрославленный Сугробов, бродячий октавист, горький пьяница и сверхъестественной глубины бас. Хозяину Нагурному петь раз навсегда было строго запрещено, вследствие полного отсутствия голоса и слуха. Он только дирижировал головой, делал то скорбное, то строгое, то восторженное лицо, закатывал глаза, хлюпал носом и — старый, потертый крокодил — плакал настоящими, в орех величиною, слезами. И часто, разнежившись, ставил выпивку и закуску.

На этих любительских концертах Иван Степанович, случалось, не мог отказаться от стакана-другого пива, от рюмочки сантуринского или кагора. Но приятнее ему было все-таки скромно угостить хорошего знакомого, чаще всего — волосатого и звероподобного октависта Сугробова, к которому он питал те же почтительные, бояз-

ливые, наивные и влюбленные чувства, какие испытывает порою пылкий десятилетний мальчуган перед пожарным трубником в сияющей медной каске.

## II

Двадцать шестое апреля пришлось как раз в воскресенье, в храмовой праздник прихода, где пел Иван Степанович. Кроме обычной обедни, была еще отслужена заупокойная литургия, заказанная вдовой именитого купца Солодова, по случаю мужниных сороковин. Певчие, старавшиеся вовсю, были награждены расплакавшеюся купчихой с неслыханной щедростью (поговаривали, что покойный сильно поколачивал в хмелю свою супругу и что еще при жизни мужа она утешалась с красавцем старшим приказчиком). После литургии пропели панихиду на дому, а к поминальному обильному столу, вместе с духовенством и нарочито приглашенным соборным протодьяконом, был позван и церковный хор.

День закончился в «Белых лебедях» настоящим разливанным морем, и как-то само собой случилось, что Цвет, всегда умеренный и не любивший вина, выпил гораздо более того, что ему было

допущено привычкой и натурой. Но от этого он вовсе не потерял своих милых и теплых внутренних свойств, а, наоборот, забыв о всегдашней застенчивости и слегка распахнувшись душой, стал еще добрее и привлекательнее. С нежной предупредительностью подливал он пиво в стаканы то октависту Сугробову, то огромному протодьякону Картагенову, которого без особых усилий компания затащила в ресторанный подвальчик. Восторженно слушал он, как эти две городские знаменитости, оба красные, потные, мохнатые, с напружившимися жилами на шеях, переговаривались через стол рокочущими густыми голосами, заставлявшими тяжело и гулко колебаться весь воздух в низкой и просторной комнате. Обнимал он также и многократно целовал жеманного, курчавого и толстого Сребростурунова, уверял, что место ему по его великим талантам быть не регентом в маленьком губернском городе, а по крайней мере управлять придворной капеллой или московским синодальным хором, и клятвенно обещался подарить к именинам Сребростурунова золотой камертон с надписью и к нему — замечательный футляр из красного сафьяна, собственноручной работы.

В этот вечер пели мало и не по-всегдашнему

стройно: сказались усталость и купеческое широкое хлебосольство. Но говорили много, громко, возбужденно и все разом. Высокие носовые и горловые ноты теноровых голосов плыли и дрожали на фоне струнного басового гудения, точно сверкающая рябь солнечного заката на глубокой полосе спокойной, широкой реки. И Цвету мгновеньями казалось, что он сам среди пестрого говора, в синих облаках табачного дыма, пронизанного мутными пятнами огней, тихо плывет куда-то в темную даль, испытывая сладкое, сонное, раздражающее головокружение, какую-то приятную, лазурную, с алыми пятнами одурь. Порою отдельные куски разговора вставали перед ним с необыкновенной, преувеличенной яркой ясностью.

— Я и не скрываю. Чего мне скрывать? — говорил смуглый, угреватый и мрачный баритон Карпенко. — Есть у меня один выигрышный билет. Первого мая ему розыгрыш. Хоть он и заложенный, а все-таки я его сколотил на мои кровные труды, и никому до этого нет никакого дела. Вот назло выиграю первого мая двести тысяч и брошу к чертовой матери и хор и службу. И заживу паном. Положу деньги под закладную дома из десяти процентов. Проценты буду прожи-

вать, а капитал не трону. Двадцать тысяч в год. Буду обедать у Смульского, а за обедом портвейн пить по два с полтиной бутылка. Попробуйте-ка у меня тогда занять денег. А н-ни копейки, ни грошика. Н-никому! Зась!

— Го-го-го! — загрохотал оглушительно Картагенов. — Я раз выиграл на билет пятьсот рублей.

— Как это так, отец дьякон? На билет от конки?

— Ничуть не бывало. Взаправду. Мой батька, как вам, может быть, известно, был, вроде меня, соборным протодьяконом, но только не здесь, а в Москве. И голосом он обладал ужасающим, вроде царя-колокола или самолетского парохода. Что я перед ним? Моз-гляк! — рявкнул Картагенов, и от его возгласа заколебались огненные языки в лампах. — Однажды ему за свадебного апостола купцы подарили шесть выигрышных билетов. Тогда они еще по сту с небольшим ходили. Вот он, значит, все эти билеты перетасовал и роздал, как карты, не глядя, и потом на каждом надписал имена: свое, маменькино и нас четверых: мое, двух братьев и сестренкино. И засунул за образа.

Однако не застраховал. Побоялся искушения. Сказано в Писании: «Не надейтеся ни на князи, ни на сыны человеческие». И положил он между

нами всеми такой нерушимый уговор: если кто выиграет пятьсот рублей, тому выигрыш идет целиком, малолеткам — ко дню их совершеннолетия. А на руки — немедленная единовременная премия, в пропорции возраста. Мне, например, было высчитано рубль сорок копеек. Если же на чей билет падет больше, то все деньги делятся между участниками и хранятся по уговору, хотя счастливцу все-таки выдается увеселительный наградной куш. За тысячу — три рубля, за пять тысяч — десять и так далее, с благоразумным уменьшением процентов. За двести же тысяч — пятьдесят целковых, по тогдашнему времени — целый корабль с мачтами и еще груженный золотом.

Пришло первое мая. Отец нарочно купил газету, надел очки и смотрит. Глядь — готово. Мой номер. Цифра в цифру. Так и напечатано: вышел в тираж погашения нумер такой-то, серия такая-то. Что такое за штука тираж — никому не было тогда известно: ни отцу, ни знакомым. Но, посоветовавшись с кое-какими ближними мудрецами, так и порешили, что, должно быть, слово это означает тоже выигрыш, а может быть, — почем знать? — и в удвоенном размере? Батька по этому поводу совершил обильное возлияние, а

мне на радостях было выдадено в задаток рубль и сорок копеек. Устроил я в тот же день Валтасарово пиршество. Купил на улице полный бочонок грушевого квасу и весь лоток моченых груш. Угостился с приятелями квантум сатис[16], даже до полного расстройства стомаха[17].

Наутро батька попер с газетным листом на Ильинку к менялам, справиться, где и как получить выигранные деньги. Ему там и объяснили все его невежество. «Плакали, мол, отец дьякон, твои сто рубликов, а билет ты можешь оправить в рамку и повесить у себя в кабинете, как вечную память твоей глупости». Обиделся он самым свирепым образом. Вернулся домой, точно грозовая туча. И прямо ко мне: «Скидывай портки!» — «За что, папенька?» — «А за то, за самое. Не обжорствуй моченными грушами, в них бо есть блуд!» И такую прописал мне ижицу ниже спины, что и до сих пор вспомнить щекотно. А остальные пять билетов в тот же день продал. «Не хочу, — сказал, — потворствовать мошенническим аферам». Вот и все.

— Маловато, — заметил кто-то иронически.

---

**[16] Примечания: 16**
Вдоволь (от *лат.* quantum satis).

**[17] Примечания: 17**
Желудка (от *греч.* stomachos).

— А что же? — возразил другой. — Хоть день, хоть час, а все-таки счастье. Разные там мечты, надежды, планы…

Все на минуту как-то задумчиво умолкли. Первым заговорил Сребструнов:

— Если бы мне двести тысяч, я объездил бы Россию, все города и захолустья, и набрал бы самый замечательный в мире хор. И пел бы я с ним в Москве. А потом стал бы концертировать по Европе. Везде: в Париже, в Лондоне, в Риме, в Берлине. И приобрел бы я всесветную славу. А Сугробова кормил бы сырым мясом и показывал в клетке за особую плату. Потому что за границей таких зверей еще не видывано.

— Ве-ерно, — протянул протодьякон низким, мягким и густым басом.

— Да-а, — подтвердил Сугробов на кварту ниже. — А я бы, — заговорил он с оживлением, — я бы сто пятьдесят этак тысяч отдал жене и сказал бы: «Вот тебе отступное. Живи себе как хочешь, пой, играй, пляши, а я — до свидания. Попилили меня десять лет, попили моей крови, пора и честь знать». И ушел бы я на волю. Засим тридцать тысяч отделю в общий великий вселенский пропой, а на остальное куплю хату, на манер собачьей конуры, но с садом и огородом. И буду возрощать

плоды и ягоды. И кор-не-пло-ды… — закончил он в нижнее контр-ля.

Многие засмеялись. Им было давно известно, в каком рабском подчинении держала этого могучего, черноземного, стихийного человека его жена — маленькая, тощая, языкатая женщина, ходячая злая скороговорка, первая ругательница на всем Житнем базаре.

И сразу весь банкетный кабинет закипел общим горячим разговором. Как это часто бывает, соблазнительная тема о всевластности денег волшебно притянула и зажгла неутолимым волнением этих бедняков, неудачников и скрытых честолюбцев, людей с расшатанной волей, с неудовлетворенным аппетитом к жизни, с затаенной обидой на жестокую судьбу. И тут сказалась, точно вывернувшись наизнанку, истинная, потаенная буднями натура каждого. Мечтали вслух о вине, картах, вкусной еде, о роскошной бархатной мебели, о далеких путешествиях в экзотические страны, о шикарных костюмах и перстнях, о собственных лошадях и громадных собаках, о великосветской жизни в обществе графов и баронов, о театре и цирке, об интрижке со знаменитой певицей или укротительницей зверей, о сладком ничегонеделании

с возможностью спать сколько угодно часов в сутки, о лакеях во фраках и, главное, о женщинах, о целом гареме из женщин, о женщинах всех цветов, ростов, сложений, темпераментов и национальностей.

Пожилой консисторский чиновник Световидов, умный, желчный и грубый человек, сказал ядовито:

— Ни у кого из вас нет человеческого воображения, милые гориллы. Жизнь можно сделать прекрасной при самых маленьких условиях. Надо иметь только вон там, вверху над собой, маленькую точку. Самую маленькую, но возвышенную. И к ней идти с теплой верою. А у вас идеалы свиней, павианов, людоедов и беглых каторжников. Двести тысяч — дальше не идут ваши мечтания. Но, во-первых, у вас у всех в общей сложности имеется наличного капитала один дырявый пятиалтынный. Во-вторых, ни у кого из вас не хватит выдержки сэкономить хотя бы сто рублей на покупку выигрышного билета. Карпенко, наверно, приобрел свой билет, зарезав родную тетку во время сна. И когда он выиграет двести тысяч, то как раз в тот же день его гнусное преступление раскроется и его, раба божьего, повлекут в тюрьму. А в-третьих, даже и с билетом

в кармане вероятность первого выигрыша равна одному шансу на десять миллионов, то есть почти нулю или бесконечно малой дроби. Стало быть, все, что вы говорите сию минуту, — одно суесловие, раздражение пленной и жалкой мысли. Двести тысяч! Что за скудость фантазии!

— Ему бы миллион, — сказал чей-то недружелюбный голос в конце стола. — Известно, консистория — место хлебное, а глаза у нее завидущие.

— А что же? — спокойно возразил Световидов, даже не обернувшись. — Мечтать о несбыточном, так мечтать пошире. Миллионов десять — это, скажем, недурно. Можно прожить умно, полезно и со вкусом. Но почему бы вдруг не сделаться, по мановению волшебного жезла, например, царем?

Но и тогда ваши телячьи головы ничего острого не вообразят. Знаете, есть побасенка. Русского рязанского мужичка спросили: «Что бы ты, Митенька, делал, если бы был царем?» — «А я бы, — говорит, — сидел целый день у ворот на завалинке и лузгал бы семечки. А как кто мимо идет — в морду. Как мимо — так в морду». Ваша готтентотская фантазия не намного дальше хватает. Явись хоть сейчас к вам, к любому, дьявол

и скажи: «Вот, мол, готовая запродажная запись по всей форме на твою душу. Подпишись своей кровью, и я в течение стольких-то лет буду твердо и верно исполнять в одно мгновение каждую твою прихоть». Что каждый из вас продал бы свою душу с величайшим удовольствием, это несомненно. Но ничего бы вы не придумали оригинального, или грандиозного, или веселого, или смелого. Ничего, кроме бабы, жранья, питья и мягкой перины. И когда дьявол придет за вашей крошечной душонкой, он застанет ее охваченной смертельной скукой и самой подлой трусостью.

Световидов замолчал, и никто не возразил ему. Слова его были подобны ледяному компрессу на пылающую голову. Только кто-то, скрытый в синем табачном дыму, спросил из угла, обращаясь к Цвету:

— Эй ты, Иоанне Цветоносный. А ты бы что бы? А?

— Я? — встрепенулся Цвет. Он блаженными, блестящими глазами уставился на лампу, и тотчас же от ее огня отделился другой огонь и легко поплыл вправо и вверх. — Я бы? Мне ничего не надобно. Вот хоть бы теперь… светло, уютно…

компания милых, хороших товарищей… дружная беседа… — Цвет радостно улыбнулся соседям

по столу. — Я хотел, чтобы был большой сад… и в нем много прекрасных цветов. И многое множество всяких птиц, какие только есть на свете, и зверей… И чтобы все ручные и ласковые. И чтобы мы с вами все там жили… в простоте, дружбе и веселости… Никто бы не ссорился… Детей чтобы был полон весь сад… и чтобы все мы очень хорошо пели… И труд был бы наслаждением… И там ручейки разные… рыба пускай по звонку приплывает…

— Словом — рай! — прервал его Световидов.

А протодьякон, сидевший рядом, обнял Цвета, крепко притиснул к своей исполинской груди и одним сердечным поцелуем обмусолил его нос, губы, щеки и подбородок. И взревел ему в самое ухо:

— Ваня! Друг! Ангелоподобный!

Но в эту минуту появился хозяин трактира с третьим и последним напоминанием: «Во всем ресторане огни уже потушены. Пора расходиться. А то от полиции выйдут неприятности». Стали расходиться.

Цвет возвращался домой в самом чудесном настроении духа. С нежным чувством глядел он, как на небе среди клубистых, распушенных облаков стремительно катился ребром серебряный

круг луны, пролагая себе золотисто-оранжевый путь. И пел он на какой-то необычайно прекрасный собственный мотив собственные же слова акафиста всемирной красоте: «Земли славное благоутробие и благоухание и небеси глубино торжественная, людие веселием играша воспевающе…»

Взбирался он к себе на чердак очень долго, балансируя между стеной и перилами. По привычке бесшумно отпер наружную дверь, аккуратно разделся и лег в постель, поставив возле себя на стуле зажженную свечу. Взял было утреннюю недочитанную газету. Но буквы сливались в мутные полосы, а полосы эти принимали вращательное движение. Наконец веки, отяжелев, сомкнулись, и сознание Цвета окунулось в бездонную темноту и в молчание.

## III

— Извиняюсь за беспокойство, — сказал осторожно чей-то голос.

Цвет испуганно открыл глаза и быстро присел на кровати. Был уже полный день. Кенарь оглушительно заливался в своей клетке. В пыльном, золотом солнечном столбе, лившемся косо из

окна, стоял, слегка согнувшись в полупоклоне и держа цилиндр на отлете, неизвестный господин в черном поношенном, старинного покроя, сюртуке. На руках у него были черные перчатки, на груди — огненно-красный галстук, под мышкой древний помятый, порыжевший портфель, а в ногах у него на полу лежал небольшой новый ручной саквояж желтой английской кожи. Странно знакомым показалось Цвету с первого взгляда узкое и длинное лицо посетителя: этот ровный пробор посредине черной, седеющей на висках головы, с полукруглыми расчесами вверх, в виде приподнятых концов бабочкиных крыльев или маленьких рожек, этот большой, тонкий, слегка крючковатый нос с нервными козлиными ноздрями; бледные, насмешливо изогнутые губы под наглыми воинственными усами; острая длинная французская бородка. Но более всего напоминали какой-то давнишний, полузабытый образ — брови незнакомца, подымавшиеся от переносья круто вкось прямыми, темными, мрачными чертами. Глаза же у него были почти бесцветны или, скорее, в слабой степени напоминали выцветшую на солнце бирюзу, что очень резко, холодно и неприятно противоречило всему энергичному, умному, смуглому лицу.

— Я стучал два раза, — продолжал любезно, слегка скрипучим голосом незнакомец. — Никто не отзывается. Тогда решил нажать ручку. Вижу, не заперто. Удивительная беспечность. Обокрасть вас — самое нехитрое дело. Знаете, есть такие специалисты воры, которые только тем и занимаются, что ходят по квартирам «на доброе утро». Я бы, конечно, не осмелился тревожить вас так рано. — Он извлек из жилетного кармана древние часы, луковицей, с брелоком на волосяном шнуре, в виде Адамовой головы, и посмотрел на них. — Теперь три минуты одиннадцатого. И если бы не крайне важное и неотложное дело… Да нет, вы не волнуйтесь так, — заметил он, увидя на лице Цвета испуг и торопливость. — На службу вам сегодня, пожалуй, и вовсе не придется идти…

— Ах, это ужасно неприятно, — конфузливо сказал Цвет. — Вы меня застали неодетым, погодите немного. Я только приведу себя в порядок и сию минуту буду к вашим услугам.

Он обул туфли, накинул на себя пальто и выбежал в кухню, где быстро умылся, оделся и заказал самовар. Через очень короткое время он вернулся к своему гостю освеженный, хотя с красными и тяжелыми от вчерашнего кутежа веками. Из-

винившись за беспорядок в комнате, он присел против незнакомца и сказал:

— Теперь я готов. Сейчас нам принесут чай. Чем обязан чести…

— Сначала позвольте рекомендоваться, — посетитель протянул визитную карточку. — Я ходатай по делам. Зовут меня Мефодий Исаевич Тоффель.

«Странно. И фамилия как будто бы знакомая», — подумал Цвет. Он слегка наклонил голову и с недоумением в глазах пробормотал:

— Очень приятно… Но я…

— Один момент… Простите, что перебиваю вас. Вашего покойного батюшку звали, если не ошибаюсь, Степаном Николаевичем. Не так ли?

— Совершенно точно.

— Хорошо. Значит, старшего его братца, тоже ныне покойного, имя-отчество было Аполлон Николаевич? Верно?

— Верно. Но мне лично не приходилось ни разу в жизни видеть его. Я только изредка слышал о нем кое-что по семейным воспоминаниям родителей. Но это было уже очень давно… Так, какие-то мелочи… и мне очень совестно, что я, кажется, совсем забыл их.

— Это вовсе и не важно. Пара пустяков, — небрежно махнул рукой ходатай и тотчас же,

раскрыв свой потертый портфель, вытащил из него с ловкостью фокусника и выкинул на стол одну за другой несколько бумаг разного формата. — Для нас самое главное в нашем деле то, что ваш почтенный дядюшка был при жизни большим оригиналом, то есть мизантропом, нелюдимом и даже, говорят, алхимиком. Словом — что называется — чудаком.

— Да, я что-то слышал в этом роде. Но помню это смутно, точно сквозь сон. Наша семья вообще не поддерживала с ним никаких связей. Утеряли их. Впрочем, без всякой ссоры.

— Так. Теперь ближе к делу. Десять лет тому назад ваш дядюшка волею судьбы покинул земную юдоль. Для вас это событие, очевидно, не имело никакого существенного значения, кроме вполне естественного сознания горестной утраты. А между тем после Аполлона Николаевича осталось небольшое наследство, состоящее из нескольких сот десятин недвижимости в Черниговской губернии: земля, лесок и довольно значительная усадьба со старым барским домом. Лет восемь это имущество считалось бесхозяйным, почти вымороченным. А так как я специально занимаюсь розысками по таким, неведомо кому принадлежащим имуществам, то, узнав случайно про

Червоное, я и пошел по обратным жизненным следам вашего покойного дядюшки. Положение мое было довольно тяжелое. Завещания нет, законные наследники не объявляются. Соседи по имению знакомства с Аполлоном Николаевичем не вели, видели его только издали и подозревали, что он был или масон, или изобретатель, или анархист — какое ему дело до завещания? Крестьяне же все убеждены, что он занимался чародейством и, пожалуй, даже продал душу дьяволу. Но путем разных намеков и умозаключений я стал медленно пробираться по этапам жизни вашего дядюшки и вот, наконец, в Витебске, в полусго-ревшем архиве нотариуса, набрел на подлинное, хотя и очень старинное завещание, по которому земля и усадьба, с постройками и со всем живым и неживым инвентарем, должны перейти к старшему в роде. По наведенным справкам, этим старшим в роде являетесь вы, глубокоуважаемый Иван Степанович, с чем я и имею честь вас искренно поздравить.

Тоффель, сидя, поклонился. Цвет покраснел и протянул ему руку. Пожатие руки, обтянутой в черную перчатку, было твердо и сухо.

— И чтобы не быть голословным, — продолжал Тоффель, — позвольте предоставить вам все до-

кументы, ясно доказывающие ваши права. Вот завещание. Вот ввод во владение… Наследственные и иные пошлины. Вот расписка в получении поземельных и прочих налогов, с прибавкой пеней за истекшие годы. Вот трата-та, тра-та, — забарабанил ходатай казенными словами и пестрыми дробными цифрами.

Говоря таким образом, он с прежней привычной ловкостью быстро подсовывал Цвету одну за другой бумаги, четко написанные и набранные на машинке, отмеченные круглыми печатями, чернильными и сургучными, и украшенные мудреными завитушками подписей и росчерков.

«Как его звать? — подумал Цвет и поглядел на карточку, потом на Тоффеля. — Удивительно знакомое имя. И где же я, наконец, видел эту странно-памятную, необычайную физиономию?» И он сказал вслух с некоторой робостью:

— Но видите ли, почтенный Мефодий Исаевич. Все это так неожиданно… Я ничего не понимаю в подобных делах. И потом, ведь это так далеко Черниговская губерния…

— Стародубский уезд, — подсказал Тоффель.

— Вот видите. Я положительно теряюсь и должен поневоле просить ваших указаний… Кроме того, ваши любезные хлопоты… Вы уж будьте

добры сами назначить сумму вознаграждения.

Тоффель дружелюбно рассмеялся и слегка, очень вежливо, притронулся к коленке Цвета.

— Гонорар — второстепенный вопрос. Не обидим друг друга. Я наводил о вас справки. Простите, мы, деловые люди, не можем иначе. И повсюду я получил о вас сведения, как о самом порядочном, честном человеке, как о настоящем джентльмене, к тому же весьма щедрого характера. За себя на этот счет я покоен. Ну, скажем, двадцать, пятнадцать процентов с казенной оценки? Если это вам покажется чрезмерным, я удовольствуюсь десятью.

— О нет, пожалуйста, пожалуйста. Пусть будет двадцать.

— Признателен, — поклонился Тоффель. — И теперь, раз уже вы сами сделали мне честь просить моего совета, позволяю себе усердно рекомендовать вам: немедленно же, как можно скорее, ехать в Черниговщину и осмотреть имение. Я даже буду настаивать, чтобы вы отправились сегодня же.

— Позвольте, но это уже совсем немыслимо. Надо выпросить отпуск… Необходимо достать денег на дорогу… Собраться… И мало ли еще что?

— Пара пустяков, — самодовольно и ласково

возразил ходатай. — Во-первых, вот вам ваш отпуск. Я его выхлопотал за вас еще сегодня утром через вашего экзекутора Луку Спиридоновича.

К чести его надо сказать, что взял он с меня совсем немного и с готовностью побежал к председателю. Оба они рады вашему счастью, как своему собственному. Вы положительно баловень фортуны. Пожалуйте.

— Вы — волшебник, — прошептал изумленно Цвет, рассматривая свой месячный, по семейным надобностям, отпуск, подписанный председателем и скрепленный экзекутором. И даже почерк текста чуть-чуть походил на почерк самого Цвета, хотя Иван Степанович сейчас же подумал, что все каллиграфические рондо схожи одно с другим.

— И насчет денег не беспокойтесь. Мой долг — это уж так водится у нас, адвокатов, — ссудить вас заимообразно необходимой суммой, разумеется, под самые умеренные проценты. Будьте добры пересчитать. В этой пачке ровно тысяча. Нет, нет, вы уж потрудитесь послюнить пальчики. Деньги счет любят. А вот и расписка, которую я заранее заготовил, чтобы не терять напрасно дорогого времени. Черкните только: «И. Цвет» — и дело в шляпе.

Цвет был ошеломлен.

— Вы так любезны и предупредительны… что я… что я… право, я не нахожу слов.

— Сущий вздор, — фамильярно, но учтиво отстранился ладонью Тоффель. — Пара пустяков. А вот теперь, когда формальности покончены, осмелюсь преподнести вам еще один сюрприз.

Из портфеля прежним чудесным способом появились два картонных обрезочка.

— Это билет первого класса до станции Горы-нище, а это — плацкарта на нижнее место. Билеты взяты на сегодня. Поезд отходит ровно в одиннадцать тридцать. Пароконный извозчик дожидается нас у подъезда. Вам, следовательно, остается только положить в карман паспорт и записную книжку, надеть шляпу, взять в руку тросточку и затем: «Andiam, andiam, mio caro…»[18] — пропел очень фальшиво, козлиным голосом Тоффель. — А с вашего разрешения, я пособлю вам уложиться!

— Ах, что вы, помилуйте… Ради бога! — смутился Цвет.

Лицо Тоффеля сморщилось шутливой, но весьма отвратительной гримасой.

— Экий вы щепетильный какой. Но в таком

---

**[18] Примечания: 18**
Пойдем, пойдем, мой дорогой… *(ит.)*

случае не откажите уж принять от меня небольшой дорожный подарочек — вот этот саквояж. Нет, нет, убедительно прошу не отказываться. Я нарочно выбирал эту вещицу для вашего путешествия. Вы меня обидите, не приняв ее. Подумайте, ведь я с вас заработаю немалый куртаж[19].

— Спасибо, — сказал Цвет. — Прелестная вещь. — Он чувствовал себя неловко, точно связанным, точно увлекаемым чужой волей. Минутами неясная тревога омрачала его простое сердце. «Какая изысканная заботливость со стороны этого чужого человека, — думал он, — и как поразительно скоро совершаются все события! Право — точно во сне. Или я и в самом деле сплю? Нет, если бы я спал, то не думал бы, что сплю. И лицо, лицо… Где же я его видел раньше?»

— Но как все это необыкновенно, — сказал он из глубины шкафа, где перебирал свои туалетные принадлежности. — Если бы мне вчера кто-нибудь предсказал сегодняшнее утро, я бы ему в глаза рассмеялся.

Он медлил, но Тоффель с дружеской настойчивостью, одновременно почтительной и развязной, продолжал погонять его.

---

**[19] Примечания: 19**
Вознаграждение, комиссионные (от *фр.* courtage).

— Ах, молодой человек, молодой человек… Как мало в вас предприимчивости. Впрочем, и все мы, русские, таковы: с развальцей, да с прохладцей, да с оглядочкой. А драгоценное время бежит, бежит, и никогда ни одна промелькнувшая минута не вернется назад. Ну-с, живо, по-американски, в три приема. Ваши новые ботинки за дверью. Я попросил горничную их вычистить. Вас, может быть, удивляет, что я вас так тороплю? Но, во-первых, я и сам не имею ни секунды свободной. Вот провожу вас, и сейчас же мне надо скакать в уезд, по срочным делам. Волка ноги кормят. Ничего, ничего… Одевайтесь при мне без всякого стеснения. Я — мужчина. А во-вторых, сами посудите, что выйдет хорошего, если вы проканителитесь в городе несколько лишних дней? Ведь теперь уже всем вашим знакомым и множеству незнакомых известно через экзекутора о свалившемся на вашу голову наследстве. О, мне хорошо известна человеческая натура. Начнут клянчить взаймы, потребуют вспрыснуть получку, добрые мамаши взрослых дочерей устроят на вас правильную облаву с загоном. Вы — человек слабый, мягкий, уступчивый, — хороший товарищ. Еще завертитесь, чего доброго, и наделаете долгов. Я знаю такие примеры. А тут еще подвернется какое-ни-

будь этакое соблазнительное увлечение, вроде красотки из кондитерской, как та, — помните? — полная блондинка за прилавком у Дюмона, первая от окна, с сапфировыми глазками? Право, слушайте вы меня, старого воробья. Я худу не учу. Тем более, что вы с первого взгляда внушили мне самую глубокую, можно сказать отеческую, симпатию. Вы только не обращайте на меня внимания, укладывайтесь, укладывайтесь! А я тем временем передам вам кое-какие нужные сведения. Простыней и подушек, пожалуйста, уж не берите с собой. Все дадут вам в спальном вагоне, а в усадьбе есть много прекрасного, тонкого голландского белья. И сорочек много не надо. Две, три перемены. Возьмите мягкие, fantaisie. Немного платков и носков. Прескверная у нас привычка путешествовать с целым караван-сараем. По этой примете всегда за границей узнают русских. Берите только то, что уместится в саквояж. Остальное лишнее. Едете всего на два, на три дня.

Ну так слушайте же. Имение, правду говоря, хоть и не заложено, но в страшном забросе. Триста с небольшим десятин. Из них удобной земли полтораста, и ту запахали дружественные поселяне. Владение обставлено сотнями идиотских

неудобств. Чересполосица, рядом чиншевые наделы, до сих пор существует не только сервитутное право, но даже в силе какая-то, черт бы ее побрал, «улиточная запись». Нет, совсем серьезно уверяю вас, что есть и такие юридические курьезы! Мое мнение — землю продать. Возиться с ней — это, как говорят поляки, «более змраду, як потехи». Тут не только вы с вашей полной неопытностью, но даже первый выжига, кулак, практик сядет в калошу…

Вы выбираете галстуки? Советую вам этот, черный с белыми косыми полосками. Он солиднее… Остается усадьба. Она велика, но мрачна и на сыром месте. Фруктовый сад стар, запущен и выродился без ухода. Инвентаря — никакого. Дом — сплошная рухлядь, гнилая труха. Деревянная, источенная червями двухэтажная постройка времен Александра Первого, с кривыми колоннами и однобоким бельведером. На него дунуть — рассыплется. Стало быть, и усадьбу побоку. Вы только осмотритесь там на месте, а я уж здесь, будьте покойны, приищу вам невредного покупателя. Вряд ли и вещи сколько-нибудь ценные найдутся в доме. Все — хлам. Осталась там небольшая библиотека, но она вас мало заинтересует. Все больше по оккультизму, теософии и черной

магии… Ведь вы человек верующий? — Тоффель, не оборачиваясь, кивнул головой назад, на образа. И, должно быть, от этого движения судорога скрутила ему шею, потому что он болезненно сморщился. — И вам, такому свежему, милому, не след, да и будет скучно заниматься сумасбродной ерундой. Вы лучше эту пакость сожгите! А? Право, сожгите. Я говорю из чувства личной, горячей симпатии к вам. Обещаете сжечь? Да? Хорошо? Ну, дайте же, дайте мне слово, прелестный, добрый Иван Степанович.

— Даю, даю. Сделайте милость. Господи!..

— Крр… — издал ходатай горлом странный трескучий звук.

— Что с вами? — заботливо спросил Цвет.

— Ничего, ничего, не беспокойтесь… Немного поперхнулся. Что-то попало в дыхательное. Ну, вы, кажется, готовы? Так едемте же. На вокзале у нас еще хватит времени слегка позавтракать и распить за здоровье нового помещика бутылочку поммери-сек. Нет, уж вы выходите первым. Я за вами. По-румынски. Вот так.

Через час этот энергичный, всезнающий, все предвидящий делец услужливо подсаживал Цвета на ступеньки вагона первого класса. В последнюю минуту как-то само собой очутилась

в его руках изящная, небольшая плетеная корзиночка. Подавая ее вверх, в руки Цвета, он сказал с приятной улыбкой:

— Не откажите принять. Это так… дорожная провизия… немного икры, рябчики, телятина, масло, яйца и другая хурда-мурда. И парочка красного, мутон-ротшильд. Не поминайте же лихом. Ждите от меня телеграммы… А если будет надобность, телеграфируйте мне сюда, в Бель-вю. До свидания. Не хочу затруднять нелепым торчанием у вагона. Мои комплименты.

И галантно поцеловав кончики обтянутых черной перчаткой пальцев, он скрылся в толпе.

## IV

Дорога промелькнула необыкновенно быстро. Ни разу еще в своей жизни не путешествовал Цвет с такими широкими удобствами, и никогда не бежало так незаметно для него время. Попадались ему очень любезные спутники — вежливые, внимательные, разговорчивые без навязчивости. Сладко и глубоко спал Цвет две ночи под плавное укачивание пульмановских рессор, а днем любовался из окна на реки, поля, леса и деревни, проходящие мимо и назад, или основательно и

с толком закусывал в светлом нарядном вагоне-ресторане, где на блестящих снежных скатертях раскачивали свои яркие головки цветы, а за столами сидели обычные дамы поездов-экспрессов: все, как на подбор, большие, пышнотелые, роскошно одетые, самоуверенные, с громким смехом и французскими словами, — женщины, пахнувшие крепкими, терпкими духами. Для него они были созданиями с другой планеты и возбуждали в нем любопытство, удивление и стеснительное сознание собственной неловкости.

Одно только беспокоило и как-то неприятно, пугающе раздражало Цвета в его праздничном путешествии. Стоило ему только хоть на мгновение возвратиться мыслью к конечной цели поездки, к этому далекому имению, свалившемуся на него точно с неба, как тотчас же перед ним вставал энергичный, лукавый и резкий лик этого удивительного ходатая по делам — Тоффеля, и появлялся он не в зрительной памяти, где-то там, внутри мозга, а показывался въявь, так сказать, живьем. Он мелькал своим крючконосым, крутобровым профилем повсюду: то на платформе среди суетливой станционной толпы, то в буфете первого класса в виде шмыгливого вокзального лакея, то воплощался в затылке, спине и походке

поездного контролера. «Просто какое-то наваждение, — думал тревожно Цвет. — Неужели так прочно запечатлелся в моей душе этот странный человек, что я, даже отделенный от него большим пространством, все-таки брежу им так сильно и так часто».

К концу вторых суток Цвет сошел на станции Горынище и нанял за три рубля сивоусого дюжего хохла до Червоного. Когда Цвет по дороге объяснил, что ему надо не в деревню, а в усадьбу, возница обернулся и некоторое время рассматривал его с пристальным и бесцеремонным любопытством.

— Так-таки до самого, до паньского фольварку? — спросил он, наконец, недоверчиво. — До того Цвита, що вмер?

— Да, в имение, в господский дом, — подтвердил Иван Степанович.

— Эге ж, — старик чмокнул на лошадей губами. — А вы сами из каких будете?

Цвет рассказал вкратце о себе. Упомянул и о наследстве и о родстве. Старик медленно покачал головой.

— Эх, не доброе дило… Не фалю.

— Почему не хвалите, дядя?

— А так… Не хочу…

И замолчал. Так они в безмолвии проехали около двенадцати верст до села Червоного, раскинувшегося своими белыми мазанками и кудрявой зеленью садов на высоком холме над светлой речонкой, свернули через плотину и подъехали к усадьбе, к чугунным сквозным воротам, распахнутым настежь и криво висевшим на красных кирпичных столбах. От них вела внутрь заросшая дорога, посредине густой аллеи из древних могучих тополей. Вдали серела постройка, белели колонны и алым отблеском дробилась в стеклах вечерняя заря. У ворот старик остановил лошадей и сказал решительно:

— Вылазьте, ну, панычу. Билышь не поиду.

— Как же это так не поедете? — удивился Цвет. — Осталось ведь немного. Вон и дом виден.

— Ни. Не поиду. А ни за пьять корбованцив. Не хочу.

Цвет вспомнил слова Тоффеля о дурной славе, ходившей среди крестьян про старую усадьбу, и сказал с принужденной усмешкой:

— Боитесь, верно?

— Ни. Ни трошки не боюсь, а тилько так. Платите мини мои гроши, тай годи.

Попросив возчика подождать немного, Цвет один пошел по темной, прохладной аллее к дому.

Тоффель говорил правду. Постройка оказалась очень древней и почти развалившейся. Покривившиеся колонны, некогда обмазанные белой известкой, облупились и обнажили гнилое, трухлявое дерево. Кой-где были в окнах выбиты стекла. Трава росла местами на замшелой, позеленевшей крыше. Флюгер на башенке печально склонился набок. В саду, под коряво разросшимися деревьями, стояла сырая и холодная темнота. Крапива, лопухи и гигантские репейники буйно торчали на местах, где когда-то были клумбы. Все носило следы одичания и запустения.

Цвет обошел вокруг дома. Все наружные двери — парадная, балконная, кухонная и задняя, ведшая на веранду из разноцветных стекол, — были заперты на ключ. С недоумением, скукой и растерянностью вернулся Цвет к экипажу.

— А где бы мне здесь, дяденька, ключи достать? — спросил он. — Всюду заперто.

— А чи я знаю? — равнодушно пожал плечами мужик. — Мабудь у господина врядника, чи у станового, чи у соцького, а мабудь у старосты альбо учителя. Теперички вси забули про цее бисово кубло. И хозяина нема ему. Вы мене, прошу, звините, а тильки люди недоброе балакают про вашего родича. Бачите — такее зробилось,

що, кажуть, поступил он на службу до самого до чертяки… И загубил свою душу, а ни за собачий хвист. И вас, панычу, нехай боронит Господь Бог и святый Мыкола.

Он едва заметным движением перекрестил пуговицу на свитке. Внезапно откуда-то сорвался ветер. Обвисшая половина ворот пошатнулась на своих ржавых петлях и протяжно заскрипела.

«Точь-в-точь как голос Тоффеля», — подумал Цвет. И в тот же миг рассердился на себя за это назойливое воспоминание.

— А ну, седайте, панычу, скорийше и поидеме до села, — сказал хохол.

Опять пришлось переправляться через плотину и подыматься вверх в Червоное. После долгих розысков, наводивших суеверный ужас на простодушных поселян, Цвет отыскал, наконец, след ключей, которые, оказалось, хранились уже много лет у церковного сторожа. Сообщил ему об этом священник. У него Иван Степанович немного передохнул и даже выпил чашку чая, пока толстопятая дивчина Гапка бегала за сторожем.

Батюшка говорил, поглаживая рукой пышную седеющую бороду и сверля Цвета острыми, маленькими, опухшими глазками:

— Как человек до известной степени интелли-

гентный, я отнюдь не разделяю глупых народных примет и темных суеверий. Но как лицо духовное, не могу не свидетельствовать о том, что в творениях отцов церкви упоминается, и даже неоднократно, о всевозможных кознях и ухищрениях Князя тьмы для уловления в свои сети слабых душ человеческих. И потому, во избежание всяких кривотолков и разных бабьих забубонов, позволяю себе предложить вам хоть на сию ночь мое гостеприимство. Постелят вам вот здесь, в гостиной, на диванчике. Не весьма роскошно и, пожалуй, узковато, но, извините, чем богаты… А дом успеете осмотреть завтра утром. Поглядите, какая темь на дворе.

Цвет обернулся к окнам. Они были черны. Ему хотелось принять предложение священника, потому что изморенное дорогой тело просило отдыха и сна, но какое-то властное и томительное любопытство неудержимо тянуло его назад, в старый заброшенный дом. Он поблагодарил и отказался.

Пришел церковный сторож, древний маленький старичок, уже не седой, а какой-то зеленоватый, и так скрюченный ревматизмом, что казалось, он все время собирается стать на четвереньки. В руках он держал большой фонарь

и связку огромных ржавых ключей. На прощание батюшка дал Цвету запасную свечу и пригласил его на завтра к утреннему чаю.

— Если что понадобится, рад служить. По-соседски. Как-никак, а будем жить рядом. Но простите, что не провожаю лично. Народ у нас сплетник и дикарь, и даже многие склоняются к унии.

Ночь была темна и беззвездна, с легким теплым ветром. Светло-желтое, мутное пятно от фонаря причудливо раскачивалось на колеях, изборождавших дорогу. Цвет не видел своего провожатого, шедшего рядом, и с трудом разбирал его слабый, тонкий, шамкающий голос. Старик, по его словам, оказывался единственным бесстрашным человеком во всем Червоном, но Цвет чувствовал, что он привирает для собственной бодрости.

— Чего мне бояться. Я ничего не боюсь. Я — солдат. Еще за Николая, за Первого, севастопольский. И под турку ходил. Солдату бояться не полагается. Пятнадцать лет я сторожем при церкви и на кладбище. Пятнадцать лет моя такая должность. И скажу: все пустое, что бабы брешут. Никаких нет на свете ни оборотней, ни привидениев, ни ходячих мертвяков. Мне и ночью доводится иной раз сходить на кладбище. В случае воры или шум

какой — и вообще. И хоть бы что. Которые умерли, они сплят себе тихесенько на спинке, сложивши ручки, и ни мур-мур. А нечистая сила, так это она в прежние времена действовала, еще когда было припасное право, когда мужик у помещика был в припасе. Тогда, бывало, иной землячок, отчаявшись, и душу продавал нечистому. Это бывало. А теперь вся чертяка ушла на зализную дорогу да на пароходы, чтоб ей пусто было. Вот еще по электричеству работает.

Старик, а за ним Цвет прошли через ворота, уныло поскрипывавшие голосом Тоффеля, вдоль черной аллеи, глухо шептавшей невидимыми вершинами, до самого дома. Долго им обоим пришлось повозиться с ключами. Покрытые древней ржавчиной, они с трудом влезали в замки и не хотели в них вращаться. Наконец, после долгих усилий, подалась кухонная дверь. Кажется, она не была даже заперта, а просто уступила сильному толчку.

Старик ушел, отдав Ивану Степановичу свой фонарь. Цвет остался в пустом и незнакомом доме. Он не испытывал страха: ужас перед сверхъестественным, потусторонним был совершенно чужд его ясной и здоровой душе, — но от дороги у него сильно болела голова, все тело чувствовало себя

разбитым, и где-то глубоко в сознании трепетало томительное любопытство и смутное предчувствие приближающегося необычайного события. С фонарем в руке обошел он все комнаты нижнего этажа, странно не узнавая самого себя в высоких старинных, бледно-зеленых зеркалах, где он сам себе казался кем-то чужим, движущимся в подводном царстве. Шаги его гулко отдавались в просторных пустынных покоях, и было такое ощущение, что кто-то может проснуться от этих звуков. Обои оборвались, отклеились и свисали большими колеблющимися лоскутами. Все покоробилось, сморщилось от времени и издавало тяжелые старческие вздохи, кряхтение, жалобные скрипы: и иссохшийся занозистый паркет, и резные раскоряченные стулья, и кресла красного дерева, и причудливые фигурные диваны, с выгнутыми, в виде раковин, спинками. Огромные шатающиеся хромоногие шкафы и комоды, картины и гравюры на стенах, покрытые слоями пыли и паутины, бросали косые, движущиеся тени на стены. И тень от самого Цвета то уродливо вырастала до самого потолка, то падала и металась по стенам и по полу. Тяжелые драпри на окнах и дверях слегка пошевеливали своими мрачными глубокими складками, когда мимо

них проходил одинокий, затерянный в безлюдном доме человек.

По винтовой узенькой лестнице Цвет взобрался наверх, во второй этаж. Там все комнаты были завалены и заставлены всяким домашним скарбом: поломанной мебелью, кучами тканей, сундуками, рогожами, корзинами, связками старых газет. Но две комнаты сохранили живую своеобразную физиономию. Одна из них раньше служила, вероятно, спальней. В ней до сих пор еще сохранились умывальник, туалетный стол и зеркальный гардеробный шкаф. Вдоль стены стоял прекрасный старинный турецкий диван, обитый оленьей кожей, такой ширины и длины, что на нем могли бы улечься поперек шесть или семь человек. На полу лежал огромный, чудесных красных тонов, текинский ковер. Другая комната, несколько больших размеров, сразу удивила и очаровала Цвета. Она одновременно походила и на редкостную любительскую библиотеку, и на кабинет чертежника, и на лабораторию алхимика, и на мастерскую кузнеца. Больше всего занимал места зияющий черной пастью горн с нависшим челом, сложенный из массивного прокопченного кирпича; около него, сбоку, на подставке, помещались раздувательные двойные меха. Один круглый

треногий стол был уставлен ретортами, колбами, пробками, тиглями, мензурками, термометрами, весами всяких родов и многими другими инструментами, смысл и назначение которых Цвет не в состоянии был постичь. Однако он заметил, что на многих из хрустальных флакончиков, наполненных порошками и жидкостями, приклеены были этикеты с рисунком мертвой головы или с латинской надписью «venena»[20].

Другой стол, ясеневый, большой, на козлах, похожий на обычные чертежные столы, был завален папирусными свитками, записными книжками, исчерченными и исписанными листами бумаги, циркулями, линейками, а также книгами всяких форматов. Впрочем, книги были повсюду: на стульях, на полу и главным образом на дубовых полках, прибитых вдоль стен, в несколько этажей, где они стояли и лежали в полнейшем беспорядке, все очень старинного, солидного вида, большинство in folio[21], в толстых кожаных переплетах, на которых тускло поблескивало золотое тиснение.

Два предмета на ясеневом столе привлекли

---

**[20] Примечания: 20**
*Яд (лат.).*

**[21] Примечания: 21**
Форматом в половину бумажного листа *(лат.).*

особенное внимание Цвета: небольшая, в фут длиною, черная палочка; один из концов ее обвивала несколько раз золотая змейка с рубиновыми глазами; а также шар величиною в крупное яблоко из литого мутного стекла или из полупрозрачного камня, похожего на нефрит, опал или на сардоникс. Палочка была тяжела, как свинцовая или налитая ртутью, и чрезвычайно холодна на ощупь. Шар же, когда его взял в руку Цвет, поразил его своей легкостью, хотя не было сомнения в том, что он состоял из сплошной массы. От него исходила странная, точно живая, теплота, и в глубине его, в самом центре, рдел странный, густой и, в зависимости от поворотов около фонаря, то бархатно-зеленый, то темно-фиолетовый крошечный огонек. Поверхность его под пальцами давала ощущение, подобное тому, какое дают тальк, стеарин, мыло или слюда. Но чувствовалось, что он прочен, как стальной.

Поставив фонарь на стол, Цвет опустился возле него в глубокое старинное, мягкой кожи кресло и, движимый каким-то необъяснимым, бессознательным любопытством, точно управляемый чьей-то чужой нежной, но могучей волей, потянулся за одной из лежавших на столе книг, переплетенной в ярко-красный сафьян, и рас-

крыл ее.

На самом верху первой, обычно пустой страницы выцветшими рыжими чернилами, очевидно гусиным пером, четким старинным почерком с раздельными буквами в словах, с «н», похожим на «т», и «д» — на «п», тем характерным почерком конца восемнадцатого столетия, который так наивно схож с печатным курсивом того времени, было очаровательно-красиво выведено:

«Сия книга замет, наблюдений и опытов начата Отставным Лейб-гвардии Поручиком князем Никитой Федоровичем Калязиным Апреля 11-го дня, 1786-го года в усадьбе Свистуны, Калязинской вотчины, Пензенской губернии».

Несколько ниже, посредине страницы, круглым почерком николаевских времен со множеством завитков над большими буквами и с закорючками на хвостах выступающих букв, вроде «р», «д», «у», «з» и тому подобное, стояло:

«Сию книгу разыскал на ларьке у Сухаревой башни 24-го апреля 1848 года и того же числа приступил к ее продолжению дворянин Сергей Эрастович Гречухин.

Москва, Сивцев-Вражек, свой дом».

И еще ниже — мелким, легким, грациозным, без малейших нажимов, своеобразным почерком

умницы, скупца, фантазера и математика:

«По мере слабых сил буду продолжать этот великий труд, оставленный мне по завещанию, как неоцененный дар, моим учителем и другом. Надворный советник Аполлон Цвет. 1899 г. Апреля 3-го, ус. Червоное, Черниг. губ., Стародубского у.».

С почтительным, тревожным и умильным чувством принялся Цвет бережно перелистывать одну за другой твердые, как картон, желтые, как слоновая кость, страницы.

Но содержание книги было выше тех средств, которыми Цвет располагал. На каждом шагу попадались в ней места, а порою и целые страницы, писанные по-французски и по-немецки, часто полатыни, реже по-гречески, иногда же встречалась пестрая восточная вязь — не то арабская, не то еврейская. Из латинских слов Цвет еще кое-как, с трудом, напрягая усиленно память, понимал десятое слово (он когда-то в свое время дошел до четвертого класса классической гимназии), но целых изречений одолеть не мог. Русский текст двух первых владельцев книги был также чрезвычайно тяжел для уразумения. Он был написан тем старинным высокопарным, таинственным и туманным слогом, каким писали прежде розенкрейцеры, а потом масоны.

Сравнительно понятнее были русские строки, набросанные изумительно красивым, прихотливым, тонким почерком покойного Цвета. Но смысл их был или иносказателен, или содержал неинтересные, сухие и краткие заметки о погоде, об атмосферических явлениях, о некоторых открытиях в области химии, физики и астрономии, о кончинах никому не известных и ничем не замечательных людей.

Зато многие места в дядином писании были, очевидно, зашифрованы, потому что представляли из себя, по первому взгляду, полную бессмыслицу. Однако Цвету после небольших попыток удалось найти ключ. Он был не особенно обычен, но и не чрезвычайно труден. Оказалось, надо было в каждом слове, вместо первой его буквы, подставлять букву, следующую за нею в порядке алфавита, вместо второй — третью, вместо третьей — четвертую и так далее. Таким образом, в этих секретных записях буква «а» значила местоимение «я», буква «к» — союз «и», «пессв» расшифровывались в «огонь», часто встречающийся знак «ехт» значил — «дух», «тнсжу» — читалось, как «слово», нелепое «грлбсп» означало «возьми».

Но и раскрытие шифра не повлекло за собой

ничего нового. Разгаданные фразы выходили запутанными, величественными и темными, подобно изречениям оракулов или духов на спиритических сеансах. Чтобы их одолеть, надо было быть алхимиком, астрономом, герметистом или теософом. Цвет же был всего-навсего скромным сиротским чиновником и лишь недурным разгадывателем невинных журнальных ребусов и шарад. Однако через несколько минут его способность к раскрыванию замаскированных речей все-таки пригодилась ему.

Вся книга была вперемежку с текстом испещрена множеством странных рецептов, сложных чертежей, математических и химических формул, рисунков, созвездий и знаков Зодиака. Но чаще всего, почти на каждой странице, попадался чертеж двух равных треугольников, наложенных друг на друга так, что основания их противолежали друг другу параллельно, а вершины приходились — одна вверху, другая внизу, и вся фигура представляла из себя нечто вроде шестилучной звезды с двенадцатью точками пересечений. Чертеж этот так и назывался в дядюшкином шифре «Звездой Соломона».

И всегда «Звезда Соломона» сопровождалась на полях или внизу столбцом из одних и тех же

семи имен, написанных на разных языках: то по-латыни, то по-гречески, то по-французски и по-русски:

Асторет (иногда Астарот или Аштарет).

Асмодей.

Велиал (иногда Ваал, Бел, Вельзевул).

Дагон.

Люцифер.

Молох.

Хамман (иногда Амман и Гамман).

Видно было, что все три предшественника Цвета старались составить из букв, входящих в имена этих древних злых демонов, какую-то новую комбинацию, — может быть, слово, может быть, целую фразу, — и расположить ее по одной букве в точках пересечения «Звезды Соломона» или в образуемых ею треугольниках. Следы этих бесчисленных, но, вероятно, тщетных попыток Цвет находил повсюду. Три человека последовательно, один за другим, в течение целого столетия, трудились над разрешением какой-то таинственной задачи: один — в своей княжеской вотчине, другой — в Москве, третий — в глуши Стародубского уезда. Одно диковинное обстоятельство не ускользнуло от внимания Цвета. Как фантастически ни перестраивали и ни склеива-

ли буквы прежние владельцы книги, всегда и неизбежно в их работу входили два слога: Sa-tan.

Яснее всего о бесплодности этих попыток высказался Аполлон Цвет в своей последней заметке на двести тридцать шестой странице. Там стояли следующие зашифрованные слова, продиктованные отчаянием и усталостью:

«Подумать только? Семнадцать букв. Из них надо выбрать тринадцать. Пять найдено: Sa-tan. Два раза «А». Итого четыре. Еще одиннадцать. Или восемь? Или буквы опять повторяются? По теории чисел возможны миллионы комбинаций, сочетаний и перемещений. Ключ к страшной формуле Гермеса Трисмегиста утерян. Кем? Великим Парацельсом? Или этим всесветным бродягой и авантюристом Калиостро? Все мы бредем ощупью, и только безумный случай может прийти на помощь счастливцу. Или воля мудрых пропала безвозвратно?»

Ниже этих строк, немного отступя, стояли еще три строки, исписанные очень неразборчиво, дрожащей рукой:

«Чувствую упадок сил. Заканчиваю свой труд. Все напрасно! Передаю следующему за мной. В ключе формула. В формуле — сила. В силе — власть.

*А. Цвет».*

У Ивана Степановича в кармане была записная книжка, а в ней всегда находился анилиновый карандаш. Цвет достал его, послюнил и с решимостью вдохновения написал на первой странице следующее:

«26-го апреля 19**года сию книгу нашел в ус. Червоное и труд почтенных предшественников продолжен. Канц. Служ. И. Цвет. Червоное».

И когда он снова развернул книгу наудачу, на середине, она открылась как раз там, где лежала странная закладка: тонкая из желтоватой массы таблетка вершков четырех в квадрате с вырезанным на ней рисунком «Звезды Соломона» и множество крошечных сантиметровых квадратиков из того же матерьяла; на каждом из них была выгравирована и выведена черным лаком латинская буква. Цвет перевернул книгу, взявшись за оба корешка, и сильно потряс ее. Еще несколько квадратиков с легким стуком упали на стол. Цвет пересчитал: их было сорок четыре.

«Странно, — подумал он. — Неужели мне суждено открыть то, что не давалось трем умным и образованным людям на протяжении целого века? Ну, что же… попробуем…»

В фонаре свеча догорала. Цвет зажег запасную,

подержал ее тупой конец на огне и прилепил свечу прямо на стол, фонарь же задул. Теперь ему стало светлее, уютнее и точно теплее. Он придвинулся еще ближе к столу и склонился над таблеткой. Ветер перестал трепаться за окнами. В комнате стояла глубокая, равномерная тишина. И у Цвета было такое чувство, что он один во всем мире сидит за своими костяшками в малом, тихом, освещенном пространстве, а жизнь — где-то далеко, в темноте, в прошедшем, в будущем. Громко тикали карманные часы.

Прежде всего он сложил из косточек и выровнял столбцом, как умел, имена этих злых и кровожадных богов. У него получилось ровно семь строк, по одному имени в каждой.

Astoret
Asmodeus
Dagon
Hamman
Lucifer
Moloh
Velial

И если он составлял их немного безграмотно или нескольких квадратиков ему не хватало, то, во всяком случае, все сорок четыре костяшки пошли у него в дело, и уже больше не было сомне-

ния в том, что он правильно стоит на пути своих предшественников.

Потом он сложил по кучкам все одинаковые буквы. Кучек оказалось семнадцать. «Опять верно, — подумал Цвет. — Но в формулу входит только тринадцать. Четыре лишних. И почем знать — не повторяется ли какая-нибудь буква два или три раза в «Звезде Соломона»?

В звезде всего двенадцать точек, значит, тринадцатая, и, верно, самая важная, пойдет в середину. Если начать со слова Satan, то не поместить ли S в центре внутреннего шестиугольника? И правда, у дядюшки сказано несколько страниц назад: «Титул имени могущественного духа совмещает в себе мудрость змеи и блеск солнца». Конечно — S». И Цвет поставил эту букву в центре шестиугольника, а по сторонам расположил другие буквы — a, t, a, n.

Начало вышло довольно удачным, но дальше дело не пошло, а темные указания покойного Аполлона Цвета не приносили никакой пользы. Насилуя свою память, Цвет придумывал самые ужасные фразы и составлял их из костяшек: Voco te, Satanoe! Advoco te, Satan! Veni huc, Satana[22].

---

**[22] Примечания: 22**

Зову тебя, сатана! Призываю тебя, сатана! Приди, сатана *(лат.)*.

Но он сам чувствовал инстинктом, что заблуждается.

И вдруг у него мелькнула в голове одна мысль, до того простая и даже пошлая, что она, наверно, никак не могла прийти в голову прежним, углубленным в высокую и тайную науку мудрецам. Пересмотреть квадратики на свет!

Через минуту его догадка дала блестящий результат. Он мог бы надменно торжествовать над бесплодными столетними поисками предков, если бы по натуре не был так скромен. Из всех сорока четырех квадратиков, которые он поочередно подносил к свече, тринадцать *совершенно не пропускали света.* Это были следующие буквы: a, a, e, f, g, i, m, n, o, o, r, s, t. И в них также входили буквы, составляющие страшное, мудрое и блестящее имя Satan. Оставалось только решить участь остальных восьми букв: e, g, i, m, o, o, r, f. И поэтому, спрятав лишние косточки в карман, Цвет терпеливо и внимательно принялся передвигать маленькие квадратики по тем пунктам, где пересекались линии красивой шестиугольной фигуры со змеевидным S в центре. Делал он это левой рукой, а правой рассеянно постукивал по таинственному легкому шару черной палочкой, которую машинально взял со стола.

Теперь он воочию убедился в бесконечном разнообразии расположения букв, слогов и слов. Он пробовал читать по линиям «Звезды Соломона» справа и слева, сверху и снизу, по часовой стрелке и обратно. У него получились необыкновенные фантастические слова вроде: афит, ониг, гано, офт, офир, мего, аргме, обхари, тасеф, нилоно и так далее. Но они ничего не значили ни на каком из языков. Тогда, продолжая постукивать палочкой по шару, Цвет стал пробовать выговорить все тринадцать букв в любом возможном для произношения порядке. «Танорифогемас, Морфогенатаси, Расатогоминфе...» Голова его отяжелела. Уныние и усталость все сильнее овладевали им. И вдруг... точно вдохновение подхватило Цвета, и его волнистые волосы выпрямились и холодным ежом встали на голове.

— Афро-Аместигон! — воскликнул он громко и ударил палочкой по шару. Жалкий тонкий писк раздался на столе. Цвет поднял глаза и сразу выпрямился от изумления и ужаса. Странный шар раздался до величины арбуза. Внутри его ходили, свиваясь, какие-то дымные, сизые, густые клубы, похожие на тучи во время грозы, и зловещим кровавым заревом освещал их изнутри невидимый огонь. А на шаре стояла на задних

лапах огромная черная крыса. Глаза ее светились голубым фосфорическим блеском. Из раскрытой красной пасти выходил жалобный визг. И вся крысиная морда была поразительно похожа на чье-то очень знакомое лицо. «Мефодий Исаевич Тоффель! — мелькнуло быстро в памяти Цвета. — Меф-ис-тоффель!»

Он замахнулся палкой и крикнул на весь дом:

— Кш! Проклятый! Брысь! Афро-Аместигон!

Он сам не знал, почему у него назвалось это фантастическое имя. Но крыса тотчас же исчезла, точно растаяла. Вместо нее из темноты выдвинулась огромной величины козлиная голова с дрожащей бородой, с выпученными фосфорическими глазищами, с шевелящимися губами, мерзко и страшно похожими на человеческое лицо. Отвратительно и остро запахло в комнате козлиным потом.

— Мэ-э-э! — угрожающе заблеял козел и наклонил рога.

— Ах, так? — крикнул в исступлении Цвет. — Афро-Аместигон!

Из всей силы он пустил тяжелой палкой в козлиную морду. Но не попал. Удар пришелся по огненному шару. Раздался страшный грохот, точно взорвался пороховой погреб. Ослепительное

пламя рванулось к потолку. Серный удушливый ураган дохнул на Цвета.

И он потерял сознание.

## V

Должно быть, от усталости и перенесенных волнений с ним приключился длительный обморок, перешедший потом, сам собою, в глубокий каменный сон. Проснулся он потому, что узенький солнечный луч, пробившийся длинной золотой спицей сквозь круглую молеедину в темно-вишневой занавеси окна, долго скользил по шее, по губам и по носу Цвета, пока, наконец, не уперся ему в глаз и защекотал своим жгучим прикосновением.

Цвет зажмурился, чихнул, открыл глаза и сразу почувствовал себя таким бодрым, свежим, легким и ловким, как будто бы все его тело потеряло вес, как будто кто-то внезапно снял с его груди и спины долго стеснявшую тяжесть, как будто ему вдруг стало девять лет, когда люди более склонны летать, чем передвигаться по земле.

Он вовсе не удивился тому, что проснулся одетым и лежащим не в лаборатории, а в смежной спальной комнате, на широком замшевом

диване, и что под головой у него была старинная атласная, вышитая шелковыми цветами подушка, неизвестно откуда взявшаяся. Но все, что произошло с ним вчера в кабинете полусумасшедшего алхимика, совершенно исчезло, выпало из его памяти, точно кто-то стер губкой все события этой странной и страшной ночи. Он помнил только, как пришел вечером в дом, остался один и пробовал от нечего делать читать какую-то древнюю рукописную старческую дребедень. Но устал смертельно и сам не знает, как дотащился до дивана.

Он быстро вскочил, подбежал к окну, отодвинул тяжелую занавеску, скользнувшую костяными кольцами по деревянному шесту, и распахнул форточку. С наслаждением почувствовал, что никогда еще его движения не были так радостно легки и так приятно послушны воле. Зелень, лазурь и золото прохладного весеннего утра радостно вторгнулись в душный, много лет непроветренный покой.

«Ах, хорошо жить! — подумал Цвет, глубоко, с трепетом вдыхая воздух. — Только вот стаканчик бы чаю… А как его достанешь?»

Тотчас же сзади него скрипнула дверь. Он обернулся. В комнату входил вчерашний ветхий

церковный сторож, с трудом неся перед собой маленький, пузатый, ярко начищенный самовар.

— Добрый день, паныч, — прошамкал он в свою зеленую бороду. — А вы так хороший кусок сна хватили. Дверь оставили незачинивши. То-то молодость. Я вот чайку вам скипятил. Подождите трошки, я зараз принесу.

Через минуту он вернулся с подносом, на котором стояла чайная посуда, лежал белый домашний хлеб, нарезанный щедро, толстыми кусками; был и мед в блюдечке, и сливки, и старый съеженный временем лимон.

— Самовар я у батюшки-попа занял, — деловито объяснял сторож. — А цитрону достал у лавочника. Я знаю, что паны любят чай с цитроной пить. Я ведь и вашему дядьке прислуживал. Вчера запомнил вам сказать. Дурная голова стала. Что давношнее, еще за Севастополь, хорошо помню, а что поближе — вовсе растерял. Кушайте на здоровьечко.

— Садитесь и вы, дедушка, — предложил Цвет. — Давайте стакан, я вам налью.

— Покорнейше благодарю, ваше благородие. Не откажусь. Если водочку изволите по утрам употреблять, это я тоже могу сбегануть. Близко. Не надо? Ну, как ваше желание.

Старик сосал беззубым ртом сахар, тянул чай с блюдечка и понемногу разговорился. Сбивался часто на Николаевскую железную службу и на военные походы, но кое-что с трудом вспомнил и об Аполлоне Николаевиче. Покойный Цвет, по его словам, был пан добрый, никого не обижал, не был ни сутягой, ни гордецом, но жил большим нелюдимом. Хозяйство у него вела старая и презлющая одноокая женщина, он ее привез с собою из Питера в Червоное. А за дворней и за лошадью ходил солдат — большой грубиян и пьяница. Никого из соседей у себя Цвет не принимал, но и сам ни к кому не ездил. А что он как будто бы занимался по черным книгам — все это бабьи сплетни. В церкву, правда, не ходил, ну, да это, как сказать, — каждый может свою веру справлять сам по себе. Вот у нас есть на Червоном и в Зябловке такие, что тоже в церкву не ходят, а просто у себя по воскресеньям собираются в хате и читают в книгу. А живут ничего себе, хорошо… Не пьют, не курят, в карты не играют… Чисто вокруг себя, ходят… Брешут, что будто бы насчет баб у них непорядок…

Сначала Цвет с беззаботным, светлым равнодушием слушал болтовню старика. Но понемногу до его обоняния стал достигать и тревожить отда-

ленный, а потом все более заметный запах гари. Запах этот сделался, наконец, так силен, что даже сторож его услышал.

— А уж не горит ли что у нас часом? — спросил он, бережно ставя блюдце на стол.

— И то, горит, — согласился Цвет. — Пойду посмотрю.

Он вышел в кабинет, сопровождаемый старцем. На большом столе дымно и ярко пылала развернутая книга в красном сафьяновом переплете. Цвет быстро сообразил, что он вчера, должно быть, забыл потушить свечу, и она, догорев, упала фитилем на страницу и передала огонь.

— А ну кидайте ее в печку, ваше благородие, — посоветовал храбрый старик. — Давайте я.

Цвет протянул было руку, чтобы помешать сторожу.

— Оставьте. Можно потушить.

Но книга уже полетела в черный разверстый рот горна и запылала в нем весело и бурливо.

— От так! — крякнул с удовольствием сторож. — Туда ее, к чертовой матери.

— А и правда, — спокойно согласился Цвет и повернулся спиной к камину. И совсем в этот момент он не вспомнил тех часов, которые провел в минувшую ночь, склонившись над красной

книгой. Но почему-то ему внезапно сделалось скучно…

С помощью сторожа он открыл кое-где в зале и гостиной забухшие, прогнившие ставни, и огромные комнаты при дневном свете показались во всем своем пустом, неприглядном и запущенном виде, говорившем о грязной, тоскливой, разлагающейся старости. Всюду по углам темными, колеблющимися занавесками висела паутина, закоптелые, потрескавшиеся потолки были черны, мебель, изъеденная временем и крысами, кособокая и покоробленная, разверзала свои внутренности из волос, рогожи и пружин. Деревянные ветхие стены кое-где просвечивали сквозными дырами наружу. Пахло затхлостью, мышами, грибами, плесенью, погребом и смертью…

— Ну, и хлам! — сказал Цвет, качая головой.

— И правда, — согласился сторож. — В нем если жить, то надо с опаской. Того гляди, развалится. И чинить нет расчета. Надо новый ставить.

По шатким, искрошившимся ступеням Цвет спустился в сад. Но там было еще грустнее, еще острее чувствовалось забвение, заброшенность, одичание места. Дорожки густо заросли травою, трухлявые заборы покосились, почернели и позе-

ленели, перебитые стекла маленькой оранжереи отливали грязно-радужными полосами.

Чувство одиночества, усталости и тоски вдруг так сильно охватило Цвета, что он физически почувствовал его томление в горле и груди. Для чего он тащился на край света? Кому нужна эта рухлядь? Крошечная комната в городе, на верху шестого этажа, под гробоподобной крышкой представилась ему во всей привлекательности милого привычного уюта. «Ах, хорошо бы поскорее домой, — подумал он. — Ни за что здесь не стану жить».

В эту минуту по дороге послышался колокольчик. Потом донеслись звуки колес. Какой-то экипаж остановился у ворот.

— Никак почта из Козинец? — сказал сторож. — У нее такой звонок.

Цвет торопливо вышел на тополевую аллею. Навстречу ему приближался почтальон, высокий, длинный малый, молодой, веселый. Рыжие курчавые волосы буйно торчали у него из-под лихо сбитой набок фуражки. Голубые глаза бойко блестели на веснушчатом лице.

— Господин Цвет? Это вы? Вам телеграмма! — крикнул почтальон на ходу. — С приездом имею честь.

Цвет распечатал и развернул серый квадратный пакет. Телеграмма была от Тоффеля.

*«Козинцы нарочным.*
*Червоное усадьба помещику Цвету.*
*Выезжайте немедленно нашел покупателя пока сорок тысяч постараюсь больше привет Тоффель».*

Цвета самого несколько поразило то странное обстоятельство, что в первое мгновение он как будто не мог сообразить, что это за человек ему телеграфирует, и лишь с некоторым, небольшим усилием вспомнил личность своего ходатая. Но тому, что его мысль о продаже усадьбы так ловко совпала с появлением телеграммы, он совершенно не удивился и даже над этим не задумался.

— Надо, дедушка, мне ехать обратно, — сказал он деловито. — Как бы лошадь достать в селе?

— А вот не угодно ли со мной? — охотно предложил почтальон. — Мне все равно на станцию ехать. Я и телеграмму вашу по пути захватил из Козинец. Кони у нас добрые. Дадите ямщику полтинник на водку — мигом доставит. И как раз к курьерскому.

— Мало погостили, — заметил древний церковный сторож. — А и то сказать, что у нас вам за

интерес?.. Человек вы городской, молодой... Покорнейше благодарю, ваше благородие... Тяпну за ваше здоровье... Пожелаю вам от души всяких успехов в делах ваших. Дай вам...

— Ладно, ладно, — весело перебил Цвет. — Подождите, я только сбегаю за чемоданом и — езда!

## VI

Когда мы глядим на освещенный экран кинематографа и видим, что на нем жизненные события совершаются обыденным, нормальным, разве лишь чуть-чуть усиленным темпом, то это означает, что лента проходит мимо фокуса аппарата со скоростью около двадцати последовательных снимков в секунду. Если демонстратор будет вращать рукоятку несколько быстрее, то соразмерно с этим ускорятся все жесты и движения. При сорока снимках в секунду люди проносятся по комнате, не подымая и не сгибая ног, точно скользя с разбегу на коньках; извозчичья кляча мчится с резвостью первоклассного рысака и кажется стоногой; молодой человек, опоздавший на любовное свидание, мелькает через сцену с мгновенностью метеора. Если, наконец, демонстратору придет в голову блажной каприз еще

удвоить скорость ленты, то на экране получится одна сплошная, серая, мутная, дрожащая и куда-то улетающая полоса.

Именно в таком бешеном темпе представилась бы глазам постороннего наблюдателя вся жизнь Цвета после его поездки в Червоное. Сотни, тысячи, миллионы самых пестрых событий вдруг хлынули водопадом в незаметное существование кроткого и безобидного человека, в это тихое прозябание божьей коровки. Рука невидимого оператора вдруг завертела его жизненную ленту с такой лихорадочной скоростью, что не только дни и ночи, обеды и ужины, комнатные и уличные встречи и прочая обыденщина, но даже события самые чрезвычайные, приключения неслыханно-фантастические, всякие сказочные, небывалые чудеса — все слилось в один мутный, черт знает куда несущийся вихрь.

Изредка как будто бы рука незримого оператора уставала, и он, не прерывая вращения, передавал рукоятку в другую руку. Тогда сторонний зритель этого живого кинематографа мог бы в продолжение четырех-пяти секунд, разинув от удивления рот и вытаращив глаза, созерцать такие вещи, которые даже и не снились неисчерпаемому воображению прекрасной Шахразады, услаждав-

шей своими волшебными рассказами бессонные ночи царя Шахриора. И всего замечательнее было в этом житейском, невесть откуда сорвавшемся урагане то, что главный его герой Иван Степанович Цвет совсем не удивлялся тому, что с ним происходило. Но временами испытывал тоскливую покорность судьбе и бессилие перед неизбежным.

Слегка поражало его — хотя лишь на неуловимые, короткие секунды — то обстоятельство, что сквозь яркий, радужный калейдоскоп его бесчисленных приключений очень часто и независимо от его воли мелькала, — точно просвечивающие строчки на обороте почтовой бумаги, точно водяные знаки на кредитном билете, точно отдаленный подсон узорчатого сна, — давнишняя знакомая обстановка его мансарды: желтоватенькие обои, симметрически украшенные зелеными венчиками с красными цветочками; японские ширмы, на которых красноногие аисты шагали в тростнике, а плешивый рыбак в синем кимоно сидел на камне с удочкой; окно с тюлевыми занавесками, подхваченными голубыми бантами. Эти предметы быстро показывались в общем сложном, громоздком и капризном движении и мгновенно таяли, исчезали, как дыхание на

стекле, оставляя в душе мимолетный след недоумения, тревоги и странного стыда.

Началось все это кинематографическое волшебство на станции Горынище, куда около полудня приехал Цвет, сопровождаемый услужливым почтальоном. Этот случайный попутчик оказался премилым малым, лет почти одинаковых с Иван Степановичем, но без его стеснительной скромности, — веселым, предприимчивым, здоровым, смешливым, игривым и легкомысленным, как годовалый щенок крупной породы. Должно быть, он простосердечно, без затей, с огромным молодым аппетитом глотал все радости, которые ему дарила неприхотливая жизнь в деревенской глуши: был мастер отхватить коленце с лихим перебором на гитаре, гоголем пройтись соло в пятой фигуре кадрили на вечеринке у попа, начальника почтовой конторы или волостного писаря, весело выпить, закусить и в хоре спеть верным вторым тенорком «Накинув плащ, с гитарой под полою», сорвать в темноте сеней или играя в горелки быстрый, трепетный поцелуйчик с лукавых, но робких девичьих уст, проиграть полтинник в козла или в двадцать одно пухлыми потемневшими картами и с гордостью носить с левого бока огромную, не вынимающуюся из

ножен шашку, а с правого — десятифунтовый револьвер Смита-Вессона, казенного образца, заржавленный и без курка.

Этот молодчина совсем пленил и очаровал скромного Цвета. Поэтому, приехав в Горынище, они оба с удовольствием выпили водки в станционном буфете, закусили очень вкусной маринованной сомовиной и почувствовали друг к другу то мгновенное, беспричинное, но крепкое дружественное влечение, которое так понятно и прелестно в молодости.

Два пассажирских поезда почти одновременно подошли с разных сторон к станции. Надо было прощаться. Нежный сердцем Цвет затуманился. Крепко пожимая руку Василия Васильевича, он вдруг почувствовал непреодолимое желание подарить ему что-нибудь на память, но ничего не мог придумать, кроме тикавших у него в кармане старых дешевеньких томпаковых часов с вытертыми и позеленевшими от времени крышками. Однако он сообразил, что и этот дешевый предмет может оказаться кстати: по дороге веселый почтальон уморительно рассказывал о том, как на днях, показывая знакомым девицам замечательный фокус «таинственный факир, или яичница в шляпе», он вдребезги разбил свои

анкерные стальные часы кухонным пестиком.

«Неважная штучка мои часы, — подумал Цвет, — а все-таки память. И брелочек, на нем сердоликовая печатка… можно отдать вырезать начальные буквы имени и фамилии или пронзенное сердце…»

Он сказал ласково:

— Вы прекрасный спутник. Если бы мне не ехать, мы с вами, наверно, подружились бы. Не откажитесь же принять от меня на добрую память вот этот предмет… — и, опуская пальцы в жилетный карман, он добавил, чтобы затушевать незначительность дара легкой шуткой: —… вот этот золотой фамильный хронометр с брильянтовым брелком…

— Го-го-го! — добродушно захохотал почтальон. — Если не жалко, то что же, я, по совести, не откажусь.

И Цвет сам выпучил глаза от изумления, когда с трудом вытащил на свет божий огромный, старинный, прекрасный золотой хронометр работы отличного английского мастера Нортона. Случайно притиснутая материей пружинка сообщилась с боем, и часы мелодично принялись отзванивать двенадцать. К часам был на тонкой золотой цепочке-ленточке прикреплен черный эмалевый

перстенек с небольшим брильянтом, засверкавшим на солнце, как чистейшая капля росы.

— Извините… такая дорогая вещь, — пролепетал смущенный почтальон. — Мне, право, совестно.

Но удивление уже покинуло Цвета. «Вероятно, по рассеянности захватил дядины. Все равно, пустяки», — подумал он небрежно и сказал с великолепным по своей простоте жестом:

— Возьмите, возьмите, друг мой. Я буду рад, если эта безделушка доставит вам удовольствие.

## VII

Пришло время проститься. Рыжему почтальону надо было бежать за своей кожаной сумкой с корреспонденцией. Молодые люди еще раз крепко пожали друг другу руки, поглядели друг другу в глаза и почему-то внезапно поцеловались.

— Чудесный вы человечина, — сказал растроганный Цвет. — От души желаю вам стать как можно скорее почтмейстером, а там и жениться на красивой, богатой и любезной особе.

Почтальон махнул рукой с видом веселого отчаяния.

— Эх, где уж нам, дуракам, чай пить. Первое

ваше пожелание, если и сбудется, то разве лет через пять. Да и то надо, чтобы слетел или умер кто-нибудь из начальников в округе, ну, а я зла никому не желаю. А второе, — увы мне, чадо мое! — так же для меня невероятно, как сделаться китайским богдыханом. Вам-то я, дорогой господин Цвет, конечно, признаюсь с полным доверием. Есть тут одна… в Стародубе… звать Клавдушкой… Поразила она меня в самое сердце. На Рождестве я танцевал с ней и даже успел объясниться. Но — куда! Отец — лесопромышленник, богатеющий человек. Одними деньгами дает за Клавдушкой приданого три тысячи, не считая того, что вещами. Что я ей за партия? Однако мое объяснение приняла благосклонно. Сказала: «Потерпите, может быть, и удастся повлиять на папашу. Подождите, — сказала, — я вас извещу». Но вот и апрель кончается… Понятное дело, забыла. Девичья память коротка.

Эх, завей горе веревочкой. Однако пожелаю счастливого пути… Всего вам наилучшего… Бегу, бегу.

Иван Степанович вошел в вагон. Окно в купе было закрыто. Опуская его, Цвет заметил как раз напротив себя, в открытом окне стоявшего встречного поезда, в трех шагах расстояния, оча-

ровательную женскую фигуру. Темный фон сзади нее мягко и рельефно, как на картинке, выделял нарядную весеннюю белую шляпку, с розовыми цветами, светло-серое шелковое пальто, розовое, цветущее, нежное, прелестное лицо и огромный букет свежей, едва распустившейся, только этим утром сорванной сирени, который женщина держала обеими руками.

«Как хороша! — подумал Цвет, не сводя с нее восторженных глаз. — Сколько нежности, чистоты, ума, доброты, изящества. Нигде в целом свете нет подобной ей! Есть много красавиц, но она — единственная, ни на кого не похожая, неповторяемая. Ах, она улыбается!»

Правда. Она улыбалась, но только чуть-чуть, одними глазами, и в этой тонкой улыбке было и невинное кокетство, и ласка, и радость своему здоровью и весеннему дню, и молодое проказливое веселье. Она погрузила нос, губы и подбородок в гроздья цветов, время от времени, будто мимоходом, соединяла свои темные, живые глаза с восхищенными глазами Ивана Степановича.

Но вот поезд Цвета медленно поплыл вправо. Однако через секунду стало ясно, что это только мираж, столь обычный на железных дорогах: шел поезд красавицы, а его поезд еще не двигался.

«Хоть бы один цветок мне!» — мысленно воскликнул Цвет. И тотчас же прекрасная женщина с необыкновенной быстротой и с поразительной ловкостью бросила прямо в открытое окно Цвета букет. Он умудрился поймать его и еще поспел, высунувшись в окно, несколько раз картинно прижать его к губам. Но красавица, рассмеявшись так весело, что ее зубы засверкали в блеске весеннего полудня, наклонила голову в знак прощания и быстро скрылась в окне. А там ее вагон запестрел, помутнел, слился в линии других вагонов и исчез.

Тронулся и вагон Цвета. В ту же секунду загремела отодвигаемая дверь. В купе ворвался все тот же почтальон, Василий Васильевич. Шапка у него слезла совсем на затылок, рыжие кудри горели пожаром, лицо было красно и сияло блаженством. В сильном возбуждении принялся он тискать руки Ивана Степановича.

— Дорогой мой… если бы вы знали… Что? Поезд идет? Э, наплевать на корреспондентов. Попили моего пота… Подождут один день… Провожу вас до первой станции… Такой день никогда не повторится… Если бы вы знали!.. Да нет, вы воистину маг, волшебник, чародей и прорицатель. Вы, точно как в старых сказках, какой-то чудесный

добрый колдун…

— Милый Василий Васильевич, пожалуйста, выскажитесь толком. Ничего не понимаю.

— Да как же! Послушайте только! Прощаясь, вы мне говорили: желаю вам сделаться начальником почтового отделения. Так? Помните?

— Помню.

— И дальше. Желаю вам успеха у одной прекрасной барышни, которая, и так далее… Верно?

— Ну да.

— И вот, представьте себе… как по щучьему велению!.. Принимаю мешок, а он уж старый и трухлый и вдруг расползся. Целая гора писем вылезла наружу. Я их подбираю. И вдруг вижу сразу два, и оба мне. Поглядите, поглядите только.

Он совал в руки Цвета два конверта. Один — казенный, большой, серый; другой — маленький, фиолетовый, с милыми каракулями. Цвет заметил деликатно:

— Может быть, в этих письмах что-нибудь такое… что мне неудобно знать?..

— Вам? Вам? Вам все дозволено! Вы — мой благодетель. Смотрите! Читайте!

Цвет прочитал. Первый пакет был от округа. В нем разъездной почтальон Василий Васильевич Модестов действительно назначался

исполняющим должность начальника почтово-телеграфного отделения в местечко Сабурово, в заместители тяжело заболевшего почтмейстера. А в фиолетовом письме, на зеленой бумаге, с двумя целующимися налепными голубыми голубками на первой странице, в левом верхнем углу, было старательно выведено полудетским, катящимся вниз почерком пять строк без обращения, продиктованных бесхитростной надеждой и наивным ободрением, а кстати, с тридцатью грамматическими ошибками.

— И прекрасно, — сказал ласково Цвет, возвращая письма. — Сердечно рад за вас.

— И я безмерно счастлив! — ликовал почтальон. — Эх, теперь бы на радостях дернуть какого-нибудь кагорцу. Угостил бы я охотно милого друга-приятеля на последнюю пятерку. Господин волшебник, как бы нам соорудить?

— Что же. И я бы не прочь, — отозвался Цвет. И в тот же миг в дверь постучались. Появился в синей куртке с золотыми пуговицами официант с карточкой в руке.

— Завтракать будете?

— Вот что, — уверенно ответил Цвет. — Завтракать мы, конечно, будем. А пока подайте-ка нам… — Он задумался, но всего лишь на секун-

ду. — Подайте нам сюда бутылку шампанского и на закуску икры получше и маринованных грибов.

— Слушаю-с, — ответил почтительно, с едва лишь уловимым оттенком насмешки официант и скрылся.

— Я вам говорил, что вы кудесник, — обрадовался почтальон. — Если вы захотите сейчас музыку, то будет и музыка. Прикажите, пожалуйста. Ведь каждое ваше желание исполняется.

Цвет вдруг побледнел. Сердце его сжалось от какого-то томительного тайного страха.

И он произнес слабым, дрожащим голосом:

— Хорошо. Пусть будет музыка.

Сладкий гитарный ритурнель послышался в коридоре. Два горловых, сиплых, но очень приятных и верных голоса, мужской и женский, запели итальянскую песенку: «O solo mio…»[23]

Модестов выглянул из купе.

— Бродячие музыканты! — доложил он. — Ну, однако, вам и везет. Прямо волшебство.

Цвет не ответил ему. Он вдруг в каком-то озарении, с ужасом вспомнил весь нынешний день, с самого утра. Правду сказал почтальон — вся-

---

**[23] Примечания: 23**
О единственный мой…

кое его желание исполнялось почти мгновенно. Проснувшись, он захотел чаю — сторож принес чай. Он подумал — и то мимолетно, — что хорошо бы было развязаться с усадьбой, — получилась телеграмма от Тоффеля. Захотел ехать — Василий Васильевич предложил повозку и лошадей. Шутя сказал: «Дарю хронометр» — и вынул из кармана неизвестно чьи, дорогие, старинные золотые часы. Влюбившись мгновенно в красавицу из вагонного окна, захотел получить цветок из ее букета — и получил так мило и неожиданно весь букет, с воздушным поцелуем и обольстительной улыбкой в придачу. Случайно, из простой любезности, посулил Василию Васильевичу повышение по службе и желанную свадьбу, и судьба уже потворствует его капризу. И сейчас, в вагоне, два пустячных случая подряд… Что-то нехорошее заключено в этой послушной торопливости случая… И главное — самое главное и самое тяжелое — то, что все эти явления так неизбежно, столь легко и так просто зависят от какой-то новой стороны в душе самого Цвета, что в них даже нет ничего удивительного.

Цвет сразу заскучал, омрачнел и как бы ожесточел сердцем. Теплое шампанское с икрой показалось ему противным. А в вагоне-ресторане

ему неожиданно надоел рыжий почтальон: показался вдруг чересчур размякшим, болтливым, приторным и фамильярным. В этот момент они ели рыбу. Василий Васильевич, пронзив ножом добрый кусок судачьего филея, уже подносил его к открытому рту, когда Цвет лениво подумал про себя: «А убрался бы ты куда-нибудь к черту».

Модестов, быстро лязгнув зубами, закрыл рот, положил нож с рыбой на тарелку, позеленел в лице, покорно встал, сказал: «Извините, я на секунду» — и вышел из вагона. И уже больше совсем не возвращался. Заснул ли он где-нибудь в служебном отделении или сорвался с поезда — этого Цвет никогда не узнал. Да, по правде сказать, никогда и не заинтересовался этим.

Вернувшись после завтрака к себе в вагон, он еще несколько раз пробовал проверить свою новую, исключительную, таинственную способность повелевать случаем. Однажды ему показалось, что поезд слишком медленно тащится на подъем. «А ну-ка, пошибче!» — приказал Цвет. Вероятно, как раз в этот момент поезд уже преодолел гору, но вышло так, что, будто подчиняясь повелению, он сразу застучал колесами, засуетился и поддал ходу. «И еще! И еще! А ну-ка еще!» — продолжал погонять его Цвет. Вскоре

телеграфные столбы замелькали в окне со скоростью сначала трех, потом двух, потом полутора секунд; вагоны, как пьяные, зашатались с бока на бок и, казалось, стремились перескочить с разбега друг через друга, точно в чехарде; задребезжали стекла, завизжали стяжки, загрохотали буфера. В коридоре и в соседних купе послышались тревожные голоса мужчин и крики женщин.

Сам Цвет перепугался. «Нет, уж это слишком, — подумал он. — Так легко и голову сломать. Потише, пожалуйста».

«Слу-ша-ю-у-у!» — загудел в ответ ему длинно и успокоительно паровоз, и поезд, отдуваясь, как разбежавшийся великан, стал умерять ход.

«Вот так, — похвалил Цвет, — это мне больше нравится».

Немного времени спустя проводник, пришедший убрать в купе, объяснил причину, по которой поезд показал такую бешеную прыть. У паровоза, перевалившего через подъем, что-то испортилось в воздушном тормозе и одновременно случилось какое-то несчастье не то с сифоном, не то с регулятором. (Цвет не понял хорошенько.) Кондукторы из-за ветра не услышали сигнала «тормозить». А тут начинался как раз крутой и длинный уклон. Поезд и покатился на всех парах

вниз, развивая скорость до предельной, до ста двадцати верст, и был не в силах ее уменьшить до следующего подъема. Только там поездная прислуга спохватилась и затормозила…

«Как все просто», — подумал Цвет… Но в этой мысли была печальная покорность.

В другой раз поезд проезжал совсем близко мимо строящейся церкви. На куполе ее колокольни, около самого креста, копошился, делая какую-то работу, человек, казавшийся снизу черным, маленьким червяком. «А что, если упадет?» — мелькнуло в голове у Цвета, и он почувствовал противный холод под ложечкой. И тогда же он ясно увидел, что человек внезапно потерял опору и начинает беспомощно скользить вниз по выгнутому блестящему боку купола, судорожно цепляясь за гладкий металл. Еще момент — и он сорвется.

«Не надо, не надо!» — громко закричал Цвет и в ужасе закрыл руками лицо. Но, тотчас же открыв их, вздохнул с радостным облегчением. Рабочий успел за что-то зацепиться, и теперь видно было, как он, лежа на куполе, держался обеими руками за веревку, идущую от основания креста.

Поезд промчался дальше, и церковь скрылась за поворотом. «Неужели я хотел видеть, как он

убьется?» — спросил сам себя Цвет. И не мог ответить на этот жуткий вопрос. Нет, конечно, он не желал смерти или увечья этому незнакомому бедняку. Но где-то в самом низу души, на ужасной черной глубине, под слоями одновременных мыслей, чувств и желаний, ясных, полуясных и почти бессознательных, все-таки пронеслась какая-то тень, похожая на гнусное любопытство. И тогда же, впервые, Цвет со стыдом и страхом подумал о том, какое кровавое безумие охватило бы весь мир, если бы все человеческие желания обладали способностью мгновенно исполняться.

На одной из станций Цвет приказал ветру сдуть панаму с головы важного барина, прогуливавшегося с надменным видом индейского петуха на платформе, и потом с равнодушным вниманием следил, как этот толстяк козлом прыгал вслед за убегающей шляпой, между тем как полы его пиджака развевались и заворачивались вверх, обнаруживая жирный зад и подтяжки.

За обедом какой-то крупный железнодорожный чин с генеральскими погонами, человек желчный и властный, стал безобразно, на весь вагон, орать на прислуживавшего ему лакея за то, что тот подал ему солянку не из осетрины, а из севрюжины.

Эта сцена произвела удручающее и тоскливое впечатление на всех. Особенно противно было то, что во время грубого выговора генерал не переставал есть, мешая крик с чавканьем.

«А, что б ты заткнулся!» — досадливо подумал Цвет. И мгновенно начальник откинулся на спинку стула с раскрытым ртом, из которого вырывались хриплые стоны. Лицо его посинело, и вылезшие глаза налились кровью. Казалось, он вот-вот задохнется. «Ах, нет, нет, пускай благополучно!» — торопливо велел Цвет. Только что обиженный лакей быстро, ловко и звучно шлепнул несчастного по шее. Он, как пьющая курица, вытянул шею вверх, глотнул, перевел дух и обернулся вокруг с изумленным радостным видом. Кровь сразу отхлынула от его лица.

— Иди, и чтобы это в последний раз! — сказал он, еще чуть-чуть давясь, грозно, но великодушно… — А то…

«Опять и опять, — подумал без удивления Цвет. — И так это просто. Очевидно, я попал в какую-то нелепо-длинную серию случаев, которые сходятся с моими желаниями. Я читал где-то, что в Петербурге однажды проходил мимо какой-то стройки дьякон. Упал сверху кирпич и разбил ему голову. На другой день мимо того же дома в

тот же час проходил другой дьякон, и опять упал кирпич, и опять на голову. Я читал еще в смеси об одном счастливом игроке в рулетку, который семь раз подряд поставил на «О» и семь раз выиграл. Но, при бесконечности времени и случаев, может выйти и та очередь, что другой игрок выиграет на ноль сто, тысячу раз кряду. Я слыхал про людей, которые попадали в один день дважды на железнодорожные катастрофы и еще один на пароходное крушение. Есть счастливцы, никогда не знающие проигрыша в карты… Они говорят — полоса. Так и я попал в какую-то полосу».

У себя в купе, оставшись один, он попробовал сознательно экзаменовать эту полосу. Ему хотелось пить. Он сказал вполголоса: «Пусть сейчас, в апреле месяце, на столике очутится арбуз!»

Но арбуз не появился. Это даже немного обрадовало Цвета.

«Это хорошо, — решил он. — Значит, нет никакого чуда. Все объясняется просто. Попробуем дальше. Вот напротив меня на диване лежит букет сирени. Вверх из него торчит раздвоенная веточка. Пусть она отломится и по воздуху перенесется ко мне».

Вагон сильно качнуло на повороте. Букет упал на пол. Когда Цвет поднял его, на полу осталась

лежать одна ветка, но она была не двойная, а тройная.

«Неудовлетворительно, — насмешливо сказал Цвет. — Три с минусом. Ну, еще один раз. Хочу, во-первых, чтобы сию минуту зажегся свет. А во-вторых, хочу во что бы то ни стало духов «Ландыш».

В ту же минуту вошел проводник со свечкой на длинном шесте. Он зажег газ в круглом стеклянном фонаре и потом сказал с неловкой, но добродушной улыбкой:

— Вот, барин, не угодно ли вам… Убирал утром вагон и нашел пузырек. Дамы какие-то оставили. Кажется, что вроде духов. Нам без надобности. Может, вам сгодятся?

— Дайте.

Цвет поглядел на зеленую с золотом этикетку хрустального флакона и прочел вслух, читая как по-латыни: «Мугуст, Пинауд, Парис». Осторожно вскрыл тонкую перепонку, обтягивавшую стеклянную пробку. Понюхал. Очень ясно и тонко запахло ландышем.

«Вот это случай — так случай, — снисходительно одобрил Цвет судьбу или что другое, неведомое. — Но — баста, довольно, не хочу больше, надоело. Теперь бы какую-нибудь книжку

поглупее и спать, спать, спать. Спать без снов и всякой прочей ерунды. К черту колдовство. Еще с ума спятишь».

— А нет ли у вас, проводник, случайно какой-нибудь книжицы? — спросил он.

Проводник помялся.

— Есть, да вы, пожалуй, читать не станете. Похождения знаменитого мазурика Рокамболя. А то я дам с удовольствием.

— Тогда тащите вашего мазурика и стелите постель.

Он с удовольствием улегся в свежие простыни, но едва только пробежал глазами первые строки двенадцатой главы одиннадцатой части пятнадцатого тома этого замечательного романа, как сон мягко и сладко задурманил ему голову. Последней искрой сознания пронеслось в его памяти темное вагонное окно, и в нем под белой шляпкой розовое нежное лицо, темные, живые глаза и белизна зубов, сверкающих в лукавой и милой улыбке. «Хочу завтра ее видеть», — шепнул засыпающий Цвет.

## VIII

Первое, что он увидел, проснувшись поздно утром, был сидевший против него на диване с газетой в руке Мефодий Исаевич Тоффель.

— Доброго утра, мой достопочтенный клиент, — приветствовал Цвета ходатай. — Как изволили почивать? Я нарочно не хотел вас будить. Уж очень сладко вы спали.

«Где-то я его видел, — подумал Цвет. — И раньше, еще до первого знакомства, и вот теперь, совсем, совсем недавно. И какая неприятная рука при пожатии, жесткая и сухая, точно копыто. И от него пахнет серой. И лицо ужасно нечеловеческое!»

— Как вы попали в поезд, Мефодий Исаевич?

— Да специально выехал за три станции вам навстречу. Соскучился без вас, черт побери! И дел у меня к вам целая куча. Однако идите, умывайтесь скорее. Всего полчаса осталось. Я без вас чайком распоряжусь.

Умываясь, Цвет долго не мог побороть в себе каких-то странных чувств: раздражения, досады и прежнего, знакомого, неясного предчувствия беды. «Что за вязкая предупредительность у этого

загадочного человека, — размышлял он. — Вот сошлись линии наших жизней и не расходятся… Да что это? Неужели я его боюсь. — Цвет поглядел на себя в зеркало и сделал гордое лицо. — Ничуть не бывало. Но буду все-таки с ним любезным. Как-никак, а ему я многим обязан. Поэтому не кисните, мой милый господин Цвет, — обратился он к своему изображению в зеркале. — Мир велик, жизнь прекрасна, умыванье освежает, а вы, если и не патентованный красавец, однако получше черта, вы молоды и здоровы, и никому зла не желаете, и все будущее пред вами. Идите пить чай».

В коридоре, лицом к открытому окну, стояла стройная дама в светло-серой длинной шелковой кофточке и белой шляпе. Она обернулась к Цвету. Он остановился в радостном смущении. Перед ним была вчерашняя дама, бросившая ему в вагон цветы. Он видел, как алый здоровый румянец окрасил ее прекрасное лицо и как ветер подхватил и быстро завертел тонкую прядь волос над ее виском. Несколько секунд оба глядели друг на друга, не находя слов. Первая заговорила дама, и какой у нее был гибкий, теплый, совсем особенный голос, льющийся прямо в сердце!

— Я должна попросить у вас прощения… Вчера

я позволила себе… такую необузданную… мальчишескую выходку…

«Смелее, Иван Степанович, — приказал себе Цвет. — Забудь всегдашнюю неуклюжесть, будь любезен, находчив, изящен».

— О, прошу вас, только не извиняйтесь… Виноват во всем я. Я глядел на ваши цветы и думал: если бы мне хоть веточку! А вы были так щедры, что подарили целый букет.

— Представьте, и я думала, что вы этого хотите. У меня вышло как-то невольно…

— Позвольте от души поблагодарить вас… Весна, солнечный день, и первая сирень из ваших рук… Я ваш вечный должник.

— Воображаю, как вы испугались… Наверно, сочли меня за бежавшую из сумасшедшего дома.

— Ничуть. Это был такой милый, красивый и… царственный жест. Я сохраню букет навсегда, как память о мгновенной, но чудной встрече. Кстати, я все-таки не соображаю, каким образом вы попали в этот поезд? Ведь вы уезжали со встречным…

Дама весело рассмеялась.

— Ах, я сделала невероятную глупость. Вообразите, я села в Горынищах совсем не в мой поезд. Как только прозвонил третий звонок, я спрашиваю какого-то старичка, что был рядом: «Скоро

ли мы проедем через Курск?» А он говорит: «Вы, сударыня, собираетесь ехать в противоположную сторону, вот ваш поезд». Тогда я мигом схватила свой сак, выбежала на площадку и на ходу прыг… И села сюда… И вот утром вы… Если бы вы знали, как я сконфузилась, когда вас увидела.

— Но какая неосторожность… выскакивать на ходу. Мало ли что могло случиться?

— Э! Я ловкая… и потом что суждено, то суждено…

— А знаете ли, — серьезно сказал Цвет, — ведь я вчера вечером, ложась спать, думал, что утром непременно увижу вас. Не странно ли это?

— Этому позвольте не поверить… Во всяком случае, наше мимолетное знакомство, хотя и смешное, но не из обычных…

— А потому, — раздался сбоку голос Тоффеля, — позвольте вас представить друг другу.

По лицу красавицы пробежала едва заметная гримаска неудовольствия.

— Ах, это вы, Мефодий Исаевич… Вот неожиданность.

Тоффель церемонно назвал Цвета. Потом сказал:

— Mademoiselle Локтева, Варвара Николаевна…

— А это всезнающий и вездесущий monsieur

Тоффель, — ответила она и крепко, тепло, по-мужски пожала руку Цвета.

— Идемте к нам чай пить, — предложил Тоффель, — у нас сейчас уберут.

Варвара Николаевна от чаю отказалась, но зашла в купе. Когда садилась, поглядела на букет и сейчас же встретилась глазами с Цветом. Ласковый и смешливый огонек блеснул в ее внимательном взгляде. И оба они, точно по взаимному безмолвному уговору, ни слова не проговорили о вчерашней оригинальной встрече.

Тоффель стал вязать крепче их знакомство с уверенностью и развязностью много видевшего, ловкого дельца. Он рассказал, что Варвара Николаевна — единственная дочь известного мукомола, филантропа и покровителя искусств. Кончила год тому назад гимназию, но на высшие курсы не стремится, хотя это теперь так в моде. Живет по-американски, совершенно самостоятельно, выбирает по вкусу свои знакомства и принимает кого хочет, независимо от круга знакомых отца. Всегда здорова и весела, точно рыбка в воде или птичка на ветке. Отец ею не нахвалится как помощницей. На ногу себе никому наступить не позволит, но ангельская доброта и отзывчивость к человечьему горю. Прекрасная

наездница, великолепно стреляет из пистолета, музыкантша, замечательная энженюкомик[24]на любительских спектаклях и так далее и так далее.

Что касается Цвета, то это блестящий молодой человек, решивший променять узкую бюрократическую карьеру на сельскохозяйственную и земскую деятельность. Ездил в Черниговщину осматривать имения, доставшиеся по завещанию. Обладает выдающимся голосом, tenor di grazia[25]. Немного художник и поэт… Душа общества… Увлекается прикладной математикой, а также оккультными науками. Тоффелю кажется удивительным, как это двое таких интересных молодых людей, живя давно в одном и том же маленьком городе, ни разу не встретились.

Все это походило на какое-то навязчивое сватовство. Цвет кусал губы и ерзал на месте, когда Тоффель, говоря о нем, развязно переплетал истину с выдумкой, и боялся взглянуть на Локтеву. Но она сказала с дружелюбной простотой:

— Я очень рада нашему знакомству, Иван Степанович, и надеюсь вас видеть у себя… У вас есть

---

**[24] Примечания: 24**
Комическая простушка — театральное амплуа (от *фр.* ingénu comique).

**[25] Примечания: 25**
Лирический тенор *(ит.).*

записная книжка? Запишите: Озерная улица… Не знаете? Это на окраине, в Каменной слободке, — дом Локтева, номер пятнадцатый, такая-то, по четвергам, около пяти. Загляните, когда будет время и желание. Мне будет приятно.

Цвет раскланялся. Он все-таки заметил, что Тоффеля она не пригласила, и подумал: «У нее, должно быть, как и у меня, не лежит сердце к этому человеку с пустыми глазами».

Приехали на вокзал. Тесное пожатие руки, нежный, светлый и добрый взгляд, и вот белая шляпка с розовыми цветами исчезла в толпе.

— Хороша? — спросил, прищуря один глаз, Тоффель. — Вот это так настоящая невеста. И собой красавица, и образованна, и мила, и богата…

— Будет! — оборвал его грубо, совсем неожиданно для себя, Иван Степанович. Тоффель покорно замолчал. Он нес саквояж, и Цвет видел это, но даже не побеспокоился сделать вид, что это его стесняет. Так почему-то это и должно было быть, но почему — Цвет и сам не знал, да и в голову ему не приходило об этом думать. На подъезде он сказал небрежно:

— Надо бы автомобиль.

— Сейчас, — услужливо поддакнул Тоффель. — Мотор! В Европейскую.

Доро гой Тоффель заговорил о делах. Пусть Цвет на него не сердится за то, что он без его разрешения продал усадьбу. Подвернулось такое верное и блестящее дело на бирже, какие попадаются раз в столетие, и было бы стыдно от него отказаться. Тоффель рискнул всей вырученной суммой и в два дня удвоил ее. Впрочем, и риску здесь было один на десять тысяч. Затем он, Тоффель, нашел, что чердачная комната теперь вовсе не к лицу человеку с таким солидным удельным весом, как Цвет. Поэтому он взял на себя смелость перевезти самые необходимые вещи своего дорогого клиента в самую лучшую гостиницу города. Это, конечно, только пока. Завтра же можно присмотреть уютную хорошую квартирку в четыре-пять комнат, изящно обмеблировать ее, купить ковры, цветы, картины, всякие безделушки и создать очаровательное гнездышко. У Тоффеля на этот счет удивительно тонкий вкус и умение покупать дешево «настоящие» вещи. Сегодня они вместе поедут к единственному в городе порядочному портному. Но если уж одеваться совсем хорошо и с большим шиком, то для этого необходимо съездить в Англию. Только в Лондоне надо заказывать мужчинам белье и костюмы, галстуки же и шляпы — в Париже. Но это потом. Теперь

надо заключить прочные и веские знакомства в высшем обществе. А там Петербург, Лондон, Париж, Биарриц, Ницца… Словом, мы завоюем весь мир!..

Он болтал, а Цвет слушал его с небрежным, снисходительно-рассеянным видом, изредка коротко соглашаясь с ним ленивым кивком головы. Так почему-то надо было, и это понималось одинаково и Цветом и Тоффелем.

Но час спустя Тоффель сильно удивил, озадачил и обеспокоил Ивана Степановича. Они кончали тонкий и дорогой завтрак в кабинете гостиничного ресторана. Тоффель велел подать кофе и ликеров и сказал лакею:

— Больше нам пока ничего не надо, Клементий. Если понадобится, я позвоню.

Когда тот ушел, Тоффель плотнее затворил за ним дверь и даже прикрыл дверные драпри. Потом он вернулся к столу, сел против Цвета коленями на стул, согнулся над столом, почти лег на него и подпер голову ладонями. Взгляд его, тяжело и неподвижно устремленный на Цвета, был необычайно странен. В нем была горячая воля, властное приказание, униженная просьба и скрытая зловещая угроза — все вместе. Несколько секунд никто не произнес ни слова. Тоффель ча-

сто дышал, раздувая широкие ноздри горбатого носа. Наконец он вымолвил хриплым и слабым голосом:

— А слово?.. Вы узнали слово?..

— Не понимаю, — тихо ответил Цвет и невольно подался телом назад под давящей силой, исходившей из глаз Тоффеля. — Какое слово?

Взгляд Тоффеля стал еще пристальнее, цепче и страстнее. Пот выступил у него на висках. От переносья вверх вспухли две расходящиеся жилы. В зрачках загорались густые темно-фиолетовые огни.

«Там… в усадьбе… книга… формулы… Красный переплет… Мефистофель…» — забродило в голове у Цвета. Тоффель же продолжал настойчиво шептать:

— Заклинаю вас, назовите слово… Только слово, и я ваш слуга, ваш раб всю жизнь…

У Цвета похолодело лицо и высохли губы. Что-то, разбуженное волей Тоффеля, бесформенно и мутно колебалось в его памяти, подобно тому неуловимому следу, тому тонкому ощущению только что виденного сна, которые скользят в голове проснувшегося человека и не даются схватить себя, не хотят вылиться в понятные образы.

— Не знаю… не могу… не умею…

Тоффель как-то мягко, бесшумно свернулся со стула, опустился на пол и на четвереньках, по-собачьи, подполз к Цвету и, схватив его руки, стал покрывать их колючими поцелуями.

— Слово, слово, слово… — лепетал он. — Вспомните, вспомните слово!

Цвет зажмурил на секунду глаза. Потом пристально поглядел на Тоффеля.

— Оставьте, не надо этого, — сказал он резко. — Слышите ли — я не хочу!

Тоффель поднялся и спиною к Цвету, шатаясь, прошел до угла кабинета. Там он постоял неподвижно секунды с две. Когда же он обернулся, лицо его было искажено дьявольской гримасой смеха.

— К черту! — воскликнул он, щелкнув перед собою кругообразно пальцами. — К черту-с. Я пьян, как фортепьян. Забудьте мой бред — и к черту! Прошу извинения. Но еще… только одна, самая пустячная просьба, которую вам ничего не стоит исполнить.

— Хорошо. Говорите, — согласился Цвет.

Тоффель сунул руку в карман и вытащил ее сжатой в кулак.

— Что у меня в руке?

Цвет с улыбкой ответил уверенно:

— Маленькая золотая монета.

— Что на ней изображено?

— Подождите… сейчас. Женская голова в профиль, повернута вправо от зрителя… Голая шея… Злое сухое лицо. Тонкие губы, выдающийся подбородок, острый нос. Крупные локоны, в них маленькая корона на самом верху прически…

— Гм… да, — произнес Тоффель угрюмо. — Угадали. Полуимпериал Анны Иоанновны, тысяча семьсот тридцать девятого года. Верно. Хотите, выпьем еще шампанского?

## IX

Именно с этого же дня начались блестящие успехи Цвета в большом обществе. Полоса удачи, о которой он думал и которую пытал, едучи в вагоне, развертывалась перед ним, как многоцветный восточный ковер, и Цвет попирал ногами его роскошную ткань с привычным равнодушием владыки.

В короткое время Иван Степанович стал пышной сказкой города. Живая бегучая молва увеличила размеры его наследства до сотен тысяч десятин и до десятков миллионов рублей. За ним ходили, разинув рот, любопытные, его

показывали приезжим, как восьмое чудо света, о его эксцентричностях, о его щедрости и счастии чуть не ежедневно писали в газетах. Нечего и говорить о том, что вокруг него сразу, сама собой, образовалась шумная свита друзей, знакомых, прихлебателей, попрошаек, болтунов и увеселителей. И Цвет, вовсе не утеряв в душе присущих ему доброты и скромности, очень быстро научился тяжкому искусству владеть людьми. Ему иногда достаточно бывало медленно, вскользь, поглядеть в глаза зазнавшемуся наглецу или назойливому вымогателю и только слегка подумать: «Не хочу тебя больше видеть!» — как тот мгновенно отодвигался куда-то на задний план, бледнел, линял и навсегда, безвозвратно растворялся, исчезал в пространстве.

Один Тоффель упорно возвращался к нему, хотя Цвет очень нередко мысленным приказом прогонял его. Бывало это в те минуты, когда, внезапно обернувшись, Иван Степанович вдруг ловил на себе взгляд ходатая — жадный, умоляющий, гипнотизирующий. «Слово! Назови слово!» — кричали жалкие и грозные, пустые глаза. Цвет внутренне произносил: «Уйди!» — и Тоффель весь поникал и удалялся, позорно напоминая умную, нервную, старую собаку, которая после окрика

приседает на все четыре лапы, горбит спину, прячет хвост под живот и ползет прочь, оглядываясь назад обиженным, виноватым глазом.

Но через день, через час он опять, как ни в чем не бывало, являлся перед Цветом с известием о колоссальной победе на бирже, с портфелем, битком набитым пачками свежих, только что отпечатанных хрустящих ассигнаций, с модным пикантным анекдотом, с предложением шикарного или лестного знакомства, с целым выбором новых развлечений.

Он как будто бы беспрестанно стерег Цвета, подобно няньке, ревнивой жене или усердному сыщику. Если бы он мог, он, кажется, подслушивал бы, не пробредит ли Цвет что-нибудь во сне. Может быть, он даже и в самом деле подслушивал, хотя Цвет, прежде чем лечь в постель, всегда собственноручно запирал на ключ все двери в квартире.

Каждое желание Ивана Степановича исполнялось почти моментально, точно ему в самом деле послушно служили чьи-то невидимые, ловкие руки и неслышные, быстрые ноги. Но чудо здесь отсутствовало. Было только вечное, неперемежающееся и совсем простое совпадение мыслей и событий.

Многие из наиболее фантастических капризов Цвета осуществлялись при помощи самых простых средств. Так, иногда, сидя один в своем роскошном кабинете на стуле, он говорил мысленно: «Хочу вместе со стулом подняться на воздух!» И правда, стул слегка скрипел под ним, точно стараясь отодраться от пола, однако великий закон тяготения оставался ненарушимым. Но однажды утром Цвет загляделся в окно на летающих высоко в небе голубей и позавидовал их легким прекрасным движениям. «Ах, если бы человеку испытать что-нибудь подобное!» — подумал он искренно и совершенно бесцельно. Когда же он отвернулся от окна, то его первый рассеянный взгляд упал на газету, где на первой странице крупным шрифтом стояло объявление о нынешнем авиационном дне. И в тот же вечер за сумасшедшую плату Цвет взгромоздился сзади пилота на тяжелый неуклюжий «Фарман» № 4 и сделал два круга над полем, пережив в продолжение десяти минут одно из самых чистых, упоительных и гордых ощущений, какие только доступны человеку в его грузной земной жизни.

Несколько раз, глядя на стоящий перед ним стакан с водой, он настойчиво шептал: «Пусть вода закипит!» Она оставалась прозрачной и

холодной. Но каждый раз, по его желанию, очень скоро переставал дождь, шедший упорно с утра. Когда угодно, он по своему желанию мог услышать музыку или аромат цветов, неизвестно откуда доносившийся. Но однажды среди ночи в парке ему захотелось лунного освещения, и у него ничего не вышло, потому что в эту ночь месяц скрыл свою последнюю узенькую полосу.

Он никогда не мог заставить воспламениться самопроизвольно свечу или спичку. Но в один вечерний час, по его случайной прихоти, в городе мгновенно погасли все электрические лампы и остановились все трамваи, вследствие, как потом оказалось, какой-то путаницы в проводах.

Что же касается жизненных человеческих событий, то они слепо повиновались Цвету, и только его сердечная доброта и бессознательная скромность удерживали его на грани смешного, позорного и преступного. Впрочем, о его безумных удачах рассказывали с восторгом в городском «свете».

В один прелестный, сияющий весенний полдень он и Тоффель поехали на скачки. Они попали как раз к розыгрышу главного приза. Всезнающий Тоффель провел Цвета в членскую трибуну и мигом перезнакомил его со всеми спортсменами

и владельцами скаковых конюшен…

Когда по звонку лошадей одну за другой — их всех было одиннадцать — выводили на круг, Цвет стоял у самого барьера, рядом с высоким грузным бритым господином в широком пальто, который, с видом внешнего безучастия, курил сигару, но все время нервно ее покусывал. Цвет мельком слышал его фамилию, но не разобрал, как это всегда бывает при быстрых, случайных знакомствах. Этот человек, лениво скосив глаза сверху вниз на Цвета, спросил:

— На кого ставите?

— Сию минуту, — ответил вежливо Цвет, — я только соображу.

Сзади, в публике, называли лошадей по именам и взвешивали их шансы. Судьба первого и второго приза ни в ком не возбуждала сомнения. Первым должен был прийти сухой, с птичьим лицом англичанин в черном камзоле с белыми рукавами, вторым — негр, весь в красном, скаливший белые зубы и сверкавший огромными белками на зрителей. На них двоих и велась вся игра в тотализаторе. На третье место ждали еще двух лошадей, но ими мало интересовались.

Дойдя шагом до известной черты, жокеи повернули лошадей и поочередно, в порядке афишных

нумеров, сдержанным галопом проскакали перед публикой, показывая ей своих нервных, худых, высоких, породистых лошадей во всей красоте их форм и легкости движений. Сами жокеи сидели, слегка согнувшись, небрежно и красиво в седлах, на коротких стременах, с остро согнутыми в коленах ногами. На их бритых остроносых лицах, иссушенных работой, темных от загара, резко обрисовывались под морщинистой кожей все выпуклости и впадины черепов.

После всех других лошадей прошла со значительным промежутком и в большом беспорядке прелестная по формам, не особенно высокая, золотисто-рыжая кобыла под жокеем в голубом камзоле с белыми звездами. Она горячилась и не хотела слушаться всадника. Уши ее нервно двигались, обращаясь то к жокею, то вперед, шерсть уже теперь лоснилась потом, с удил падала пена, и в больших выпуклых, черных, без белка, глазах острыми огоньками блестел солнечный свет. С галопа она срывалась на рысь, танцевала на месте, прыгала боком и старалась резкими движениями красивой сухой головы вырвать поводья.

— А вот на эту… рыженькую, — сказал наивно Цвет. — Она придет первой.

Сзади засмеялись. Кто-то заметил насмешливо,

но вполголоса:

— Верно, как в государственном банке.

Сосед Ивана Степановича поднял кверху темные, черные брови, отставил от себя двумя пальцами на далекое расстояние сигару, слегка свистнул и протянул чрезвычайно густым хриплым басом:

— На Сатанеллу? Замеча-а-а… Смею вас уверить, что она придет никакой. Она и не в своей компании, и не в порядке, и не в руках. Кто на ней сидит? Казум-Оглы, татарская лопатка. Еще в прошлом году был конюшенным мальчиком… Мне все равно, но деньги бросаете на ветер.

Цвет одним пальцем поманил к себе Тоффеля.

— Поставьте на эту… на как ее… на рыженькую… Голубая рубашка со звездами.

— Сатанелла, нумер одиннадцатый.

— Да, да.

— Сколько прикажете?

— Все равно. Ну, там билетов… десять… пятнадцать… распорядитесь, как хотите.

— Слушаю, — поклонился Тоффель и побежал рысцой в кассу.

— Прекра-а-а… — пустил октавой грузный господин и совсем повернул к Цвету свое бритое лицо. У него был большущий горбатый, волоса-

тый и красный нос, толстая нижняя губа отвисла вниз, обнажая крепкие, желтые прокуренные зубы. — Изуми-и-и… Но послушайте же, — переменил он голос на более естественный. — Мне не жаль ваших денег, но я вижу, что вы на скачках новичок.

— В первый раз.

— Вот видите… Ну, я понимаю игру на фукс, на слепое сумасшедшее счастье… Но надо, чтобы был хоть один шанс на миллион… А здесь абсо-лютный нуль!.. На Сатанеллу так же нелепо ставить, как, например, на лошадь, которая совсем в этой скачке не участвует, которой даже нет во всей сегодняшней программе, которой и вообще не существует на белом свете… понимаете, которая еще не родилась.

— Однако она — вот она! — весело возразил Цвет. — И придет первым нумером.

— Удиви-и-и… — прохрипел сосед. — Нас с вами познакомили? Не так ли? Билеты вы уже взяли? Так? Я вас не только не втравлял в это гнусное предприятие, но даже удерживал? Верно? Ну, так позвольте вам сказать, что я имею несчастье быть владельцем этой самой водовозки. Поглядите-ка, нет, вы поглядите в программу. Видите: нумер одиннадцатый — Сатанелла… владелец

Осип Федорович Валдалаев. Это мы, — ткнул он себя в грудь большим пальцем, пухлым и волосатым. — И мы вам говорим, что она без места.

— Первой.

— Не пос-ти-гаю, — пожал плечами владелец. — Ну хотите, — я ставлю сейчас тысячу рублей против ваших ста, что она не займет ни одного платного места, то есть не будет ни первой, ни второй, ни третьей?

Цвет упрямо тряхнул головой.

— Не желаю. Тысячу против тысячи, что она возьмет первый приз. Я не нуждаюсь в снисхождении.

— Но и я не хочу выигрывать наверняка, — холодно возразил сосед. — А за то, что она не придет первой, я готов сию минуту поставить сто тысяч против полтинника.

Алая краска обиды бросилась в нежное лицо Цвета.

— А я, — сказал он резко, — ставлю не фантастических сто тысяч, а реальных, живых пять против вашей одной. Ваша Сатанелла придет первой.

В это время лошади под жокеями живописной, волнующейся, пестрой группой вернулись назад, на прежнюю черту, откуда начали пробный галоп. Там они несколько минут крутились на

месте, объезжая одна вокруг другой, стараясь выровняться в подобие линии и все разравниваясь. Уловив какой-то быстрый, подходящий миг, жокеи как один привстали на стременах, скорчились над лошадиными шеями и рванулись вперед. Но к старту лошади подскакали так разбросанно, что их не пустили, и некоторым из них, наиболее горячим, пришлось возвращаться назад с очень далекого расстояния. Сатанелла же проскакала понапрасну около четверти версты и пришла обратно вся мокрая.

— Не будем сердиться, — добродушно сказал Валдалаев. — Посмотрите сами, в каком виде кобыла. Никуда!.. Но в ее жилах текут капли крови Лафлеша и Гальтимора, и ее цена, если продавать, три тысячи. В эту сумму я и заключаю пари против ваших трех в том, что она не будет ни первой, ни второй.

— Первой, — уперся Цвет.

— Хорошо, — пожал плечами Валдалаев. — Но поставим также и промежуточное условие, которое нас примирит. Если она придет третьей или никакой, то выиграл я. Если первой, то вы. Ну, а если второй, то — ни вы и ни я, и тогда мы поставим пополам три тысячи в пользу Красного Креста. Идет?

Цвет ясно улыбнулся ему.

— Хорошо.

— И великоле-е-е…

Раз пять не удавалось пустить лошадей кучно. Всех путала горячившаяся, дыбившаяся Сатанелла, которая то пятилась задом, то наваливалась боком на соседок. Из двухрублевых трибун слышались уже негодующие голоса: «Долой Сатанеллу, снять ее! Кобыла совсем выдохлась!» Но в шестой раз лошади пошли сравнительно кучно, сжались перед стартом, и точно замялись секунду у столба, и вдруг пустились вперед с такой быстротой, что ветром обдало близстоящих зрителей. Белый, высоко поднятый в руке стартера флажок быстро опустился к земле.

Подошел Тоффель с билетами.

— Такая была теснота у касс, что я едва добрался. Поздравляю вас, Иван Степанович, — за нумер одиннадцатый ни в одной кассе ни одного билета. Чисто!

Эта скачка была по своей неожиданности и нелепости единственной, какую только видели за всю свою жизнь поседелые на ипподроме знатоки и любители скакового спорта. Одного из двух общих фаворитов, негра Сципиона, лошадь сбросила на первом же повороте и при этом уда-

рила ногой в голову. Несчастного полуживым унесли на носилках. Вслед за тем упал вместе с лошадью какой-то жокей в малиновом камзоле с зеленой лентой через плечо. Он отделался благополучно и, ловко вскочив, успел поймать повод. Но лошадь с полминуты не давала ему сесть в седло, и он потерял по крайней мере сажен с двести. У третьего всадника лопнула подпруга… Двое столкнулись друг с другом так жестоко, что не могли продолжать скачку. У одного оказалась вывихнутой рука, а у другого сломалось ребро. Словом, почти всех лошадей и жокеев постигали какие-то роковые и злые случайности.

К концу второй минуты, после последнего поворота, когда зрители глазами, головами и телами судорожно тянулись налево, им представилась следующая картина. Впереди, по прямой, уверенно и спокойно скакал черный с белыми рукавами англичанин. Он шел без хлыста, изредка оборачиваясь назад, собираясь перевести лошадь на кентер. За ним, отставшая корпусов на сорок, с поразительной резвостью выскочила из-за поворота, точно расстилаясь по земле, Сатанелла. Казум-Оглы почти лежал у нее на вытянутой шее. Он работал левой рукой кругообразно поводами, а правой часто хлестал лошадь стеком. Еще даль-

ше дико несся вороной жеребец с пустым седлом, ошалевший от стремян, которые били ему по бокам, и очень далеко за ним скакал малиновый с зеленой лентой жокей… Остальные лошади остались на той стороне круга.

Цвет никогда не был игроком и не чувствовал боязни проиграть: деньги давно уже стали для него чем-то вроде мусора. Но в это мгновение его, как внезапный приступ лихорадки, подхватил страшный азарт за Сатанеллу. Крепко стиснув зубы и сморщив все лицо, он крикнул мысленно:

«Ты, ты должна быть первой!..»

Случилось что-то странное. С волшебной быстротой Сатанелла стала приближаться к англичанину. Через каких-нибудь пять секунд она вихрем промелькнула мимо него. Сейчас же, следом за ней, его обогнал и вороной жеребец. Лошадь англичанина совсем остановилась. Он быстро соскочил с нее и, нагнувшись, стал рассматривать ее правую переднюю ногу… Она была сломана ниже колена. Продрав кожу, наружу торчала белая окровавленная кость. Никто не аплодировал Сатанелле. В рублевых трибунах слышались свистки и гневные крики.

— Поздравляю, — льстиво сказал на ухо Цвету Тоффель…

— Ну вас к черту! — резко швырнул ему Иван Степанович.

Толстый, громадный Валдалаев уперся глазами Цвету в сапоги, а потом медленно поднял на него яростный и презрительный взгляд и прохрипел, доставая бумажник:

— Ваша удача от дьявола. Не завидую вам. Получите.

— Да мне, собственно… не надо… — залепетал Цвет. — Я ведь это просто… так… зачем мне?..

— Что-с? — рявкнул гигант, и сразу его большое лицо наполнилось темной кровью. — Н-не на-до? Эття чтэ тэкое? А за уши? Я Вал-да-лаев! — громом пронеслось по судейской беседке.

И, сунув деньги в дрожащую руку Цвета, который в эту секунду совсем забыл о своем страшном могуществе, владелец золото-рыжей Сатанеллы повернулся к нему трехэтажным, свисавшим, как курдюк, красным затылком и величественно удалился от него.

Мимо Цвета провели искалечившуюся лошадь. Под ее грудью было продето широкое полотнище, которое с обеих сторон поддерживали на плечах конюхи. Она жалко ковыляла на трех здоровых ногах, неся сломанную ножку поднятой и безжизненно болтавшейся. Из ее глаз капали крупные

слезы. Ручейки пота струились по коже.

— Э, черт! — тоскливо выругался Цвет. — Если бы знал, ни за что бы не поехал на эти подлые скачки. Как это так случилось? — спросил он кого-то, стоявшего у барьера.

— Уму непостижимо. Камушек какой-нибудь подвернулся, или подкова расхлябла… Да, впрочем, и жокеи тоже… известные мазурики.

Примчался Тоффель. Он сиял и еще издали победоносно размахивал в воздухе толстой пачкой сторублевых.

— Наша взяла! — торжествовал он, подбегая к Цвету. — Понимаете: ни в ординарном, ни в двойном, ни в тройном, кроме ваших, ни одного-единого билета! Извольте: три тысячи пятьсот с мелочью. Это вам не жук начихал.

Цвет молчал. Тоффель поймал направление его взгляда.

— Сто? Лосадку залко? — спросил он, скривив насмешливо и плаксиво губы и шепелявя по-детски. — Э, бросьте, милейший мой. Судьба не знает жалости. Едемте-ка в Монплезир спрыснуть выигрыш.

— Тоффель! — с ненавистью воскликнул Цвет. Ему хотелось ударить по лицу этого вертлявого человека, показавшегося сейчас бесконечно

противным. Но он сдержался и прибавил тихо: — Уйдите прочь.

Но про себя он подумал с горечью и тоской:

«Сколько еще несчастий причиню я всем вокруг себя. Что мне делать с собой? Кто научит меня?» Но о Боге набожный Цвет почему-то в эту минуту не вспомнил.

Когда он шел к выходу, то даже с опущенными глазами чувствовал, что все глаза устремлены на него. Вверху, в ложе, кто-то захлопал в ладоши. «А вдруг это она. Варвара Николаевна», — подумал почему-то Цвет. Но ему так стыдно было за свой позорный выигрыш, что он не осмелился поднять голову. А сердце забилось, забилось.

## X

Все, что я здесь пишу, я пишу по устному, не особенно связному рассказу Цвета. Но я давно уже как будто слышу голос читателя, нетерпеливо спрашивающий: да что же это — явь или сон? И если сон, то когда он кончится.

Очень скоро. Мы идем быстрыми шагами к концу, и я постараюсь излагать дальнейшие события в самом укороченном темпе. За то, что все, приключившееся с нашим героем, произошло на

самом деле, я не стану ручаться, хотя напоследок все-таки приберегаю один-два факта, которые как будто свидетельствуют, что не все в похождениях Цвета оказалось сном или праздным вымыслом. А впрочем, кто скажет нам, где граница между сном и бодрствованием? Да и намного ли разнится жизнь с открытыми глазами от жизни с закрытыми? Разве человек, одновременно слепой, глухой и немой и лишенный рук и ног, не живет? Разве во сне мы не смеемся, не любим, не испытываем радостей и ужасов, иногда гораздо более сильных, чем в рассеянной действительности? И что такое, если поглядим глубоко, вся жизнь человека и человечества, как не краткий, узорчатый и, вероятно, напрасный сон? Ибо — рождение наше случайно, зыбко наше бытие, и лишь вечный сон непреложен.

Цвет наделал целый ряд глупостей. Вечером после скачек, еще томясь стыдом и жалостью от своего выигрыша, он вдруг вспомнил грубый окрик Валдалаева, разозлился задним числом и, по совету возликовавшего Тоффеля, послал хриплому великану вызов на дуэль. Секунданты, драгунский безусый корнет и молодой польский поддельный графчик, привезли согласие Валдалаева и передали даже его подлинные слова. Он

сказал сердито: «Я продырявлю этого Цвета так, что от него останется только запах».

— И он это может, — прибавил от себя, важно нахмурившись, корнет. — Он бывший ахтырец и знаменитый бретер.

— Тен-то може! — уверенно подтвердил граф.

А вспыхнувший от нового оскорбления Цвет подумал: «Ну, в таком случае я его убью».

На другой день утром они стрелялись за Караваевскими дачами, в рощице, на лужайке. Валдалаев выстрелил первый и промахнулся; пуля лишь слегка задела рукав рубашки Ивана Степановича. Цвет, впервые державший пистолет в руке, стал целиться. Гигант стоял перед ним в половину оборота, в двадцати шагах, нелепо огромный, красноносый, спокойный, с опущенными и растопыренными руками, со слегка наклоненной головой. Правое его ухо, пронизанное солнечным лучом, алело ярким пятном под круглой касторовой шляпой.

Остатки гнева, поутихшего за ночь, совсем испарились из души Цвета… «Я прострелю ему ухо», — решил Цвет и слегка надавил на собачку. Но ему стало нестерпимо жалко противника. «Нет, лучше попаду в шляпу». И сжал указательный палец.

Резко хлопнул выстрел, и зазвенело в ушах Цвета, и пахнуло весело пороховым дымом. Котелок свалился с Валдалаева. Валдалаев поднял его, внимательно оглядел и прохрипел спокойной октавой:

— Превосхо-о-о-о…

И, подойдя с протянутой рукой к Цвету, сказал самым пленительным, душевным тоном:

— Извиняюсь перед вами… Я не то о вас подумал… Я думал, что вы… так себе… шляпа… А вы, оказывается, славный и смелый парень. Но, черт побери, сатанинская у вас удача! Исключи-и-и…

Вблизи от места поединка уютно засел в зелени загородный ресторанчик. Туда, по окончании формальностей поединка, направились дуэлянты, четверо свидетелей и доктор, чтобы заказать завтрак, о котором память должна была сохраниться на десятки лет. После соленых закусок Валдалаев и Цвет были на «ты». За первой дюжиной шампанского Валдалаев уступил Ивану Степановичу кобылу Сатанеллу в цене пяти тысяч рублей. Цвет только повернул слегка глаза на Тоффеля, и перед ним мгновенно очутилась чековая книжка.

— Пишите, Иван Степанович, — сказал Тоффель с мрачным удовольствием. — Пишите.

А к полуночи, когда компания переменила уже четвертое место кутежа, Цвет купил всю конюшню Валдалаева, состоявшую из восьми лошадей.

— Но чтобы, — кричал он, стоя, шатаясь и расплескивая бокал, — чтобы не ломать ног лошадям, не бить их хлыстами! И желаю вообще детский сад для лошадей! Чтобы я их мог целовать в самый храп!.. В мордочку! Безнаказанно! Урра!

— Поедем в купеческий клуб, — сказал где-то в пространстве Валдалаев, — там французские шулера. Там я проиграл сотню тысяч.

— Есть. Езда! — ответил с добродушной готовностью Цвет. — Но сперва вымойте меня сельтерской водой.

Это было сделано. Цвет почувствовал себя сразу трезвым и легким. По дороге Валдалаев, сидя с ним рядом на извозчике и обнимая его, шептал ему тепло в ухо:

— Четыре француза. Господа: Поль, Бильден, Филиппар и Галер. Ты их — рразом… Понимаешь?

— Рразом! Понимаю!

— Твоя власть, милый Виноград, от дьявола. Верно?

— Д-да!

— Валяй!

— Я им пок-кажу-у!

— Покажи.

В лучшем городском клубе, где бывал сам губернатор, Цвет обыграл в эту ночь в баккара четырех профессиональных искуснейших шулеров. Он также открыл в рукаве у одного из них, у главного крупье monsieur Филиппара, машинку с готовыми восьмерками и девятками. Затем он обыграл дочиста на несколько сот тысяч всех членов собрания. Но, обыграв, вдруг признался, к громадному наслаждению Тоффеля, который покатывался от смеха:

— Господа. И французов и вас я обыграл наверняка. Французов так и следовало. А вы — простые, добродушные бараны. Поэтому потрудитесь взять все проигранные вами деньги обратно. Я обладаю двойным зрением. Я видел насквозь каждую карту. Хотите, я назову вам наперед любую по счету карту в колоде, стоя к вам спиною?

Его проверили. Загадывали двадцать седьмую, и девятую, и тридцать шестую карту из колоды. Он на секунду прикрывал глаза, открывал их и сразу угадывал: туз пик, девятка бубен, двойка бубен. Все объяснили это явление телепатией и оккультизмом и охотно взяли свои ставки обрат-

но, причем многие перессорились.

Один Валдалаев отказался от денег. Он застегнулся на все пуговицы, перекрестился и сказал своим рычащим голосом:

— Сногсшиба-а-а… Однако я в этой странной хреновине не участник. Эти деньги — к чертовой их матери!..

И величественно ушел, не дотронувшись до кучи золота и бумажек.

А Иван Степанович, глядя ему вслед, на его удаляющуюся широкую спину, вдруг побледнел и стал нервно тереть ладонями виски.

Утром явился к Цвету мистер Тритчель, англичанин-жокей, скакавший накануне на Леди-Винтерсет, на той лошади, что сломала себе ногу, и предложил ему свои услуги. По его словам, валдалаевская конюшня была очень высоких качеств, но падала с каждым годом из-за характера прежнего владельца, который, по своей вспыльчивости, самоуверенности и нетерпимости, постоянно менял жокеев и доверял только посредственным и малознающим тренерам. Цвет согласился. С этого времени его лошади стали забирать все первые призы.

Мало того, однажды, подстрекаемый внезапным и нелепым припадком честолюбия, он

вызвался сам, лично, участвовать в джентльменской скачке. Все доводы благоразумия были против этой дикой затеи, начиная с того обстоятельства, что Цвет еще ни разу в своей жизни не садился на лошадь. В пользу Ивана Степановича говорило лишь два слабых данных: его легкий вес — три пуда двадцать пять фунтов — и его непоколебимая решимость скакать.

Мистер Тритчель специально для этой цели приобрел за довольно дорогую цену добронравную, спокойную девятилетнюю кобылу, ростом в шесть с половиной вершков, по имени Mademoiselle Barbe. Он сам дал своему патрону несколько уроков верховой езды на маленьком конюшенном ипподроме. Цвет, галопирующий в крошечном английском седле на огромной гнедой лошади, напоминал ему фокстерьера, балансирующего на ребре обледенелой крыши. Часто Цвет оборачивался на Тритчеля, услышав с его стороны короткое носовое фырканье. Но каждый раз его глаза встречали сухое, костистое, горбоносое лицо кривоногого англичанина, исполненное серьезности и достоинства.

И вопреки логике и здравому смыслу, Цвет все-таки в джентльменской скачке пришел первым. Нет, вернее, не он пришел, а его принесла

сильная и старательная лошадь, а он сидел на ней, вцепившись обеими руками в гриву, растеряв поводья и стремена, потеряв картуз и хлыст. Публика встретила его у столба тысячеголосным ревом, хохотом, свистом, шиканьем и бурными аплодисментами.

Одно время он пристрастился к биржевой игре, и в этой темной, сложной и рискованной области его не только не оставляло, но даже как бы рабски тащилось за ним безумное, постоянное счастье. В самый короткий срок он сделался оракулом местной биржи, чем-то вроде биржевого барометра. Маклеры, банкиры и спекулянты глядели ему в рот, взвешивая и оценивая каждое его слово. Он же действовал всегда наобум, исключительно под влиянием мгновенного каприза. Он покупал и продавал бумаги, судя по тому, нравились ему сегодня или не нравились их названия, не имея ни малейшего представления о том, какие предприятия эти бумаги обеспечивают. Он никогда не мог постигнуть глубокую сущность биржевых сделок «a la hausse» и «a la baisse»[26]. Но когда он играл на повышение, то тотчас же где-то, на краю света, в неведомых ему степях, начинали бить

---

**[26] Примечания: 26**
«На повышение»... «На понижение» *(фр.).*

мощные нефтяные фонтаны и в неслыханных сибирских горах вдруг обнаруживались жирные залежи золота. А если он ставил на понижение, то старинные предприятия сразу терпели громадные убытки от забастовок, от пожаров и наводнений, от колебаний заграничной биржи, от внезапной сильной конкуренции. Если бы его спросили, в чем состоит тайна его удивительного успеха, он только пожал бы плечами и ответил бы совершенно искренно: «Да, право, я и сам не знаю…» Но в том-то и заключалось скрытое несчастие и невидимая боль его жизни, *что он знал и не мог никому сознаться.*

Его широкий образ жизни скоро обратил на себя внимание, и о Цвете стали негласным образом наводить справки. Но придраться было не к чему: налицо оказывались и полученное наследство, и поразительные выигрыши на бирже. К тому же он чрезвычайно щедро разбрасывал деньги. На благотворительных вечерах, концертах, базарах, общественных подписках и лотереях под его именем значились наиболее крупные пожертвования. Никто охотнее его не давал денег на стипендии, поощрения и койки в лазаретах. Но он сам замечал с глубоким огорчением, что ни разу никому его щедрость не принесла ничего,

кроме неудач, разорения, беспутства, болезней и смерти.

Он занимал небольшой старинный облицованный мрамором особняк в нагорной, самой аристократической и тихой части города, утопавшей в липовых аллеях и садах. По преданию, в этом доме когда-то останавливался Наполеон, и до сих пор в одной из комнат сохранилась кровать под огромным балдахином с занавесками серо-малинового бархата, затканного золотыми пчелами. Штат его служащих увеличивался с каждым днем. Во главе всех стоял мажордом[27], величественный седовласый бакенбардист, похожий на русского посла прежних времен в Париже или Лондоне. За ним следовали: камердинер, с наружностью первого любовника с императорской сцены; круглый, как шар, бритый старший повар, выписанный из Москвы от Оливье; кучер для русской упряжи, поражавший всех до ужаса густотою черной бороды, румянцем щек, обширностью навaченного зада и звериным голосом; кучер для английской упряжи; ученый немец-садовник в очках, заведовавший оранжереею и зимним садом, и еще десятка два мелких при-

**[27] Примечания: 27**
Дворецкий (от *фр.* majordome).

служников. Весь город любовался Цветом, когда он в погожий полдень проезжал по Московской и Дворянской улицам, правя с высоты английского дог-карта[28]двумя парами прекрасно подобранных и выезженных лошадей, масти Изабелла, светло-песочного цвета, с начисто вымытыми сребро-белыми гривами и хвостами.

Всезнающий и всемогущий Тоффель приобрел откуда-то для Цвета по особо удачному случаю старинное серебро и древний французский фарфор с клеймами в виде золотых лилий. Он же скупил у разорившегося польского магната богатейший погреб вин, который, по редкости и тонкости сортов, считался четвертым в мире (как в этом по крайней мере уверял прежний владелец). Он же доставал из третьих рук такие ароматные и выдержанные сигары, какими сам архимиллионер Лазарь Израилевич не угощал местного генерал-губернатора — всесильного сатрапа и знаменитого лакомку. Наконец это Тоффель организовал по вторникам в особняке Цвета интимные ужины и тщательно выбирал и фильтровал приглашенных, стараясь предотвратить вторжение улицы. Только остроумие,

**[28] Примечания: 28**
Двухколесного экипажа (от *англ.* dog-cart).

изобретательность в веселье, талант, изящество, красота, вкус к жизни и добродушная учтивость служили патентами для входа на эти вечера, и никогда не удавалось проникнуть туда чванному светскому снобизму, ленивому и пресыщенному любопытству, людям глупости и скуки, расчетливым искателям связей и знакомств.

Желанными гостями были артисты и артистки всех профессий, актеры, певцы, танцоры, музыканты, композиторы, художники, скульпторы, декораторы, поэты, клоуны, фокусники, имитаторы и особая порода светских дилетантов, неистощимых на выдумки. Все хорошенькие женщины города показывались с удовольствием и без стеснения на этих вечерах, где, по их словам, всегда бывало так мило и просто. Устраивались великолепные, шутливые китайские шествия с фонарями, драконами и носилками, воскрешались старинные пасторали с гавотами и менуэтами в костюмах XVIII столетия, разыгрывались водевили с пением и целые комические оперы на сюжет, придуманный тут же у Цвета в гостиной, а также ставились сообща нелепо-веселые пародии на модные пьесы и на современные события.

Ужинали на отдельных столиках, по двое и по

четверо, кто как хотел. Мужчины служили своим дамам и самим себе. В их распоряжении был буфет, щедро снабженный винами и холодными изысканными закусками.

В городе ходили всякие злостные слухи об этих ужинах, на которые попасть было весьма трудно, но на самом деле, несмотря на безудержное веселье, на полное отсутствие натянутости, они носили приличный, изящный и целомудренный характер. Так Цвет хотел, так и было. И часто его спокойный, быстрый взгляд, направленный через всю столовую, останавливал в самом начале рискованную выходку, слишком громкий смех или резкий жест.

С сотнями людей сталкивала Цвета его многогранная жизнь, но ни с одним человеком он не сошелся за это время, ни к кому не прикоснулся близко душой. С тою же чудесной способностью «двойного зрения», с какою Цвет мог видеть рельеф императрицы и год чеканки на золотой монете, зажатой в кулаке Тоффеля, или угадать любую карту из колоды, — так же легко он читал в мыслях каждого человека. Цвету нужно было для этого, пристально и напряженно вглядевшись в него, вообразить внутри самого себя его жесты, движения, голос, сделать втайне свое ли-

цо как бы его лицом, и тотчас же после какого-то мгновенного, почти необъяснимого душевного усилия, похожего на стремление перевоплотиться, — перед Цветом раскрывались все мысли другого человека, все его явные, потаенные и даже скрываемые от себя желания, все чувства и их оттенки. Это состояние бывало похоже на то, как будто бы Цвет проникал сквозь непроницаемый колпак в самую середину чрезвычайно сложного и тонкого механизма и мог наблюдать незаметную извне, запутанную работу всех его частей: пружин, колес, шестерней, валиков и рычагов. Нет, даже иначе: он сам как бы делался на минуту этим механизмом во всех его подробностях и в то же время оставался самим собою, Цветом, холодно наблюдающим мастером.

Такая способность углубляться по внешним признакам, по мельчайшим, едва уловимым изменениям лица в недра чужих душ, пожалуй, не имела в своей основе ничего таинственного. Ею обладают в большей или меньшей степени старые судебные следователи, талантливые уголовные сыщики, опытные гадалки, психиатры, художники-портретисты и прозорливые монастырские старцы. Разница была только в том, что у них она является результатом долголетнего и

тяжелого житейского опыта, а Цвету она далась чрезвычайно легко.

И сделала его глубоко несчастным. Каждый день перед ним разверзались бездны человеческой душевной грязи, в которой копошились ложь, обман, предательство, продажность, ненависть, зависть, беспредельная жадность и трусость. Почтенные старцы, дедушки с видом патриархов, невинные барышни, цветущие юноши, безупречные многодетные матроны, добродушные толстые остряки, отцы города, политические деятели, филантропы и благотворительницы, передовые писатели, служители искусств и религий — все они в подвалах своих мыслей бывали тысячекратно ворами, насильниками, грабителями, клятвопреступниками, убийцами, извращенными прелюбодеями. Их полусознанные, мгновенные, часто непроизвольные желания были похожи на свору кровожадных и похотливых зверей, запертых на замок, ключ от которого находится в неведомой и мудрой руке. И каждый день Цвет чувствовал, как в нем нарастает презрение к человеку и отвращение к человечеству.

О, сколько раз тянулись к нему трепетные и послушные женские руки, а глаза — затуманенные,

влажные — искали его глаз, и губы открывались для поцелуя. Но сквозь маску профессионального кокетства, под личиной любовного самообмана Цвет прозревал или открытую жажду его золота, или сокровенное, инстинктивное, воспитанное сотнями поколений, рабское преклонение перед властью богатства. Он одаривал женщин с очаровательной улыбкой и с внутренней брезгливостью, оставаясь сам холодным и недоступным.

Была во всем свете лишь одна — ее имя начиналось с буквы «В» — одна-единственная, незаменимая, несравненная, прекраснейшая, чье розовое лицо пряталось в букете сирени и чьи темные глаза смеялись, ласкали и притягивали. Но перед ее далеким образом молчало всемогущество желаний. Цвет окружал ее безмолвным обожанием, тихой самоотверженной любовью, не смеющей ждать ответа. Ему доставляло страшное наслаждение вновь найти в записной книжке ее имя и прочитать его, но ни за что он не отважился бы пойти по тому адресу, который она сама продиктовала.

Чтение чужих мыслей было не единственным несчастием Цвета. Его очень тяготило также постоянное совпадение его малейших желаний с их мгновенным исполнением. Цвет никому не

хотел зла, но невольно причинял его на каждом шагу. Рассказывают об одном великом алхимике, который сообщил своему ученику точный рецепт жизненного эликсира, но предупредил его, чтобы он при его изготовлении никак не смел думать о белом медведе. И вот, каждый раз, как только ученик приступал к таинственным манипуляциям, первой его мыслью всегда бывала мысль о белом медведе. Так и Цвет, сидя, например, однажды в цирке и следя глазами за акробаткой, скользящей по проволоке, не мог не вспомнить о своем несчастном даре и крепко, всеми силами, внушал себе: «Только бы случайно не пожелать, чтобы она упала, только бы, только бы…» Он сжимал при этом кулаки и напрягал мускулы лица и шеи, но в воображении уже рисовалось падение… и вот с легким птичьим криком гибкая женская фигура в лиловом трико упала вниз, в сетку, сверкая золотыми блестками.

Один случай в этом роде так напугал Цвета, что он чуть не сошел с ума. Он возвращался домой с утреннего концерта пешком. Был хмурый и ветреный день, со странным, зловещим, багрово-медным освещением облаков, которые неслись низко и быстро, точно ватаги растрепанных дьяволов. Каким-то капризным путем мысли Цвета,

цепляясь одна за другую, пришли к чуду Иисуса Навина, который продлил день битвы, остановив солнце. Из начатков космографии Цвет, конечно, знал, что иудейскому полководцу для его цели надо было остановить не солнце, а вращение Земли вокруг ее оси и что эта остановка повлекла бы за собою, в силу инерции, страшную катастрофу на земной поверхности, а может быть, и во всем мироздании. Цвет был в этот день весьма легкомысленно настроен. Сам того не зная, он на одну миллиардную долю секунды был близок к тому, чтобы сказать старой Земле: «Остановись!» Он даже почти сказал это. Но внезапный ураган, ринувшийся на город, подхватил Цвета, протащил его сажени с три и швырнул на телеграфный столб, за который он в смертельном ужасе обвился руками и ногами. А мимо него понеслись в свирепом вихре пыли, в мрачной полутьме: зонтики, шляпы, газеты, древесные ветки, растерянные люди, обезумевшие лошади. Со зданий падали кирпичи от разрушенных труб, крыши оглушительно гремели своими железными листами, пронзительно выли телеграфные проволоки, хлопали окна и вывески, звенело бьющееся стекло.

Это прошел через город край того ужасающего

циклона, который в Москве в 19**году разметал множество деревушек, опрокинул в городе водонапорные башни, повалил груженые вагоны и в одну минуту скосил начисто несколько десятин крепкого строевого леса. Ураган так же быстро, как поднялся, так неожиданно и утих. Цвет целый день тер на лбу громадную шишку и шептал, точно извиняясь перед всей вселенной: «Но ведь это же не я, честное слово, не я. Я не хотел этого, я не сказал этого...»

И еще было одно глубокое, печальное горе у Цвета. От него, так волшебно подчинявшего себе настоящее, уплыло куда-то в безвестную тьму все прошлое. Не то чтобы он его забыл, но он не мог вспомнить. Сравнительно ясно представлялись вчерашние переживания, но позавчерашний день приходил на память урывками, а дальше сгущался плотный туман. Мелькали в нем бессвязно какие-то бледные образы, звучали знакомые голоса, но они мерещились лишь на секунды, чтобы исчезнуть бесследно, и Цвет не в силах был уловить, остановить их.

Иногда по вечерам, оставаясь один в своем роскошном кабинете, Цвет подолгу сидел, вцепившись пальцами в волосы, и старался припомнить, что с ним было раньше. Клочками проносились

перед ним: железная дорога, какой-то запущенный сад, необыкновенная лаборатория, книга в красном сафьяне, рыжий почтальон, взрыв огненного шара, древний церковный старик, козлиная морда, узор текинского ковра, девушка в вагонном окне… Но в этих видениях не было ни связи, ни смысла, ни яркости. Они не зацеплялись за сознание, они только раздражали память и угнетали волю.

От усилия вспомнить у Цвета так разбаливалась голова, как будто кто-то ввинчивал длинный винт через весь его мозг, а душа его ущемлялась такой ноющей тоской, которая была еще больнее головной боли. Измученный Цвет быстро раздевался и приказывал себе: спать! — и тотчас же погружался в безмолвие и покой.

Видел он всегда один и тот же сон: желтенькие обои с зелеными венчиками и розовыми цветочками, японскую или китайскую ширму, с аистами и рыболовом, клетку с канарейкой, кактус на окне и форменную фуражку с бархатным околышем и бирюзовыми кантами. И таким сиянием ранней молодости, прелестью невинных, но утраченных навсегда радостей, такой сладкой грустью были окружены эти незатейливые предметы, что, просыпаясь среди ночи, Цвет удивлялся, отчего

у него влажная подушка. Но свой сон никогда он не мог припомнить.

## XI

Но всему, даже горю, приходит конец.

Однажды утром, подавая Цвету кофе, великолепный камердинер, с лицом театрального светского льва, сказал:

— Я вчера вечером перебирал ваш гардероб, барин, и в старом сером костюме, в кармане, нашел вот это… какие-то жетоны или игральные марки… не знаю…

Он осторожно поставил на стол круглый маленький поднос, на котором лежали аккуратной горкой штук тридцать квадратных сантиметровых пластинок из слоновой кости. На них были выгравированы и выведены эмалью различные латинские буквы. Цвет взял двумя пальцами одну костяшку и поднес ее к глазам, а поднос слегка отодвинул, сказав небрежно:

— Уберите куда-нибудь.

Слуга ушел.

Цвет рассеянно прихлебывал кофе и время от времени взглядывал на костяной квадратик. Несомненно, он его видел где-то раньше… С ним

даже было связано какое-то отдаленное, чрезвычайно важное и загадочное воспоминание. Так же змеи-сто изгибалось когда-то перед ним изящное старинное начертание этого стройного S… Слабый, еле мерцающий огонек проволочного фонаря тогда освещал его… В глубокой полночной тишине только и слышалось, что торопливое тиканье часов, лежавших на столе, а гул, подобный морскому прибою, гудел в ушах Цвета… И тогда-то именно случилось… Но головная боль пронизала винтом его голову и затмила мозг. Положив машинально квадратик в карман, Цвет стал одеваться.

Немного времени спустя к нему вошел его личный секретарь, ставленник Тоффеля, низенький и плотный южанин, вертлявый, в черепаховом пенсне, стриженный так низко, что голова его казалась белым шаром, с синими от бритья щеками, губами и подбородком. Он всем распоряжался, всеми понукал, был дерзок, высокомерен и шумлив и, в сущности, ничего не знал, не умел и не делал. Он хлопал Цвета по плечу, по животу и по спине и называл его «дорогой мой» и только на одного Тоффеля глядел всегда такими же жадными, просящими, преданными глазами, какими Тоффель глядел на Цвета. Иван Степанович знал о

нем очень немногое, а именно, что этого молодого и глупого наглеца звали Борисом Марковичем, что он вел свое происхождение из Одессы и был по убеждению *сосьяль-демократ*, о чем докладывал на дню по сто раз. Цвет побаивался его и всегда ежился от его фамильярности.

— К вам домогается какой-то тип — Сребростру́н. Что он за тип — я не могу понять. И как я его ни уговаривал, он таки не уходит. И непременно хотит, чтобы лично… Ну?

— Просите его, — сказал Цвет и скрипнул зубами. И вдруг от нестерпимого, сразу хлынувшего гнева вся комната стала красной в его глазах. — А вы… — прошептал он с ненавистью, — вы сейчас же, вот как стоите здесь, исчезните! И навсегда!

Секретарь не двинулся с места, но начал быстро бледнеть, линять, обесцвечиваться, сделался прозрачным, потом от него остался только смутный контур, а через две секунды этот призрак на самом деле исчез в виде легкого пара, поднявшегося кверху и растаявшего в воздухе.

«Первая галлюцинация, — подумал Цвет тоскливо. — Началось. Допрыгался». И крикнул громко, отвечая на стук в дверях:

— Да кто там? Войдите же!

Он устало закрыл глаза, а когда открыл их,

перед ним стоял невысокий толстый человек, весь лоснящийся: у него лоснилось полное румяное лицо, лоснились напомаженные кудри и закрученные крендельками усы, сиял начисто выбритый подбородок, блестели шелковые отвороты длинного черного сюртука.

— Неужели не узнаете? Сребструнов. Регент.

Нет. Иван Степанович не узнавал Сребструнова, регента, и в то же время каждый кусочек этого губительного красавца, каждое его движение, каждое колебание его голоса были бесконечно знакомы ему. Парализованная память молчала. Но по усвоенной привычке разговаривать ежедневно со множеством людей, которые его знали, но которых он совершенно не помнил, Цвет уверенно ответил, показывая на кресло:

— Как же, как же… Великолепно помню… регент Сребструнов… еще бы. Прошу садиться. Чем могу?..

Сребструнов был одновременно подавлен строгим комфортом стильного большого кабинета и снисходительной любезностью хозяина. Было ясно, что он хотел напомнить Цвету и по душам разговориться о чем-то далеко прошлом, милом, теплом и простом, и Цвет ждал этого. Но регент так и не решился. Срываясь и торопясь, с

бегающими глазами, вертя напряженно пуговицу на своем рукаве, начал он обычно просительную канитель: простудился, начал глохнуть, голос сдал… все это, конечно, временное и проходящее, но, сами знаете, каковы люди… Конкуренция, завистники… Теперь доктора посылают на Кавказ, на целебные воды… Как поедешь?.. Вещи, какие были, заложены… Словом…

Словом, Цвет написал ему чек на две тысячи. Но, прощаясь, он на мгновение задержал руку регента и спросил его робким, тихим, почти умоляющим голосом:

— Подождите… Мне изменила память… Подождите минуточку… Ах, черт… — Он усиленно потер лоб. — Никак не могу… Да где же, наконец, мы встречались?

— Помилуйте! Господин Цвет! Да как же это? Я у Знаменья регентовал. Неужели не помните?

Вы же у меня в хоре изволили петь. Первым тенором. Вспоминаете? Чудесный был у вас голосок… Как это вы прелестно соло выводили «Благослови душе моя» иеромонаха Феофана. Нет? Не вспоминаете?

Точно дальняя искорка среди ночной темноты, сверкнул в голове Цвета обрывок картины: клирос, запах ладана, живые огни тонких восковых

свечей, ярко освещенные ноты, шорохи и звуки шевелящейся сзади толпы, тонкое певучее жужжание камертона… Но огонек сверкнул и погас, и опять ничего не стало, кроме мрака, пустоты, головной боли и томной, раздражающей, обморочной тоски в сердце.

Цвет закрыл лицо обеими руками и глухо простонал:

— Извините… Я не могу больше… Уйдите скорее…

Ему страшно и скучно было оставаться одному, и он весь этот день бесцельно мыкался по городу. Завтракал у Массью, обедал в Европейской. В промежутке между завтраком и обедом заехал на репетицию в опереточный театр и, сидя в ложе пустого темного зала, бессмысленно глядел на еле освещенную сцену, где толклись в обыкновенных домашних платьях актеры и актрисы и вяло, деревянными голосами, точно спросонья, что-то бормотали. Купил у Дюрана нитку жемчуга и завез ее Аннунциате Бенедетти, той хорошенькой цирковой артистке, которая однажды, по его, как он думал, вине, упала с проволоки. Сидел около часу в читальне клуба с газетой в руке, устремив взор в одно объявление, и все не мог понять, что это такое значит: «Маникюр и педикюр, мадам

Пеляжи Хухрик, у себя и на дому». У него было такое тяжелое, беспокойное и угнетенное состояние ожидания, какое бывает у нервных людей перед грозою или, пожалуй, как у больных, приговоренных на сегодня к серьезной операции: «Хоть бы поскорее!»

Из Европейской гостиницы он вышел довольно поздно, когда уже на город тепло спускались розовые, зеленые, лиловые сумерки. Экипаж он отпустил еще раньше и шел, глубоко задумавшись, засунув руки в карманы, не отвечая на низкие поклоны знакомых, неведомых ему людей. Мысли его все теснились около двух утренних случаев. Несомненно, между ними была какая-то отдаленная, неуловимая связь, и в то же время они взаимно исключали друг друга, как явления противоположных миров. Сияющий и жалкий Сребструнов принадлежал к чему-то прошлому в жизни Цвета, такому понятному, простому и милому, но безвозвратному, недосягаемому, прикасался к чему-то бесконечно близкому, но теперь забытому. А квадратики из слоновой кости с латинскими литерами точно знаменовали переход к теперешнему существованию Цвета — фантастическому и скорбному.

На перекрестке Иван Степанович остановился,

бесцельно переворачивая правой рукой в кармане квадратную костяшку.

По Александровской улице сверху бежал трамвай, выбрасывая из-под колес трескучие снопы фиолетовых и зеленых искр. Описав кривую, он уже приближался к углу Бульварной. Какая-то пожилая дама, ведя за руку девочку лет шести, переходила через Александровскую улицу, и Цвет подумал: «Вот сейчас она обернется на трамвай, замнется на секунду и, опоздав, побежит через рельсы. Что за дикая привычка у всех женщин непременно дожидаться последнего момента и в самое неудобное мгновение броситься наперерез лошади или вагону. Как будто они нарочно испытывают судьбу или играют со смертью. И, вероятно, это происходит у них только от трусости».

Так и вышло. Дама увидела быстро несущийся трамвай и растерянно заметалась то вперед, то назад. В самую последнюю долю секунды ребенок оказался мудрее взрослого своим звериным инстинктом. Девочка выдернула ручонку и отскочила назад. Пожилая дама, вздев руки вверх, обернулась и рванулась к ребенку. В этот момент трамвай налетел на нее и сшиб с ног.

Цвет в полной мере пережил и перечувствовал

все, что было в эти секунды с дамой: торопливость, растерянность, беспомощность, ужас. Вместе с ней он — издали, внутренне — суетился, терялся, совался вперед и назад и, наконец, упал между рельс, оглушенный ударом. Был один самый последний, короткий, как зигзаг молнии, необычайный, нестерпимо яркий момент, когда Цвет сразу пробежал вторично всю свою прошлую жизнь, от крупных событий до мельчайших пустяков. Многие, к кому подходила вплотную смерть, — бывало ли это в воде, в огне, под землею или в воздухе, — говорят, что они переживали подобные же ощущения. Цвет увидел, точно в хрустальном волшебном зеркале, свое детство: медные каски пожарных и страшные ночные выезды команды, игру в бабки за конюшнями, ловлю рыбы при помощи завязанных штанишек на речке Кизахе и кулачные бои городских мальчишек с заречными турунтаями на льду Кинешемки, духовное училище и гимназию, и всю службу в Сиротском суде, и певческий хор у Знаменья, и свое мирное житие в мансарде на шестом этаже, и визит Тоффеля, и усадьбу в Червоном, и страшную ночь в кабинете дяди-алхимика, и обратную дорогу, и очаровательную Варвару Николаевну с букетом сирени, с розовым

лицом и сладостным голосом, и всю последнюю жизнь, полную скуки, беспамятства, невольного зла и нелепой роскоши. Все это промелькнуло в одну тысячную долю секунды. Теряя сознание, он закричал диким голосом:

— Афро-Аместигон!

Очнулся он на извозчике, рядом с Тоффелем, который одной рукой обнимал его за спину и другой держал у его носа пузырек с нашатырным спиртом. Внимательным, серьезным и глубоким взглядом всматривался ходатай сбоку в лицо Цвета, и Цвет успел заметить, что у него глаза теперь были не пустые и не светлые, как раньше, а темно-карие, глубокие, и не жестко-холодные, а смягченные, почти ласковые.

Приехав домой, Тоффель провел Ивана Степановича в кабинет, заботливо усадил его в кресло, опустил оконные занавески и зажег электричество. Потом он приказал лакею принести коньяку и, когда тот исполнил приказание, собственноручно запер за ним дверь.

— Выпейте-ка, дорогой мой патрон и клиент, — сказал он, наливая Цвету большую рюмку. — Выпейте, успокойтесь и поговорим. — Он слегка погладил его по колену. — Ну-с, самое главное свершилось. Вы назвали слово. И, видите, ничего

страшного не произошло.

Коньяк согрел и успокоил Цвета. Но в нем уже не было ни вражды к Тоффелю, ни презрения, ни прежнего с ним повелительного обращения. Он самым простым тоном, в котором слышалось кроткое любопытство, спросил:

— Вы — Мефистофель?

— О нет, — мягко улыбнулся Тоффель. — Вас смущает Меф. Ис… — начальные слоги моего имени, отчества и фамилии?.. Нет, мой друг, куда мне до такой знатной особы. Мы — существа маленькие, служилые… так себе… серая команда.

— А мой секретарь?

— Ну, этот-то уж совсем мальчишка на побегушках. Ах, как вы его утром великолепно испарили. Я любовался. Но и то сказать, — нахал! Однако о деле, добрейший Иван Степанович… Ну, что же? Испытали могущество власти?

— Ах, к черту ее!

— Будет? Сыты?

— Свыше головы. Какая гадость!

— Я рад слышать это. Но не было ли у вас… Нет, не теперь, не теперь… Теперь вы во сне… А еще раньше, наяву, когда вы не были сказочным миллионером и кумиром золотой молодежи, а просто служили скромным канцелярским служителем в

Сиротском суде… Не было ли у вас какого-нибудь затаенного, маленького, хоть самого ничтожного желаньишка?

Цвет прояснел и сказал твердо:

— Конечно же, было… Мне так хотелось получить первый чин коллежского регистратора и выйти на улицу в форменной фуражке…

— Исполнено, — сказал Тоффель серьезно.

— Да, но если это опять сопряжено с какими-нибудь чудесами в решете?..

— Без всяких чудес. Так хотите?

— Очень.

— Через минуту это сбудется. Скажите еще раз слово.

Цвет сказал с расстановкой:

— Афро-Аместигон.

— Вот и все, — кивнул головой Тоффель. — А теперь послушайте меня. Вы совершенно случайно овладели великой тайной, которой тьма лет, больше тридцати столетий. Ее когда-то извлек из недр невидимого мира духов сам царь Соломон. От него она перешла к финикиянам, к халдеям, потом к индийским мудрецам, потом попала опять в Египет, затем в Испанию, во Францию и, наконец, в Россию. Вместе с этой тайной вы получили ни с чем не сравнимую, поразительно

громадную власть. Тысячи незримых существ служат вам, как преданные рабы, и в том числе я, принявший этот потертый внешний облик и этот глупый боевой псевдоним. И счастье ваше, что вы оказались человеком с такой доброй душой и с таким… не обижайтесь, мой милый… с таким… как бы это сказать вежливее… простоватым умом. Злодей на вашем месте залил бы весь земной шар кровью и осветил бы его заревом пожаров. Умный стремился бы сделать его земным раем, но сам погиб бы жестокой и мучительной смертью. Вы избежали того и другого, и я скажу вам по правде, что вы и без каббалистического слова — носитель несомненной, сверхъестественной удачи.

Но сколькими огромными человеческими соблазнами вы пренебрегли, мой милый Цвет! Вы могли бы объездить весь земной шар и увидеть его во всем его роскошном разнообразии, с его морями, горами, реками, водопадами, от пламенного экватора до таинственной точки полюса. Вы увидели бы древнейшие памятники исторической старины, величайшие создания искусства, живую пеструю жизнь народов. Париж с его вкусом и весельем, себялюбивый и прочный комфорт Англии, бешеная жизнь Нью-Йорка с высоты сорокаэтажных зданий, бой быков в Ма-

дриде, египетские пирамиды, римский карнавал, красота Константинополя и Венеции, земной рай на островах Полинезии, сказочные панорамы Индии, буддийские храмы и курильни Китая, цветущая и нежная Япония — все пронеслось бы перед вашими очарованными глазами… Вы не захотели этого… а теперь уже поздно…

Вы точно забыли или не хотели знать, что в мире существует множество прекрасных женщин. Не только их красота, за которую лучшие люди отдают радостно свою жизнь, дожидалась мановения вашей руки, но также ум, изящество, талант и тот венец женского очарования, который достигается сотнями лет культуры. Но вы робко и безнадежно мечтали только об одной, не смея…

Цвет нахмурился.

— Оставим это… — сказал он тихо, но настойчиво.

Тоффель опустил глаза и почтительно наклонил голову.

— Слушаю, — произнес он покорно. — Но дальше, дальше… Вы никогда не подумали о власти, о громадном, подавляющем господстве над людской массой, а я мог и его вам доставить… Помните, мы с вами вместе были на трибуне во

время проезда государя. Я тогда следил за вами, и я видел, как остро и напряженно вы впились глазами в его лицо и фигуру. И я знаю, что на несколько секунд вы проникли в его оболочку и были им самим.

— Да, да, — прошептал Цвет. — Вы угадали.

— Я видел ваше лицо и видел, как на нем отражались попеременно выражения величия, приветливости, скуки, смертельной боязни, брезгливости, усталости и, наконец, жалости. Нет, вы не властолюбивы. Но вы и не любопытны. Отчего вы ни разу не захотели, не попытались заглянуть в ту великую книгу, где хранятся сокровенные тайны мироздания? Она открылась бы перед вами. Вы постигли бы бесконечность времени и неизмеримость пространства, ощутили бы четвертое измерение, испытали бы смерть и воскресение, узнали бы страшные, чудесные свойства материи, скрытые от человеческого пытливого ума еще на сотни тысяч лет, — а их великое множество, и в числе их таинственный радий — лишь первый слог азбуки. Вы отвернулись от знания, прошли мимо него, как прошли мимо власти, женщины, богатства, мимо ненасытимой жажды впечатлений. И во всем этом равнодушии — ваше великое счастье, мой ми-

лый друг.

— Но у нас, — продолжал Тоффель, — осталось очень мало времени. Склонны ли вы слушаться меня? Если вы еще колеблетесь, то подымите вашу опущенную голову и всмотритесь в меня.

Иван Степанович взглянул и нежно улыбнулся. Перед ним сидел чистенький, благодушный, весь серебряный старичок с приятными, добрыми глазами мягко-табачного цвета.

— Я повинуюсь, — сказал Цвет.

— И хорошо делаете. Начертите сейчас же на бумаге «Звезду Соломона». Нет, не надо ни линейки, ни транспортира, ни старания. Берите на глаз шестьдесят градусов в каждом углу. Время страшно бежит, а срок у нас короткий… Ну вот, хоть так… Теперь проставьте буквы. В середине знак Сатаны. Его озмеяет печать Соломона. Их пересекают скрещенные рога Астарота.

— Не диктуйте, я знаю, я помню, — перебил Цвет и без ошибок, скоро и точно заполнил формулу.

— Верно, — сказал Тоффель. Потом он заговорил веско, тоном приказания и немного торжественно. В его пристальных рыжих глазах, в самых зрачках, зажглись знакомые Цвету фиолетовые огни.

— Теперь слушайте меня. Сейчас вы сожжете эту бумажку, произнеся *то слово,* которое, черт побери, я не смею выговорить. И тогда вы будете свободны. Вы вынырнете благополучно из водоворота, куда так странно зашвырнула вас жизнь.

Но раньше скажите, нет ли у вас, на самом дне душевного сундука, нет ли у вас сожаления о том великолепии, которое вас окружает? Не хотите ли унести с собою в скучную, будничную жизнь что-нибудь веселое, пряное, дорогое?

— Нет.

— Значит, только кокарду?

— Только.

— Тогда позвольте мне принести вам мою сердечную признательность. — Тоффель встал и совсем без иронии, низко, по-старомодному, поклонился Цвету. — Вы весь — прелесть. Своим щедрым отказом вы ставите меня в положение должника, но такого вечного должника, который даже в бесконечности не сможет уплатить вам. Вашим одним словом — «только» — вы освобождаете меня от плена, в котором находился больше тридцати веков. Уверяю вас, что за время нашего непродолжительного, полутораминутного знакомства вы мне чрезвычайно понравились. Добрый вы, смешной и чистый человек. И пусть

вас хранит тот, кого никто не называет. Вы готовы? Не боитесь?

— Немного трушу, но… говорите.

Тоффель воспламенил карманную зажигалку и протянул ее Цвету.

— Когда загорится, скажите формулу.

— Однако подождите, — остановил его Цвет. — А это… новое заклинание… Не повлечет ли оно за собою какого-нибудь нового для меня горя? Не превратит ли оно меня в какое-нибудь животное или, может быть, вдруг опять лишит меня дара памяти или слова? Я не боюсь, но хочу знать наверно.

— Нет, — твердо ответил Тоффель. — Клянусь печатью. Ни вреда, ни боли, ни разочарования.

«Звезда Соломона» вспыхнула. «Афро-Аместигон», — прошептал Цвет. И догорающий клочок бумаги еще не успел догореть, как перед глазами Цвета стало происходить то явление, которое он раньше видел неоднократно в кинематографе, во время сквозной смены картин.

Все в кабинете начало так же обесцвечиваться, бледнеть в водянистом, мелькающем дрожании, утончаться, исчезать — все: портьеры у дверей, ковры, оконные занавески, мебель, обои. И в то же время сквозь них, издали, приближаясь и

яснея, выступали венчики — зеленые с розовым, японские ширмы, знакомое окно с тюлевыми занавесками, и все с каждым мигом утверждалось в привычной милой простоте. Кто-то стучал равномерно, громко и настойчиво за стеною. Точно работал мотор.

И Цвет увидел себя, но на этот раз уже совсем взаправду, в своей давно знакомой комнате-гробе. В дверь давно уже кто-то стучался.

Цвет босиком отворил дверь.

В комнату вошли его сослуживцы: Бутилович, Сашка Рококо, Жуков и Влас Пустынник. Они были пьяны сумбурным утренним хмелем, и это они все вместе ритмически барабанили в дверь. Они вошли, шатаясь, безобразные, лохматые, опухшие, и запели ужасным хором дурацкие, сочиненные сообща на улице куплеты:

*Коллежский регистратор,*
*Чуть-чуть не император.*
*Слава, слава.*

*С кокардою фуражка,*
*Портфель, а в нем бумажка.*
*Слава, слава.*

*Жаловон< ье получает,*

*Бумаги пербеляет.*
*Слава, слава.*

*Листовку пьет запоем,*
*Страдает геморроем.*
*Слава, слава.*

*И о числе двадцатом*
*Поет он благим матом.*
*Слава, слава!..*

А Володька Жуков махал, проходясь вприпляску, нумером «Правительственного вестника», в котором было четко напечатано о том, что канц. служ. Цвет Иван производится в коллежские регистраторы.

Бутилович же сказал голосом, подобным рыканию перепившегося и осипшего от рева тигра:

— Ergo[29], с тебя литки. Выпивон и закусон. А за нами следом вся гоп-компания с отцом протодьяконом Картагеновым во главе.

— Исполнено, — ответил с радостью Цвет. — Ну, как это вы эту песню сочинили? Давайте-ка…

И все.

---

**[29] Примечания: 29**
Следовательно *(лат.)*.

## XII

Рассказ окончен. Поставлена точка. Надо бы было распроститься с героем. Но автор не считает себя вправе умолчать о нескольких незначительных мелочах, которые и наяву как будто бы свидетельствовали о некоторой правдоподобности странного сна, виденного Цветом.

Одеваясь, чтобы идти с товарищами в «Белые лебеди», Иван Степанович с удивлением нашел на своем письменном столике несколько веточек цветущей сирени, воткнутых в дешевую фарфоровую вазочку. Цветы были ранние, искусственно выгнанные, почти без запаха или, вернее, с тем слабым запахом бензина, которым пахнет вся оранжерейная сирень. Этот сюрприз объяснился скоро и просто. Вчера племянница хозяйки, Лидочка, была дружкой на богатой свадьбе и принесла в подарок тетке из своего букета несколько кистей сирени, а та, в виде тонкой любезности, поставила цветы на стол уважаемому жильцу.

Тут же, рядом с вазочкой, лежал цветовский блокнот, раскрытый посредине. Обе страницы были сплошь исчерчены все одним и тем же рисунком — шестиугольной «Звездой Соломона».

Чертежи были сделаны кое-как — небрежно, некрасиво, неряшливо, точно их рисовали с закрытыми глазами, или впотьмах, или спьяну. Как Цвет ни ломал себе голову, он не мог вспомнить, кто и когда исчертил его книжку. Сам он этого не делал — это он знал твердо. «Может быть, кто из товарищей баловался на службе?» — подумал он.

Несколько страннее оказался случай в «Белых лебедях», где Иван Степанович волей-неволей должен был вспрыснуть свой первый чин и великолепную фуражку с зерцалом на зеленом бархатном околыше. Опустив нечаянно пальцы левой руки в жилетный карман, Цвет нащупал в нем какой-то маленький твердый предмет. Вытащив его наружу, он увидел квадратную пластинку из слоновой кости. На ней была красиво вырезана латинская литера S, обведенная снаружи, по краям, тонкими серебряными линиями и закрашенная внутри блестящей черной эмалью. Цвет узнал эту вещицу. Именно такие сантиметровые пластинки с буквами видел он прошлою ночью во сне. Но каким образом она попала ему в карман, Цвет не мог этого представить.

Регент Сребструнов, сияющий, лоснящийся, курчавый и прекрасный, как елочный купидон, увидев квадратик в руке у Цвета, заинтересовал-

ся им и выпросил себе эту пустячную, изящную вещицу. «Точно нарочно для меня, — сказал он. — Первая буква моей фамилии». Цвет охотно отдал ее и сам видел, как регент положил ее в портмоне. Но когда Сребструнов через три минуты хотел опять на нее посмотреть, то в кармане ее уже не оказалось. Не нашлось ее и на полу.

Среди этих поисков Сребструнов вдруг откинулся на спинку стула, хлопнул себя ладонью по лбу и уставился вытаращенными глазами на Цвета.

— Отроче Иоанне! — воскликнул он. — А ведь я тебя нынче во сне видел! Будто бы ты сидел в самом шикарном кабинете, точно какой-нибудь министр или фон-барон, и, выражаясь репортерским языком, «утопал в вольтеровском кресле», а я будто бы тебя просил одолжить мне сто тысяч на устройство певческой капеллы… Скажи на милость — какая ерундистика привидится? А?

Цвет сконфузился, улыбнулся робко, опустил глаза и промямлил:

— Да… бывает…

Но самое глубокое и потрясающее воспоминание о диковинном сне ожидало Цвета через несколько дней, именно первого мая. Может быть, случайно, а может быть, отчасти и под

влиянием своего сна, Цвет пошел в этот день на скачки. Он и раньше бывал изредка на ипподроме, но без увлечения спортом и без интереса к игре, так себе, просто ради компании. Так и теперь он равнодушно следил глазами за скачущими лошадьми, за жокеями в раздувающихся шелковых разноцветных рубашках, за пестрым оживлением нарядной толпы, переполнявшей трибуны.

Во время одной скачки он вдруг почувствовал настоятельную потребность обернуться назад и, обернувшись, увидел в ложе, прямо против себя, Варвару Николаевну. Не было никакого сомнения, что это была она, та самая, которую он не мог забыть со времени своего сна и лицо которой он всегда вспоминал, оставаясь наедине, особенно по вечерам, ложась спать. Она, слегка пригнувшись к барьеру ложи, глядела на него сверху, не отрываясь, пристальными, изумленными глазами, слегка полуоткрыв рот, заметно бледнея от волнения. Цвет не выдержал ее взгляда, отвернулся, и сердце у него заколотилось сильно и с болью.

В антракте к нему подошел молодой бритый красивый офицер-моряк и слегка притронулся к его локтю. Цвет поднял голову.

— Извините, — сказал офицер. — Вас просит на минуту зайти дама вот из той ложи. Мне поручено передать вам.

— Слушаю, — сказал Цвет.

Ноги его, как каменные, ступали по деревянным ступеням лестницы. Ему казалось, что вся публика ипподрома следит за ним. Путаясь в проходах, он с трудом нашел ложу и, войдя, неловко поклонился.

Это была она. Только она одна могла быть такой прекрасной, чистой и ясной, вся в волшебном сиянии незабытого сна. С удивительной четкостью были обрисованы все мельчайшие линии ее тонких век, ресниц и бровей, и темные ее глаза сияли оживлением, любопытством и страхом. Она показала Цвету на стул против себя и сказала, слегка краснея от замешательства:

— Извините, я вас побеспокоила. Но что-то невообразимо знакомое мне показалось в вашем лице.

— Ваше имя Варвара Николаевна? — спросил робко Цвет.

— Нет. Мое имя Анна. А вас зовут не Леонидом?

— Нет. Иваном.

— Но я вас видела, видела… Не на железной ли

дороге? На станции?

— Да. Там стояли рядом два поезда… Окно в окно…

— Да. И на мне было серое пальто, вышитое вот здесь на воротнике и вдоль отворотов шелками…

— Это верно, — радостно согласился Цвет. — И белая кофточка, и белая шляпа с розовыми цветами.

— Как странно, как странно, — произнесла она медленно, не сводя с Цвета ласковых, вопрошающих глаз.

— И — помните — у меня в руках был букет сирени?

— Да, я это хорошо помню. Когда ваш поезд тронулся, вы бросили мне его в раскрытое окно.

— Да, да, да! — воскликнула она с восторгом. — А наутро…

— Наутро мы опять встретились. Вы нечаянно сели не в тот поезд и уже на ходу пересели в мой… И мы познакомились. Вы позволили мне навестить вас у себя. Я помню ваш адрес: Озерная улица, дом пятнадцать… собственный Локтева…

Она тихонько покачала головой.

— Это не то, не то. Я вас приглашала быть у нас в Москве. Я не здешняя, только вчера приехала и

завтра уеду. Я впервые в этом городе… Как все это необыкновенно… С вами был еще один господин, со страшным лицом, похожий на Мефистофеля… Погодите… его фамилия…

— Тоффель!

— Нет, нет. Не то… Что-то звучное… вроде Эрио или Онтарио… не вспомню… И потом мы простились на вокзале.

— Да, — сказал шепотом Цвет, наклоняясь к ней. — Я до сих пор помню пожатие вашей руки.

Она продолжала глядеть на него внимательно, слегка наклонив голову, но в ее потухающих глазах все глубже виделись печаль и разочарование.

— Но вы не тот, — сказала она, наконец, с невыразимым сожалением. — Это был сон… Необыкновенный, таинственный сон… чудесный… непостижимый…

— Сон, — ответил, как эхо, Цвет.

Она закрыла узкой прелестной ладонью глаза и несколько секунд сидела неподвижно. Потом сразу, точно очнувшись, выпрямилась и протянула Цвету руку.

— Прощайте, — сказала она спокойно. — Больше не увидимся. Извините за беспокойство. — И прибавила невыразимым тоном искренней печа-

ли: — А как жаль!..

И в самом деле, Цвет больше никогда не встретил этой прекрасной женщины. Но то, что они оба, не знавшие до того никогда друг друга, в одну и ту же ночь, в одни и те же секунды, видели друг друга во сне и что их сны так удивительно сошлись, — это для Цвета навсегда осталось одинаково несомненным, как и непонятным. Но это — только мелочь в бесконечно разнообразных и глубоко загадочных формах сна, жизни и смерти человека.

*1917*

## Ночная фиалка

Есть в Средней России такой удивительный цветок, который цветет только по ночам в сырых болотистых местах и отличается прелестным кадильным ароматом, необычайно сильным при наступлении вечера. Будучи же сорванным и поставленным в воду, он к утру начинает неприятно смердеть. Он вовсе не родня скромной фиалке. Ночной фиалкой его назвали безвкусные дачницы и интеллигентные гостьи. Крестьяне разных деревень дали ему несколько разнообразных и выразительных названий, которые выпали теперь из моей головы, и я так и буду называть этот цветок ночною фиалкою.

Он не употребляется у крестьян ни как целебное растение, ни как украшение на Троицын день или на свадьбу. Просто его как бы не замечают и не любят. Говорят кое-где, что пахучий цветок этот имеет какую-то связь с конокрадами, колдунами и ведьмами, но изучатели народного фольклора до этого не добрались.

Странные и, пожалуй, невероятные истории рассказывал мне о ночной фиалке Максим Ильич Трапезников, саратовский и царицынский земле-

мер, мой хороший, закадычный дружок, человек умный, трезвый и серьезный.

Мы тогда шли с ним на зевекинском пароходе вверх по Волге, лакомясь камскими стерлядями и сурскими раками, и времени нам девать было некуда, а на разговор о ночной фиалке нас навела веселая девчурка лет семи-восьми, которая на небольшой пристани бойко продавала крошечные букетики этих цветов.

— Вы правы, — сказал он, — кажется, никто не знает его народного названия или очень быстро его забывает. А что касается фиолетового цвета, то этого цвета русский народ совсем не знает и нигде не употребляет. Лиловый он еще понимает по сирени, да и то говорит не сиреневый, а синелевой. И стало быть, наименование цветка «ночная фиалка» выдумано грамотеями. А вот почему оно так широко распространилось по всему лицу земли русской, этого я — воля ваша — уяснить себе никак не могу.

Но вы послушайте-ка, что я вам сейчас расскажу об этом цветике. Удивительная историйка. Расскажи мне ее другой, сторонний человек — ни за что ему не поверил бы, сказал бы: «Брешет парень, баки мне забивает, уши заговаривает». Но в том-то и дело, что во всем, что я вам расскажу, был

я и пристальным свидетелем, и действующим лицом, и, можно сказать, плачевной жертвой. Жигулевского пивка не хватить ли нам по черепушечке? Для освежения гортани? Знатное здесь пивцо.

Ну, итак: окончил я курс в Московском землемерном институте и вышел из него землемер-инженером, с дипломом первого разряда и с золотым гербом на фуражке. Поехал немедленно в Царицын, к моим папочке и мамочке, в родной угол. Папаша мой за всю свою рабочую жизнь обзавелся в нашем уезде стами тремя десятин землишки, домиком деревянным о полутора этажей, сад разбил фруктовый и ягодный огород чудесный, цветничок хорошенький с любимой резедою. Парочку собак подружейных держал для охоты; двух сеттеров, кобелька с сучкою; их было уже двенадцатое поколение. И для рыбной ловли на всякие способы стояли в сенях всевозможные принадлежности. Ну, прямо рай земной, если еще включить домашние варенья и настойки. Ах, боже мой! Какая это радость — приехать в милый теплый отчий дом серьезным, солидным человеком в чине титулярного советника с блестящим будущим впереди! Папочка ведь мой был всю свою жизнь землемером и только недавно

дослужился до губернского землемера. Но начал он свою карьеру во времена очень далекие, еще в конце шестидесятых годов прошлого столетия, в эпоху освобождения крестьян. Ему в радостную диковину были: и мой мундир, зеленый с золотом, и моя усовершенствованная астролябия, и мой теодолит для компасных съемок, с объективом Цейса.

Этот объектив (правда — великолепный) более всего поразил и удивил моего папашу, старого землемера: «Боже мой, до чего дошла современная техника! Это ведь уже не прибор для обмеривания земли, это почти телескоп для наблюдения за небесными светилами. Прости за нескромный вопрос, милый Максимушка, сколько может стоить такое чудо шлифовального искусства?»

Я отвечал, что цены теодолиту я не знаю, так как не сам его покупал, а был он мне поднесен на выпускном акте самим директором института за примерное поведение и отличные успехи.

Тут и мамочка моя немного всплакнула от родительского умиления.

— Вот, — говорит, — как Господь Бог хорошо и ладно устроил, что и отцу от трудов праведных можно будет отдохнуть в своем собственном

домишке, и тебе наследственно отцовское место и отцовскую службу взять на свои рамена. А пока что мы тебе и знатную невесту подыщем. У нас в Заволжье этого добра — непочатый край: и умны, и красивы, и работящи, и с хорошими придаными.

Но тут отец слегка перебил возлюбленную супругу свою:

— Подожди, мать моя. Успеешь с козами на торг. О жене Максиму рано еще загадывать. Всего двадцать лет ему. Пускай у нас на свободе побегает, вволю поест, попьет, воздухом свежим после столицы надышится, знакомствами обзаведется, поохотится, рыбу половит, а там уж что бог даст. Ружье-то мое знаменитое возьми, Максим, себе на память, а я уж стар стал на охоту ходить. Пощебелил, да и за щеку.

И надо сказать, после казенной замкнутой и тесной жизни пристрастился я к охоте, как пьяница к вину. Целые дни проводил на охоте. Постоянным спутником моим, а пожалуй, и учителем был ветеринар Иванов (ударение он ставил на «и» — Иванов), жадный, неутомимый, опытный охотник, прекрасно набивавший ружейные патроны и бывший прежде любимым сотоварищем отца по охоте. Часто мы с ним со-

бирались уйти из дома суток на три, четыре, и тогда ключница мамаши Агата, ее правая рука по хозяйству, снабжала наши ягдташи кое-чем съестным, на случай голода, и согревающим, на случай болотной простуды. И мы уходили куда раньше зари.

Странно: я уже лет с десять знал эту Агату (настоящее-то ее имя было Агафья, но уж мама для благозвучия стала называть ее Агатой), всегда видел ее, приезжая осенью на вакации, а потом, в Москве, никак не мог вспомнить ее лица, голоса и фигуры. Так, что-то тихое, молчаливое, опрятное, бледное и с какой-то неуловимой странностью в глазах.

Ну, а теперь подступаю ближе к моему рассказу. Как-то охотились мы с Ивановым в отдаленных болотцах на дупелей, бекасов и кроншнепов и зашли от дома довольно далеко, так что даже мой сотрудник стал вертеть головой, опознаваясь в местности. Потом увидели, что где-то на западе маячат чуть заметные деревянные столбы. Иванов говорит:

— Я, кажется, это место знаю. Это домишко, поставленный на столбы на случай весеннего разлива, но теперь он почти рухлядь, а живет в нем старая цыганка. Бабы говорят, что она будто

бы колдунья. Мы с вами, как люди образованные, конечно, этим бабьим глупостям не верим, а, однако, попробуем. Пойдем, чай у нас с собой; кипятку нам вскипятят. Вот и попьем китайского зелья с устатку да измочившись на болотах.

Пошли. Приходим. Стоит правда хибарка рухлая, на четырех ножках. В ней старуха, носастая, черная, закоптелая. По виду цыганка. Развела огонь, вскипятила воду в медном тазу. Мы чай заварили, напились и старую ведьму угостили. Тогда она говорит, глядя на меня:

— Дай, барин, ручку, я тебе поворожу.

Иванов ворчит:

— Гоните ее, окаянную, к бесу.

А она уж завладела моей рукой и бормочет:

— Ах, барин молодой, красивый и будет счастлив и богат. Есть у тебя по левую сторону черный человек, он много тебе зла сделать хочет, а только ты его не страшись. Одна девица, молоденькая, хорошенькая, все на тебя глядит. Проживешь долго, до восьмидесяти лет…

И всю другую цыганскую обычную белиберду. Я дал ей пятнадцать копеек. Она опять пристает: позолоти, барин милый, хороший, я тебе настоящее-пренастоящее египетское гадание скажу. Приставала, приставала, — я дал ей еще полтин-

ник. А она опять свою цыганскую мочалку жует. Надоело мне. Собираюсь уходить, а она все свое талдычит. Надел я шапку и уже перевесил ружье через плечо, — она в меня руками вцепилась.

— Послушай, барин ненаглядный. Я знаю, есть у тебя в мешке водочка-матушка. Поднеси стаканчик малый — скажу тебе взаправдашнюю за семью печатями ворожбу… Чего тебе бояться и чего опасаться. Это уж по гроб жизни будет верно и неизменно.

Что делать! Налил я старухе стакан водки. Высосала она его с великим наслаждением, ничем не закусивши, и говорит:

— Больше всего опасайся, молодой барин, лошадиного и кошачьего глаза, а еще духовитой ночной травы, а еще больше — полного месяца. И теперь желаю тебе пути доброго. А если когда от этих троих моих злых недугов захвораешь, заходи ко мне в хибарку мою, я тебе отворот верный дам.

Ушли мы и больше в этот день не охотились, а когда возвратились домой, то Иванов все меня пилил за цыганку:

— Не могли ничего лучше выдумать, как фараонову отродью стакан вина стравить. Эх вы, ученые столичные!

На другой день с утра пошел дождь и заладил надолго. Пришлось оставить охоту и заняться днем чтением, а вечером винтом в общественном клубе или преферансом по маленькой с родителями.

Сам не могу припомнить, когда меня вдруг несказанно поразили глаза Агаты. Кажется, это было за столом. Случайно взглянув на Агату, я увидел, что в ее зрачках горят странные тихие огоньки. Они менялись сообразно поворотам Агатиной головы то зелеными, то красными, то лиловыми, то фиолетовыми. Такую световую игру глаз я видел иногда у лошадей и кошек в темном помещении.

И вот, с этого мгновения, как бы впервые увидел Агату, которую знал, но точно не видел в течение нескольких лет. Она вдруг показалась мне и выше ростом, и стройнее, и увереннее в своих спокойных, неторопливых движениях. Сколько ей было лет, я не мог разобрать. Тридцать? Тридцать пять? Сорок? Нижнюю ее губу время от времени быстро дергал небольшой тик. Она никогда не смеялась и не улыбалась, но в добрые и приятные минуты ее лицо как-то теплело внезапно на короткое время и становилось привлекательным.

Я спросил однажды матушку о прошедшей судьбе Агаты, но получил весьма скудные сведения:

— Агата (по-настоящему Агафья) — побочная дочь спившегося и обнищавшего мелкого дворянина и его служанки; круглая сирота, которую мы из милости взяли в свой дом. С детства обучали ее хозяйственному обиходу и посылали сперва в начальную, а потом в среднюю школу. Ничего себе, девчонка росла прилежная, послушная, понятливая, признательная за благодеяние, ей оказанное, а потом, будучи лет так одиннадцати, вдруг куда-то сгинула, так что и следов ее нельзя было отыскать. Вернулась через год. Оказывается, все время с цыганами бродила. Пришла и горькими слезами разливается: «Простите меня, ради бога, и опять к себе возьмите. Никогда больше вас огорчать не стану». Ну, что тут сделаешь? Взяли мы ее к себе обратно. Идет время — мы Агашей налюбоваться не можем, нахвалиться досыта не устаем, чудо в нашем доме растет: уж и рукодельница она, и стряпуха первоклассная, и набожная, и смирна, и умна, и практична, и весела… И что же?.. Садимся мы с мужем за стол, я Агату к обеду кличу. Входит она, как водой облитая: голова опущена, глаза в пол смотрят. «Что такое

с тобой случилось?» А она еле слышно отвечает: «Благодетели вы мои, дайте мне разрешение и благословение в Белогорский монастырь идти на святое пострижение в монашество». Господи, что за чудеса в решете? Стали мы ее всеми силами отговаривать: «Да куда тебе в монастырь, если тебе всего шестнадцать лет. Да какой у тебя может быть страшенный грех, чтобы его замаливать, и тому подобное». Нет, уперлась, как бык, утром завязала в платочек все свое жалкое бельецо и испарилась. Жалели мы ее сердечно, но что поделаешь, если на девку накатило?

Сколько лет после этого прошло, мамаша не помнила: не то семь, не то восемь, и что вы думаете, опять вдруг наша Агаша объявилась. Пала перед нами на колена, лбом об пол бьется:

— Простите меня, окаянную, заблудящую, в последний раз, последний раз прибегаю к вашей доброте ангельской, неисчерпаемой. Богом и святым Евангелием клянусь, что это уж мое последнее, распоследнее бегство. От сего дня до самой моей гробовой доски буду рабой верной и нелицемерной как вам, так и дому вашему и всему потомству вашему… — и все прочее и тому подобное…

И вот с тех пор живет она у нас, тихая, покорная,

бессловесная, учтивая; ну, прямо как монахиня скитская. И даже пахнет от нее как-то смиренно мудрено свечой восковой, ладаном и миром.

Вскоре и я совсем перестал обращать внимание на тихую Агату, точно она была старой мебелью или, точнее, совсем не существовала в доме, и странные огни, зажигавшиеся порою под длинными ресницами ее опущенных глаз, перестали меня удивлять и беспокоить. А я в то время подумывал уже серьезно о достойной женитьбе, покоряясь родительским настояниям. Женихом я считался по тамошним местам очень видным: молод, здоров, не урод, интеллигентен, стою на линии инженера, танцую вальс в три темпа, мазурку, краковяк и падеспань и дирижирую кадрилью на приличном французском языке. Ну, также и накопленное папенькино состояние. Кое-каких прекрасных и богатых девиц я уже имел на примете… Но вот тут-то и грянуло на меня чертовское несчастие…

Позабыл теперь, в каком году это случилось, помню только, что в пятницу, в конце июня. День выдался такой невыносимо знойный, какие бывают редкими даже у нас в Заволжье; только к позднему вечеру стало возможным вздохнуть полной грудью. Я выкупался, поужинал и пошел

в наш запущенный сыроватый сад и сел на скамейку, расстегнув догола ворот рабочей рубахи. Ох, какое наслаждение после дневного истомного пекла вдыхать свежий, душистый, прохладный воздух! Стало темнеть, выкатился огромный, без единой ущербинки, круглый, серебряный, бледный месяц. Где-то засветились и задрожали крошечные светлячки. Сад стал бледно-волшебным. Я услышал чьи-то легкие шаги. Это шла Агата, вся облитая бледно-зеленым светом.

— Позвольте мне присесть около вас, Максим Ильич, — сказала она дрожащим голосом.

Я посторонился.

— Пожалуйста, прошу вас. Посмотрите, какая прекрасная ночь.

— Да, прекрасная, — отозвалась она. — Прелестная. Возьмите, вот я вам букетик цветов принесла, чудно пахнут как.

Одновременно я почуял упоительный, зовущий, возбуждающий аромат и почувствовал ее горячую руку на моей ноге. Пылкое, никогда не испытанное мною желание пробежало по всему моему телу, от ног до волос на голове. Я чувствовал, что весь дрожу, а она тихо говорила, обдавая мое лицо своим дыханием:

— Если бы вы, Максим Ильич, знали, как я

привязана ко всему вашему дому! Как я люблю вас всех! И папу вашего, и мамочку, и вас люблю. Люблю, люблю, люблю! О Максим Ильич, я хотела бы быть всю жизнь рабою вашей, собакой вашей, ковром вашим, подстилкой для ног ваших! О, как страшно я люблю вас! Если бы нужно было для вашего здоровья или для вашего удовольствия отдать всю кровь мою и все тело мое и даже загубить навек бессмертную душу мою, я с радостью отдала бы все!

Нет! Об этой ночи словами не расскажешь! Наглый, колдовской месяц, сводник влюбленных, друг мертвецов, покровитель лунатиков, одуряющие запахи ночной фиалки и ее безумно жаждущего тела, зеленые и красные огни в ее зрачках… Она говорила, лежа, содрогающаяся, на моей обнаженной груди:

— Одна мечта моя за много лет была — поцеловать тебя в губы, в губы и умереть тут же на месте.

И мы поцеловались. Силы небесные, что это был за поцелуй. Мне казалось, что земля кружится подо мною и что я схожу с ума. А она шептала восторженно:

— Еще, еще, еще…

Я пришел в свою комнату на рассвете. Ноги мои

подгибались, в голове гудел шум, все мускулы ныли, руки тряслись, лицо горело.

Мать моя зашла ко мне и спросила:

— Что с тобою, Максим, ты сам на себя не похож?

Я сказал:

— Это от жары, день был ужасно жаркий.

А она сказала:

— Нет, это не от солнца. Это лунный удар, иди скорее в постель. Сном все пройдет.

Я лег. Ночью пришла ко мне Агата, а под утро я к ней прокрался в антресоли. Так у нас и пошло каждый день, каждый час, всегда. Мы стали друг к другу голодны и никогда не насыщались.

Черт знает, откуда эта женщина, рожденная и воспитанная в диком захолустье, могла научиться этим бесстыднейшим и утонченнейшим любовным приемам, затеям и извращениям, о которых мне теперь даже вспоминать срамно. Но тогда я жил в каком-то блаженном и сладостном аду, обвязанный невидимыми тонкими стальными нитями. Оба мы, радостно-безумные, сумасшедшие, ни о чем не думали, кроме нашей любви. Мы узнавали друг друга издалека: по голосу, по походке, по запаху, узнавали — и неудержимо стремились друг к другу, чтобы

вновь упиться бешенством разъяренной страсти. Все кусты, амбары, конюшни, погреба и пристройки были нашими кровлями любви.

Агата хорошела и здоровела, но я радостно шел к гибели. Я стал похож на скелет своею изможденностью, ноги мои дрожали на ходу, я потерял аппетит, память мне изменила до такой степени, что я забыл не только свою науку и своих учителей и товарищей, но стал забывать порою имена моих отца и матери. Я помнил только любовь, любовь и образ любимой.

Странно, никто в доме не замечал нашей наглой, отчаянной, неистовой влюбленности. Или в самом деле у дерзких любовников есть какие-то свои тайные духи-покровители? Но милая матушка моя, чутким родительским инстинктом, давно догадалась, что меня борет какая-то дьявольская сила. Она упросила отца отправить меня для развлечения и для перемены места в Москву, где тогда только что открылась огромнейшая всероссийская выставка. Я не мог идти наперекор столь любезной и заботливой воле родителей и поехал. Поехал. Но в Нижнем Новгороде такая лютая, звериная тоска по Агате мною овладела, такое жестокое влечение, что сломя голову сел я в первый попавшийся поезд и полетел стремглав

домой, примчался, наврал папе и маме какую-то несуразную белиберду и стал жить в своем родовом гнезде каким-то прокаженным отщепенцем. Стыд меня грыз и укоры совести. Сколько раз покушался на себя руки наложить, но трусил, родителей жалел, а больше — Агатины соблазны манили к жизни. Вот тут-то самоотверженная матушка моя начала энергично разматывать тот заколдованный клубок, в нитях которого я так позорно запутался. Вначале взялась она за ветеринара Иванова, с которым мы прежде постоянно охотились. Тот рад-радехонек был прийти на помощь, чем может. Рассказал точно и обстоятельно о том, как мы зашли к цыганке, как цыганка гадала на мое счастье, как указывала, чего мне следовало бояться и опасаться, и как велела обратиться к ней за отговором в случае беды. Тогда мамаша послушно пошла к цыганке и долго с ней говорила. Уходя, совала гадалке четвертной билет, но та не взяла. «Я, говорит, божьему делу помогаю, а за это денег не берут». К последнему сходила матушка — к соборному протоиерею, отцу Гавриилу, священнику постарелому и святой жизни. Протоиерей ее благословил и наставил.

Наступил день архангела Гавриила. Матушка заказала молебен на дому. Собрала в зальце всех

домочадцев, включая и Агату. И меня научила, что мне делать и говорить. Отслужили молебен честь честью. Духовенство отбыло. Тогда мамочка начала говорить тихо и внушительно, глядя серьезно на Агату:

— Милая наша Агата, вот была ты много лет верным другом нашего дома, нашей трудолюбивой помощницей и терпеливой сотрудницей. И вот подумали мы, что довольно тебе быть приставницей у стад наших и что пора тебе обзавестись собственным домиком и собственным хозяйством. Вот в этом бумажнике, который я тебе передаю, есть крепостная на небольшой клочочек земли и сумма денег, необходимых для первого обзаведения хозяйством. Это все от мужа, а от меня двадцать выводков кур, гусей, уток и индюков. От сына же нашего Максима получишь ты необходимую мебель, а на память золотые часики работы Мозера. Вручи их, Максик, Агате.

Передал я часики, и простился с ней последним взглядом, и видел, как она смертельно побледнела. Тогда матушка взяла кропило и окропила всех присутствующих освященной крещенской водою, а сама читала трогательное воззвание к Божьей Матери: «Призри с небеси, всепетая Богородица, на их лютое телесе озлобление и утоли

печаль их души…»

Вот и конец всему. А той же ночью исчезла Агата из дома, никому не сказавшись, ничего не взявши с собою из подаренных денег и вещей.

Так и пропал ее след навеки. А мать в свой поминальник включила рабу Божью Агафоклею, недугующую и страждующую, и поминает ее за каждой обедней и всенощной…

*1933*

# Александр Грин

# Мрак
## I

Я никогда не находил удовольствия в так называемых «светлых явлениях», отчасти по скучнейшей их одинаковости, законченности и шаблонности, отчасти по причинам необъяснимого происхождения, лежавшим, надо полагать, в основе моей души со дня рождения. Грубое, топорное зло тоже отталкивало меня, особенно если оно преследовало какую-либо практическую, материальную цель: деньги, наслаждения, вообще — корысть. В жизни более всего нравилось мне зло обдуманное, бесцельное зло для зла, для спорта, для удовлетворения преступных инстинктов.

Происходя из богатой, образованной и почтенной семьи, я, в силу своего положения, должен был вести обычную жизнь людей нашего круга: посещать балы, концерты, вечера, модные лекции, театры и выставки. Обстановка такого времяпрепровождения мало располагала к искренности и откровенности, и мне нельзя было ни с кем поговорить о себе, большинство, если не

все мои знакомые, были порядочными лицемерами и, вероятно, прозвали бы меня чудовищем, посвяти я их в тайны своих мрачных наклонностей. Я жил одиноко в мире жестоких грез.

Определить, объяснить, как, с какого именно времени появилось, выросло и окрепло во мне желание совершить убийство — я не мог бы, даже размышляя годами. Вид живого человека, кто бы он ни был, начал возбуждать во мне тяжкую, глухую тоску, потребность прекратить эти не зависящие от меня движения рук, ног, спины, шеи, эти звуки чужого голоса, дыхания, эти явления чужой жизни, тревожившие и угнетавшие мое больное внимание. Вид трупа не менее угнетал меня, но то было, кажется, ревнивое чувство, ревность к смерти, опередившей меня в данном случае.

Я опускаю подробности борьбы с собой в эти жуткие месяцы, — скажу лишь, что потребность убить стала неодолимой, я должен был уничтожить человеческое существо или всю жизнь ужасаться этим настойчивым, маниакальным стремлением. Решение созрело внезапно, как бы во сне; я вздохнул полной грудью и стал обдумывать преступление.

## II

Не очень смешно это: обдумывать убийство, не зная еще кого убить, где и каким образом. Я три дня подыскивал мысленно подходящую жертву. Многие из знакомых моих не годились для этой цели, все это был народ чванный, сильный, здоровый, удачливый в жизни и в делах, словом, не принадлежащий к типу людей, погибающих тайной, насильственной смертью; в наружности их не было ничего рокового, а этого-то я и искал, ради не цели, а логичности преступления. Наконец я остановился на Рифте.

Рифт был молодой человек, болезненный, склонный к предчувствиям и меланхолии. Собою представлял он не разочарованного, а тот человеческий пустоцвет, с каким склонны возиться истеричные дамы, утверждая «избранность натуры» там, где душа просто зевает от скуки и бесталанности.

Рифт любил повторять, что жизнь его трагична и что он предчувствует близкий конец. Правда, трагического в его жизни было лишь множество долгов, но он так уверил себя в горестности своего существования, что разговаривал не иначе, как

вздыхая и морщась.

Лицо аскета, глаза больной овцы и волосы Рубинштейна — вот его грубый портрет.

Он любил охоту, я тоже (по ужасным причинам, уже рассказанным), и мы в теплый осенний день отправились двое в горные леса Лилианы, моей родины.

К закату солнца достигли мы весьма мрачной и удивительно дикой долины, в которой я никогда не был. Я спрашивал себя: не влияние ли некиих неведомых сил, что мы остановились на ночлег именно в такой местности? Ее вид наполнял душу угрюмостью, вызывая скорбные и зловещие мысли, необъяснимый трепет почувствовал я, рассматривая пейзаж. Как нельзя более был создан он для убийства или другого черного дела.

Плохая репутация мельниц, лесных постоялых дворов и каменоломен, быть может, складывалась под влиянием обстановки, толкающей к преступлению. Эта долина была ровным, каменистым скатом к обрыву пропасти. Мох, какого-то неприятно желтовато-белого цвета, покрывавший боковые холмы, и кусты терновника составляли всю растительность долины, придавая ей как бы прокаженный, проклятый вид, однотонный и отвратительный.

Вялые изгибы холмов и тучи, обложившие небо, и мертвенный последний свет запада, в соединении с огромной, дикой пустотой, с молчанием и полной уединенностью — веяли отчаянием. Именно отчаяние души, увидевшей себя преступно-свободной, выражалось этой дьявольской местностью. Я заглянул в пропасть: на глубине — высоте колокольни — стоял непроницаемый слой белого пара, скрывавшего бездну. Из пропасти несло холодом.

— Неужели мы будем ночевать здесь? — сказал Рифт. — Не очень это веселое место, место не для нервных людей, — прибавил он неохотно, как бы боясь действия слов.

— Какая разница, — возразил я, — между своей спальней и таким ночлегом? Я не вижу никакой разницы.

— Вы шутите, — сказал он.

— Так же умирают в постели, как и в пустыне, — сказал я, пугаясь сказанного, смысл которого был известен мне и чужд Рифту. Он вздрогнул.

— Что это с вами? — спросил Рифт. — Ваша речь похожа на бред… вы дрожите… вы больны?

Тут он сделал некий необыкновенно жизненный, характерный для него жест: слегка стукнул ногой о ногу, как бы шаркнув. Неудержимое

желание убить его поднялось во мне, но я ждал, ждал, когда мной овладеет ужас неизбежного и передастся Рифту и когда с ужасом, с тоской и криком я нападу на него инстинктивно, как кошка бросается на мышь.

Привязав лошадей к кустам, мы нарубили сколько могли терновника и зажгли костер. Я помню, что мы закусывали, говорили о городских событиях и уснули, помню также, что перед тем, как уснуть, я странным образом перестал думать об убийстве и, удивляясь этому, отложил дело.

Я спал очень крепко. Я проснулся (взглянув на часы) в середине дня. Еще лежа, я подумал, что Рифт вчера ошибся, говоря о кабанах по ту сторону гор, и захотел сказать ему, что там нет кабанов, но, осмотревшись, увидел с безграничным удивлением, что Рифт исчез. Не было ни его, ни его ружья, ни одеяла, ни лошади. Я был один.

Ничего не понимая, я закричал, призывая Рифта, и не получил отклика. Я выстрелил несколько раз — и безрезультатно. Теряясь в предположениях, в беспокойстве о пропавшем приятеле, я объездил несколько верст в окружности и не заметил даже следов копыт.

— Я мог пропустить следы, — сказал я, останавливаясь на краю пропасти с некоторым

сомнением, с некоторым уклоном мысли в сторону невозможного. — Я торопился… наверное, Рифт пошутил со мной и он где-нибудь здесь поблизости. Но где?

Я не мог также не видеть, что нахожусь в очень бодром, здоровом и ясном состоянии духа. Я как бы вышел из укрепляющей ванны. Я выспался. Мои планы убийства, мои зловещие, повседневные замыслы казались теперь, хотя я вспоминал это с лукавой и рассеянной леностью, очень смешным капризом, недостойным пожатия плечами, даже воспоминания. Тем более я хотел отыскать Рифта. Я хотел воочию увидеть то, чего не сделал, в живом образе человека. Я знал теперь, что никогда не мог стать убийцей, я, джентльмен с головы до ног, сливки цивилизации, человек с лицом мыслителя и привычками сноба!

Как сказал, я стоял, будучи верхом, на краю пропасти, смотря в нее с тем недоумением, с каким потерявший что-либо человек беспомощно уставляется взглядом на любую вещь, желая сосредоточиться для понуждения памяти. Нервность моей лошади удивила меня. Конь беспокойно переступал с ноги на ногу, прядал ушами и все время находился в состоянии сдавленного уздой кипения, его ноздри широко раздувались,

и вот он оглушительно, потрясающе заржал, высоко вскинув прекрасную черную голову.

Прошло несколько изнурительных мгновений ожидания, в течение которых неподвижно совершалось во мне бурное потрясение, я слышал вихри и голоса, стоны и оглушающие удары, и неумолимое придвижение ужаса почти лишило меня сознания. Тогда из глубины пропасти, из слоя белого холодного пара, опущенного в ее расселистый зев, достигло моих ушей слабое ответное ржание, и я узнал голос лошади Рифта.

Этого было достаточно, чтобы моя воскресшая в судорогах и в болях память вернула меня к тому глухому часу ночного молчания, когда я, действуя бессознательно, душил сонного Рифта, когда тащил к пропасти труп и, бросив его в пар, сделал то же с вещами жертвы, и когда, терзаясь невыносимым страхом преследования, подвел к обрыву бедную лошадь, выпустив в нее пулю, после чего она покатилась к мертвому своему хозяину.

Вероятно, после несмертельного выстрела тело ее застряло где-то в уклоне заросшего кустами обрыва пропасти, и теперь околевающее животное отвечало призывному наверху ржанию.

И теперь, когда освобожденная от мрака душа

силилась понять, как могла она дышать этим мраком и всячески отталкивала его, я должен был завершить жизнь с неотступно звучащим из бездны ржанием и мертвым лицом Рифта перед глазами.

*1917*

# Серый автомобиль
## I

16 июля, вечером, я зашел в кинематограф с целью отогнать неприятное впечатление, навеянное последним разговором с Корридой. Я встретил ее переходящей бульвар. Еще издали я узнал ее порывистую походку и характерное размахивание левой рукой. Я раскланялся, пытаясь отыскать тень приветливости в этих больших, с несколько удивленным выражением глазах, выглядящих так строго под гордым выгибом шляпы.

Я повернулся и пошел рядом с ней. Она шла скоро, не убавляя и не прибавляя шага, иногда взглядывая в мою сторону, помимо меня. Я замечал, что на нее часто оглядываются прохожие, и радовался этому. «Некоторые думают, вероятно, что мы муж и жена, и завидуют мне». Я так увлекся развитием этой мысли, что не слышал обращений Корриды, пока она не крикнула:

— Что с вами? Вы так рассеянны.

Я ответил:

— Я рассеян лишь потому, что иду с вами. Ничье

другое присутствие так не распыляет, не наполняет меня глубокой, древней музыкой ощущения полноты жизни и совершенного спокойствия.

Казалось, она была не очень довольна этим ответом, так как спросила:

— Когда окончите вы ваше изобретение?

— Это тайна, — сказал я. — Я вам доверяю более, чем кому бы то ни было, но не доверяю себе.

— Что это значит?

— Единственно, что неточным объяснением замысла, еще во многих частях представляющего сплошной туман, могу повредить сам себе.

— Тысяча вторая загадка Эбенезера Сиднея, — заметила Коррида. — Объясните по крайней мере, что подразумеваете вы под неточным объяснением?

— Слушайте: лучше всего мы помним те слова, которые произносим сами. Если эти слова рисуют что-либо заветное, они должны совершенно отвечать факту и чувству, родившему их, в противном случае искажается наше воспоминание или представление. Примесь искажения остается надолго, если не навсегда. Вот почему нельзя кое-как, наспех, излагать сложные явления, особенно если они еще имеют произойти: вы вносите путаницу в самый процесс развития замысла.

Эту тираду мою она выслушала с любезной миной, но насторожась; я чувствовал, что мое общество становится ей все тягостнее. Мы молчали. Я не знал, попрощаться мне или идти далее. К последнему я не видел поощрения, наоборот, лицо Корриды выглядело так, как если бы она шла одна. Наконец она сказала:

— Брат подарил мне новый «Эксцельсиор». Большое общество отправляется на прогулку через два дня; это будет настоящее маленькое скорострельное путешествие. Я присоединяюсь. Хотите, я возьму вас с собой?

— Нет, — сказал я твердо, хотя острое мучение она слышала, надо думать, в тоне этого слова. Не желая показаться грубым, я прибавил: — Вы знаете, как я ненавижу этот род спорта. — Я едва не сказал: «эти машины», но предпочел более общее уклонение.

— Но почему?

— Я некогда довольно распространился об этом в вашем присутствии, — сказал я, — я вызвал веселый, слишком веселый смех, и не хотел бы слышать его второй раз.

— Решительно вы озадачиваете меня. — Она остановилась у подъезда, взглянув мельком, прищуренными глазами на вывеску мод, и я понял,

что надоел. Вывеска была только предлогом. — Да, вы озадачиваете меня, Сидней, и я думаю, что лишь плохое состояние ваших нервов причиной такой странной ненависти к… к… экипажу. — Она рассмеялась. — Прощайте.

Я поцеловал ее руку и поспешно ушел, чтобы не уличить случайно эту девушку в дезертирстве — она могла выйти, не посмотрев, здесь ли я еще.

Мне не было стыдно. Я мог бы любезно лгать, поехать с компанией идиотов и долго, долго смотреть на нее. Но я уже дал слово не лгать, так как очень устал от лжи. Как все, я жил окруженный ложью, и ложь утомила меня.

Когда я переходил улицу, направляясь в кинематограф, под ноги мне кинулся дрожащий, растущий, усиливающийся свет и, повернув голову, я застыл на ту весьма малую часть секунды, какая требуется, чтобы установить сознанию набег белых слепых фонарей мотора. Он промчался, ударив меня по глазам струей ветра и расстилая по мостовой призраки визжащих кошек, — заныл, взвыл и исчез, унося людей с тупыми лицами в котелках.

Как всегда, каждый автомобиль прибавлял несколько новых черт, несколько деталей моему отвращению. Я запомнил их и вошел в зал.

Это был скверный театрик третьего разряда, с грязным экраном и фальшивящей пианолой. Она разыгрывала трескучие арии. Картина, каких много — тысячи, десятки тысяч, была пуста и бессодержательна, но доставляла мне огромное удовольствие именно тем, что для ее развития затрачено столько энергии, — беспрерывного, мелькающего движения экранной жизни. Я как бы видел игрока, ставящего безуспешно огромные суммы. Аппарат, силы и дарование артистов, их здоровье, нервы, их личная жизнь, машины, сложные технические приспособления — все это было брошено судорожною тенью на полотно ради краткого возбуждения зрителей, пришедших на час и уходящих, позабыв, в чем состояло представление, — так противно их внутреннему темпу, так неестественно опережая его, неслись все эти нападения и похищения, пиры и танцы. Мое удовольствие, при всем том, было не более как злорадство. На моих глазах энергия переходила в тень, а тень в забвение. И я отлично понимал, к чему это ведет.

Между тем, частью рассматривая содержание картины, я обратил другую, большую часть внимания на появляющийся в ней время от времени большой серый автомобиль — ландо. Я всмат-

ривался каждый раз, как он появлялся, стараясь припомнить — видел я его где-либо ранее или мне это только кажется, как часто бывает при схожести видимого предмета с другим, теперь забытым. Это был металлический урод обычного типа, с выползающей шестигранной мордой, напоминающий поставленную на катушки калошу, носок которой обращен вперед. На шофере был торчащий ежом мех. Верхнюю половину лица скрывали очки, благодаря чему, особенно в условиях мелькающего изображения, рассмотреть черты лица было немыслимо, — и однако я не мог победить чувства встречи; я проникся уверенностью, что некогда видел этого самого шофера, на этой машине, при обстоятельствах давно и прочно забытых. Конечно, при бесчисленной стереотипной схожести подобных явлений, у меня не было никаких зрительных указаний — никаких примерно индивидуальных черт мотора, — но его цифра С.С. — 77—7, — некогда — я остро чувствовал это — имела связь с определенным уличным впечатлением, характер и суть которого, как ни тщился я вспомнить, не мог. Память сохранила не самый номер, но слабые ощущения его минувшей значительности.

Однако этого не могло быть. Фильма вышла из

американской фабрики, и съемка различных ее сцен была произведена, судя по характеру улиц, в Нью-Йорке, следовательно, тамошняя бутафория пользовалась предметами местными; я же не выезжал из Аламбо лет пять и никогда не был в Америке. Следовательно, мнимое воспоминание было не более как эффектом случайного происхождения. И тем не менее, — этот автомобиль с этим шофером я видел.

Когда нами овладевает уверенность в чем-нибудь, хотя бы мало — или совсем необоснованная, бороться с ней так же трудно, как птице, севшей на вымазанные клеем листья, — каждое движение прочь ловит и связывает ее крылья новой помехой. Таковы фантомы ревности или преследования, болезни — всего, что так или иначе угрожает. Самые разумные усилия приводят здесь к новым доказательствам, возникающим из пустоты. Уверенность того рода, какой я проникся в кинематографе, не имела ничего пугающего или неприятного, если не считать моего отвращения к автомобилю, но я досиживал сеанс со странным чувством начала некоего события, ткущего уже невидимую паутину свою.

Я не касаюсь персонажей той хищной и дрянной пьесы, которая держала на привязи жалкое

воображение зрителей чрезмерными прыжками и сатанинскими преступлениями, очевидно, смакуемыми известного рода публикой, выносящей отсюда азарт и идеал свой… Но автомобиль С. С. — 77—7 я прослеживал каждый раз чрезвычайно внимательно, волнуясь при каждом его появлении. Их было шесть или семь. Наконец он выкатился с холма издали серым наростом среди живописных картин дороги и начал валиться по ее склону на зрителя, увеличиваясь и приближаясь к натуральной величине. Он мчался на меня. Одно мгновение края полотна были еще частью пейзажа, затем все вспыхнуло тьмой, оскалившей два наносящиеся фонаря, и призрак исчез, лишь тень — воображенное продолжение движения — рыскнула над головой бесшумной дрожью сумерек; и вновь вспыхнул пейзаж.

Более мне нечего было делать в кинематографе. К моим соображениям относительно автомобиля прибавилась еще одна черта, может быть — верное указание, одно из тех, которым мы бываем обязаны так называемой случайности. Это соображение я пока не развертывал, оставляя будущему придать ему силу — если понадобится — действия, но холод великого подозрения уже охватил меня. Поддавшись необъяснимому толч-

ку — словно на меня пристально обернулся кто-то — я прочел аршинные буквы ярко озаренного плаката, украшавшего вход в театр.

Название гласило:

СЕРЫЙ АВТОМОБИЛЬ Мировая драма в 6000 метров!

Лучший боевик сезона! Масса трюков!

## II

Нечто весьма неприятное вошло в меня, как будто мне наступили на ногу, нагло рассмеявшись и продолжая подсмеиваться за спиной. Поспешно я отошел, стараясь быстрой ходьбой и мелкими уличными наблюдениями разогнать скверное настроение, но оно медленно уступало моим усилиям, ловя каждую паузу размышлений, чтобы опять поставить, на некотором расстоянии впереди меня, слова *«серый автомобиль»*. Хотя как я прошел два квартала, графическая отчетливость букв исчезла — их заменил звук, казалось, эти два слова повторял кто-то далеко, тихо и тяжело. Я всегда избегал алкоголя, обращаясь к нему лишь в исключительных случаях, но теперь почувствовал необходимость выпить

чего-нибудь.

Как известно, улица современного города подстерегает каждое желание наше, спеша удовлетворить его всегда кстати подвернувшейся вывеской или витриной. Я совершенно уверен, что человек, проходя фруктовыми рядами Голландской Биржи и почувствовавший нужду в каком-нибудь геодезическом инструменте, непременно увидит инструмент этот в окне невесть откуда взявшегося специального магазина.

Вино караулит нас в самых, казалось бы, для того не приспособленных местах. Что может быть вину убыточнее глухого угла между стеной Географического Института и Бульвара Секретов, где даже днем так густы тени огромных деревьев, что вся стена пахнет прохладой и сыростью; там почти нет эпилептического уличного движения, брызги которого разлетаются по бесчисленным ресторанам, звеня золотом и посудой. Однако, огибая этот угол, я увидел небольшую каменную пристройку, которой либо не было ранее, либо я не замечал ее. Эта пристройка, на два окна со стеклянной дверью меж ними, была маленьким рестораном, окруженным трельяжем, и я сел за стол у двери в качалку.

Здесь было немного посетителей. Смотря через окно в помещение, я увидел двух толстяков, играющих в домино, дремлющего, протянув ноги, пароходного механика с опущенной со стола кистью руки, в которой еле дымилась готовая упасть папироска, и трех закинувших нога на ногу женщин; они курили, забрасывая лицо вверх и выпуская дым медленными, однообразными кольцами.

Лакей подал ликер. Это был особенный травяной экстракт, очень крепкий. Я выпил две рюмки, выпил, помедлив и отставив графин, третью.

Действие не замедлило сказаться. Я ощутил ровную теплоту и точный ритм момента, быть может, определяемый скоростью биения сердца, может быть — пульсом внимания, интервалами его плавно набегающей остроты; мышление протекало интенсивно и бодро. Выпив, я рассмеялся над своим недавним волнением, прислушиваясь к свистящему по временам шелесту шин, с ясным сознанием, что меж мной и серым 77—7 не может возникнуть никакой связи, что ее нет. Уравновешенно остер и точен был я в тот момент в каждом отчетливом впечатлении своем — состояние, дающее ни с чем не сравнимое удовольствие, и я пользовался этой минутой, чтобы обдумать

некоторые моменты моего изобретения.

Коррида Эль-Бассо, женщина неизвестной национальности — я говорю это смело, так как имею для того веские основания, — была заинтересована моим изобретением из вежливости. От меня зависело превратить эту форму чувства, эту пустую приятную улыбку, вызванную хорошим пищеварением, в чувство, быть может, в страсть. На это я не терял надежды. Но я должен был поразить и тронуть ее сразу, врасплох, может быть, в такую минуту, когда мое присутствие ею будет только терпимо. Когда наступит момент, изобретение — или вернее то, о чем она думает как об изобретении — встретит ее всем блеском и обдуманностью крайней, болезненной, всеохватывающей решимости, — оно вызовет глубокое и яркое возрождение. Тем лучше. Тогда я узнаю истинную природу женщины Корриды Эль-Бассо, которую полюбил. Я увижу, есть ли другой оттенок в ее лице цвета желтого мела. Я услышу, как звучит ее голос, говоря «ты». И я почувствую силу ее руки, — ту особенную женскую силу, которая, переходя теплом и молчанием в наши руки, так электрически замедляет дыхание.

Удобно покачиваясь, я был мысленно в своей «лаборатории», в ущелье Калло, окрещенном так,

вероятно, родственником знаменитого художника или его поклонником. На мое плечо легла легкая нервная рука; не оборачиваясь, я знал, что это Ронкур. Действительно, он сел против меня, спрашивая, что я делаю здесь?

— Отличное место для свидания, — прибавил он, — или для самоубийства. Свет окна, таинственная сеть листьев на тротуаре, одиночество и вино. Сидней, я иду в казино Лерха, там сегодня состоится оригинальное состязание. Это в вашем вкусе. Вы слышали о необыкновенном счастье мулата Гриньо? Вот уже третий день, как он выигрывает беспрерывно в покер, собрав, кроме золота и драгоценностей, целый том чеков. Хотите посмотреть на игру? Там толпа.

Лучшего предложения мне не мог сделать никто. Отлично, если в сложном узле жизни, трудясь над ним, выберете вы отдыхом интересный спектакль, еще отличнее, если представление возникло самостоятельно, если вам предстоит развязка подлинного события с хором, статистами и неподдельной экспрессией главных героев сцены. Ронкур взял меня под руку и увел.

## III

Казино Лерха известно как колоссальный приют всякому преступлению. На его фронтоне ночью таинственно и печально белеет мраморная Афина-Паллада. У озаренных ступеней, сходящих веером к скверу, толпятся продавцы кокаина, опиума и сладострастных фотографий.

Длинная цепь автомобилей стояла здесь по обе стороны мостовой. Время от времени один из них, вздрагивая и гудя, отходил из строя полукругом, взвевал пыль и, пророкотав, исчезал вдали. Каждый раз, как я видел это, у меня поднималось к сердцу ощущение чужого всему, циничесского и наглого существа, пролетающего с холодной душой огромные пространства ради цели невыясненной. Обычно продолговатые ямы этих массивных, безумных машин были полны людей, избравших тот или другой путь доброй волей, — но у зрения есть своя логика, отличная от логики отвлеченной. Я никогда не мог сказать сам себе: «Они едут»; я говорил: «Их увозят», наше обычное знание внутреннего, общего для всех темпа не могло слить этот темп с неестественной быстротой среди явлений, находящихся по отношению

друг друга в испытанном и привычном равновесии. Проходя улицей, я был всегда расстроен и охвачен атмосферой насилия, рассеиваемой стрекочущими и скользящими с быстротой гигантских жуков сложными седалищами. Да, — все мои чувства испытывали насилие; не говоря о внешности этих, словно приснившихся машин, я должен был резко останавливать свою тайную, внутреннюю жизнь каждый раз, как исступленный, нечеловеческий окрик или визг автомобиля хлестал по моим нервам; я должен был отскакивать, осматриваться или поспешно ютиться, когда, грубо рассекая уличное движение, он угрожал мне искалечением или смертью. При всем том он имел до странности живой вид, даже когда стоял молча, подстерегая. С некоторого времени я начал подозревать, что его существование не так уж невинно, как полагают благодушные простаки, воспевающие культуру или, вернее, вырождение культуры, ее ужасный гротеск…

— Прочь из четвертого измерения! — сказал Ронкур, видя, что я молча остановился на тротуаре. — Феи покидают вас, так как фонари этого подъезда могут причинить им бессонницу.

Особенностью притона была удручающая, крикливая роскошь, — правильный расчет на

бессознательное, — иллюстрация к выигрышу. Мы поднялись среди блестящей заразы голубоватого света и женских тел, взвивающих на перспективах огромных картин легкие ткани. По коврам, заставляющим терять ощущение ног, мы пробрались через изысканно одетую толпу, под навесы пальмовых листьев; здесь, имея за спиной мраморную группу фонтана, а перед собой — дрожащие руки только что обнищавшего игрока, мулат Гриньо давал блестящий спектакль.

## IV

Я встал на возвышение у стены, Ронкур рядом со мной. Так был отлично виден и стол и лица играющих, — их было семь человек, считая мулата. У стола волновалась прикидывающая пари толпа.

Мулат сидел, расставив локти, с засученными рукавами сорочки, без сюртука. На его полном, кофейного цвета лице блестел мелкий пот. Черная борода, обходя щеки и подбородок жестким кольцом, двигалась, когда, играя сжатыми челюстями, обдумывал он прикупку или повышение ставки. Он очень часто объявлял «масть» и «фульгент», но часто и пасовал. Две ставки на моих глазах

по десять и двадцать тысяч он загреб, показав всего тройку дам, в то время как противник его имел один раз — две пары семерок, второй — трех валетов. Был случай, что на каре он бросил каре с «джокером». Игра шла с «джокером», и я заметил, что «джокер» приходит к нему довольно часто.

Еще подходя к столу, я заметил, как уже упомянул об этом, игрока, бросившего бессильные карты в волнении, выказывавшем окончательный проигрыш. При мне было довольно денег, и я стал следить за игроком, чтобы сесть на его место, если он вздумает оставить стол. Это случилось скоро. Насильственно зевая, игрок встал с бледным лицом, толпа расступилась и вновь сомкнулась, когда он выбрался из ее сжимающего кольца.

Кресло стояло пустым. Взглянув на Ронкура, ответившего мне хладнокровно одобрительной улыбкой, я занял место, имея мулата прямо перед собой. Он даже не взглянул на меня. Крупье сдал карты; мои были лишены масти и далеки от «последовательности», короче говоря, они не представляли никакой силы; однако я не сказал «пас», но, сбросив карты, купил все пять. Теперь образовался фульгент, благодаря «джокеру», пришедшему при покупке. Как известно, «джокер»

есть карта с изображением дьявола, — пятьдесят третья в колоде; она имеет условное значение — получивший «джокер» может объявить его любой картой любой масти. У меня были десятка, три семерки и «джокер»; считая его четвертой семеркой, я имел сильную комбинацию из четырех одинаковых, т. е. «каре».

— «Тысяча», — сказал я, когда пришла моя очередь набавлять. Игрок слева бросил карты, второй сделал то же, третий сказал: «Две». — «Пять», — сказал Гриньо. При втором круге — как это почти всегда бывает, если не объявится не уступающий третий игрок, играющими остались я и Гриньо.

— Десять, — сказал я, с миной и азартом новичка, желающего испугать противника. Гриньо тускло посмотрел на меня и в тон мне ответил «сто».

Теперь следовало согласиться на его сумму и открыть карты или назвать еще большую сумму, после чего он мог, если хотел, отказаться от сравнения карт, лишившись своих ста тысяч без игры. В том же положении был и я. Такова игра покер;

двое, не показывая друг другу карт, назначают поочередно все большие суммы, пока кто-нибудь не струсит, опасаясь, что может отдать еще боль-

ше, если карта противника окажется сильнее его карт; или же, согласившись на последнюю названную противником сумму, открывает одновременно с ним карты, — чьи сильнее, тот забирает ставки противника и всех других игроков.

Естественно, я не знал, что на руках у мулата. У него сильнее моего «каре» могло быть: «каре» из более крупных карт, чем семерка; затем последовательность пяти карт одной масти, идущих в определенной градации: например, — от шестерки к десятке, или от десятки к тузу. В этих случаях он выигрывал, если, конечно, не бросил бы карт, испугавшись моего неизвестного, — прими я вид полной уверенности в победе, назначая ставку все большую. Но он мог и не испугаться, и когда, таким образом, мы открыли бы наконец свои карты, оказалось бы, что я сам навязал ему больший выигрыш, чем он рассчитывал получить.

Равным образом его карты могли быть слабее моих, они могли не иметь совсем никакой силы, если на прикупке (он сбросил и прикупил четыре) у него не образовалось даже минимального шанса — одной пары одинаковых карт, — комбинация, на которой, при смелости, вернее, отчаянности, выигрывают иногда большие

суммы, если противник, вообразив, что на него нападают с каре, бросает быть может фульгент.

Итак, мы ничего не знали взаимно о силе карт наших. Слышав уже о дерзкой игре мулата, я предполагал вначале с его стороны простой блеф, но величина поставленной им суммы говорила за то, что у него как бы есть основание играть крупно. Мне представлялось три положения: открыть карты, быть может проиграв, если он сильнее меня; назначить более ста, давая тем возможность Гриньо назначить еще выше назначенного, или бросить игру, уплатив десять тысяч.

Я и собирался уже поступить так, не имея особенных оснований рисковать крупной суммой ради каре из семерок. Я еще раз рассмотрел карты, несколько удивленный тем, что спутался в счете семерок, — их было четыре. Одну из них, именно червонную, я считал десяткой, — почему — этого объяснить я не в состоянии. Таким образом, мой «джокер», — моя пятая карта, которую я мог обозначить, как любую карту, естественно, была пятой семеркой, — предел могущества в покере, — пять одинаковых карт, вещь, случающаяся крайне редко. Имея на руках четыре одинаковых карты с «джокером» в придачу, вы можете обобрать противника до последней копейки, однако

при условии, что он тоже имеет сильную карту.

Так я и намеревался поступить. Но следовало ничем не выдать себя, нужно было внушить Гриньо, что у меня, самое большое, — крупный «фульгент»[30]. Условием такого приема явилось предположение, что я имею дело с картой, не слабее фульгента. Приложив ко лбу указательный палец, я задумался — притворно, конечно, — над своей пятеркой и сжал губы, чтобы показать этим напряженный расчет. В то же время в задачу мою входило, чтобы Гриньо понял, что я притворяюсь, но неискусно; что у меня — пусть он так думает — карта слаба, так как обычно притворное колебание выражают при слабой карте, желая внушить обратное — что карта сильна, это противоречие станет понятно, если я прибавлю, что игрок с действительно сильной картой действует решительно и крупно, в расчете сбить встречный расчет. Короче говоря, действия мои должны были свестись к тому, чтобы вызвать в Гриньо заключение, обратное действительности. И я начал с долгого колебания.

Теперь, когда он, по-видимому, думал, что я притворяюсь с слабой картой, надо было показать

---

**[30] Примечания: 30**

Две и три одинаковых: две дамы, три шестерки, примерно. *(Прим. авт.)*

иное — притворство с картой могущественной. Если бы он догадался, что я бью наверняка, он бросил бы карты и не стал набавлять более. Но я сказал:

— Триста тысяч.

Это была сумма, в два раза превышающая мое состояние. Но я играл наверняка, я мог назначать миллионы, ничем решительно не рискуя.

Настала такая тишина, какая бывает, когда все уйдут. Но, подняв голову, я увидел бесчисленную портретную галерею алчбы, горевшей в глазах зрителей; черты их лиц стали лесом, дрожащим от возбуждения. Мулат и я были для них божествами, держащими в руках гром.

— Чек, — хрипло сказал мулат, тяжело и остро взглядывая на меня.

Как ни всматривался, я не мог понять его состояния. Он смотрел, ничем не выдавая себя, положив обе руки горкой на свои карты и тупо смотря на стол посредине расстояния меж мною и им. Отложив карты, я стал писать чек, медленно и кругло выводя буквы, ровными строчками. Перед тем как подписаться, я сморщил нос, рассеянно взглянул на мулата и подмахнул: Эбенезер Сидней.

Когда я взглянул на него, то увидел, что ми-

зинец его левой руки предательски дрогнул. Все стало ясно мне. Он волновался, потому что у него наверняка было каре. Он волновался от жадности, рассчитывая сорвать состояние. Как знаете вы, — мне волноваться не было никаких причин, и я мог разыгрывать сколько угодно вид человека, «дьявольски владеющего собой».

Написав чек, я подал его крупье.

— Чек на триста тысяч долларов, королевскому банку в Энтвей, — громко сказал крупье.

Гриньо, видимо, повеселел.

— Пятьсот тысяч, — небрежно заявил он, сдвигая на середину стола все деньги и чеки, какие лежали перед ним.

— Принимаю, — холодно сказал я.

Рокот восхищения обошел стол. Удар на полмиллиона долларов! Ронкур смотрел на меня взглядом птички, зрящей змею. Наступил момент открыть карты. Игроки, заключавшие пари, перестали дышать.

— Ну, — сказал я, смеясь, — Гриньо, выкладывайте ваше каре!

Он перевернул карты, пристукнув кистью руки, так что туз отлетел в сторону. Но там их было еще три — каре из тузов, вот что было в его руках! Бешеный рев покрыл это движение, яростный

взрыв облегчения со стороны поставивших за Гриньо. Казалось, вихрь разметал толпу, она смешалась и переместилась с быстротой нападения. Ронкур горестно побледнел, я видел в его изящном лице истинное, большое горе. Почти никогда не побивают такой карты. Он знал мои денежные дела, поэтому, спокойно достав чековую книжку, спросил вполголоса:

— Вам сколько, Сидней?

— Вы ошиблись, — сказал я, показывая свои пять с улыбающимся чертом и раскладывая их одна к одной. — Гриньо, нравится вам этот джентльмен?

Момент не поддается изображению. Я не слышал криков и воплей, так как наслаждался бесконечно выражением лица опешившего мулата.

— Ваша… — сказал он сквозь звуки, напоминающие вой. Затем он откинулся, глаза его закатились… он был в обмороке. Пока его выносили, крупье, сосчитав деньги, передал их мне, заметив, что не хватает десяти тысяч. Он вызвался навести справки и ушел, я же разговаривал с Ронкуром, окруженный множеством добровольных рабов, этих щегольски одетых парий каждого крупного притона, льнущих к золотой пыли.

Меж тем вернулся крупье, и я прочитал залитую вином записку Гриньо: «Немного денег я пришлю завтра, — писал он, — но полностью у меня не хватит. Но я пришлю, в расчет ваш, новую машину, С.С. — 77—7, я недавно купил ее. Если хотите. В противном случае вам придется ждать, пока дьявол придет ко мне».

— Что с вами? — спросил Ронкур, видя, что я встал. Я был против зеркала и, посмотрев в него, понял вопрос. Но мне было совершенно все равно, что он подумает обо мне. От моих ног медленно, с силой отяжеления, поднялся глубокий, смертельный холод. Возбуждение азарта исчезло. Я снова посмотрел на записку, спрашивая себя, — почему Гриньо вздумал написать номер? Ронкур, еще раз внимательно взглянув на меня, взял записку.

— Ну, что же? — сказал он. — Теперь ясно, что вы излечитесь от своего страшного предубеждения, — сама судьба посылает вам красивый и быстрый экипаж.

— Как вы думаете, почему он написал номер?

— Машинально, — сказал Ронкур.

— В конце концов, я думаю то же. Хотите, мы пустим его в пропасть с горы?

— Но почему?

— Мне кажется, что так нужно, — сказал я,

овладевая собой. В тот вечер владели мной страшные силы — мысли и желания сливались неразделимо.

— Смотрите, что это? Все повалили, бегут. — Ронкур взял меня под руку. — Посмотрим, где происшествие.

Действительно, зала вокруг пустела. Многие оставались, но многие, перекинувшись парой слов, возводили брови и быстро исчезали в голубом дыме сверкающей анфилады дверей. Я шагнул было за Ронкуром, но случилось, что любопытство наше было удовлетворено немедленно; три завсегдатая, издали махая руками, прокричали навстречу:

— Джокер убил Гриньо! Он умер от кровоизлияния в мозг!

— Как?! — сказал я. Противно некоторому возбуждению, поднявшемуся при этом известии, — оно холодно повернулось во мне; оно подействовало значительно слабее, чем записка с цифрой — такой многозначительной, такой глухой, молчащей и говорящей на языке вещей, нам недоступном, — я с ужасом заметил, что болтаю совершенный вздор, смеясь и отвечая невпопад тем, кто окружал меня в эту минуту. Меж тем трагическая гримаса обошла залы, на мгнове-

ние смутив суеверных и тех, у кого не совсем умерло сердце, после чего все стали по-прежнему отчетливо слышать оркестр, и движение восстановилось. Смеясь проходили пары. Рой женщин, окружив толстяка, маслено плывущего среди их назойливого цветника, улыбался так невинно, как если бы резвился в раю.

## V

Видя, что я до крайности возбужден, и по-своему понимая мое состояние, Ронкур не удерживал меня, когда я направился к выходу. Я пожелал ему скорой удачи. Он остался за баккара.

В моем состоянии была черная, косая черта, вызванная запиской мулата. Эта черта резко пересекала пылающее поле моего возбуждения, — как ни странно, как ни противно моему изобретению, неожиданное богатство, казалось, не только приближает меня к Корриде, но ставит рядом с ней. Разумеется, такое вредное впечатление коренилось в собственной натуре ее. Она жила скверно, то есть была полным, послушным рабом вещей, окружавших ее. Эти вещи были туалетными принадлежностями, экипажами, автомобилями, наркотиками, зеркалами и драго-

ценностями. Ее разговор включал наименования множества бесполезных и даже вредных вещей, как будто, отняв эту основу ее жизни, ей не к чему было обратить взгляд. Из развлечений она более всего любила выставки, хотя бы картин, так как картина, безусловно, была в ее глазах прежде всего — вещью. Она не любила растений, птиц и животных, и даже ее любимым чтением были романы Гюисманса, злоупотребляющего предметами, и романы детективные, где по самому ходу действия оно неизбежно отстаивается на предметах неодушевленных. Ее день был великолепным образцом пущенной в ход машины, и я уверен, что ее сны составлялись преимущественно из разных вещей. Торговаться на аукционе было для нее наслаждением.

При всем том я любил эту женщину. В Аламбо она появилась недавно; вначале приехал ее брат, открывший деловую контору; затем приехала она, и я познакомился с ней благодаря Ронкуру, имевшему какие-то дела с ее братом. И около этого пустого существования легла, свернувшись кольцом, подобно большой собаке, моя великая непринятая любовь. Тем не менее, когда я думал о ней, мне легче всего было представить ее манекеном, со спокойной улыбкой блистающим

под стеклом.

Но я любил в ней ту, какую хотел видеть, оставив эту прекрасную форму нетронутой и вложив новое содержание. Однако я не был столь самонадеян, чтобы безусловно положиться на свои силы, чтобы уверовать в благоприятный результат прежде самых попыток. Я считал лишь, что могу и обязан сделать все возможное. Я, к сожалению, хорошо знал, что такое проповедь, если ее слушает равнодушное существо, само смотрящее на себя лишь как на сладкую физическую цель и мысленно переводящее весь искренний жар ваш в смысле циничном, с насмешкой над бессилием вашим овладеть положением. Поэтому мой расчет был не на слова, а на действия ее собственных чувств, если бы удалось вызвать перерождение. Немного, — о, совсем немного хотел я: живого, проникнутого легким волнением румянца, застенчивой улыбки, тени задумчивости. Мы часто не знаем, кто второй живет в нас, и второй душой мучительницы моей мог оказаться добрый дух живой жизни, который, как красота, сам по себе благо, так как заражает других.

Именно так я думал, так и передаю, не пытаясь в этом — священном случае придать выражениям схоластический оттенок, столь выгодный

в литературном отношении, ибо он заставляет подозревать прием — вещь сама по себе усложняющая впечатление читателя. Я всегда думал об этой женщине с теплым чувством, а я знаю, что есть любовь, готовая даже на смерть, но полная безысходной тоскливой злобы. У меня не было причины ненавидеть Корриду Эль-Бассо. В противном случае я был бы навсегда потерян для самого себя. Я мог только жалеть.

У меня было время думать обо всем этом, когда быстро и с облегчением я удалялся от клуба в свете электрических лун, чрезвычайно счастливый тем, что не мог ответить мулату, так как неизбежно должен был сказать «да», то есть согласиться принять машину, из противоречия и вызова самому себе; нас всегда тянет смотреть дальше, чем мы опасаемся или можем. Благодаря печальному случаю, машина оставалась при нем, ненужная ему самому. Свежесть перелетающего крепким порывом морского ветра, опахивая лицо, несколько уравновесила настроение; уже готовый улыбнуться, я переходил улицу, почти пустую в тот час ночи, неторопливо и эластично. Меня заставил обернуться ровный звук сыплющегося где-то вблизи песка. Я поскользнулся, и меня это спасло, так как мое тело, потеряв рав-

новесие, шатнулось в сторону судорожными шагами как раз перед налетающим колесом. Еще не успело исчезнуть зрительное ощущение страшной близости, как, с пронзительным, взвизгивающим лаем, огромный серый автомобиль мелькнул в свете угла и скрылся в замирающем шипении шин. Его фонари были потушены, он был пуст. Шофера я не успел рассмотреть. Я не успел также заметить его номер.

При всем очень тщательном внимании к себе после этого происшествия я заметил, что мое сердце бьется лишь немного сильнее, что я почти не испугался. Я даже был чему-то отчасти рад, так как получил некоторое предупреждение. Ни одной мысли по этому поводу я в тот момент не мог отыскать в отчетливой форме; все они, крайне живые и многочисленные, напоминали перебор струн, намекающий уже на мелодию, но звучащий понятно лишь знающему мотив уху, — я же не знал мелодии. Вам знакома попытка оживить сон немедленно по пробуждении, когда его сцены ясно видимы еще вами, и вы понимаете их, но не можете тотчас перевести понимание в мысль, меж тем смысл ускользает с быстротой взятой горстью воды и улетучивается совершенно, как только полностью прояснится

сознание? Подобного или почти подобного рода ощущения повернулись во мне. Я нанял фиакр, приказав ехать к себе, и прибыл в четыре ночи к подъезду, узнав, что еще не спят.

Здесь я жил гостем у семейства Кольмонс. Наши отцы вместе начинали делать богатство. Теперь дети их сошлись вместе, в одних стенах, жить для удовольствия и неопределенного приятного будущего. Я вошел, зная, что застану спор, танцы или концерт.

## VI

Завернув сначала к себе, я открыл бюро и уложил там свой выигрыш. Мне не хотелось сообщать о нем кому бы то ни было, по крайней мере теперь.

— В таком случае, — услышал я, подходя к двери столовой, знакомый голос Гопкинса — Гопкинс был адвокат, — его раздавило автомобилем. Вы знаете, как Сидней осторожен на этот счет. Между тем осторожные люди часто становятся жертвой именно того, чего они опасаются.

— Вы почти правы, — сказал я, входя. — Случайно не произошло именно так.

Дам не было. Моя сестра и жена старшего моего

двоюродного брата, Ютеция, ушли давно спать. Старший кузен, Кишлей, и младший, Томас, сидели в обществе гостей, Гопкинса, Стерса и Николая. Так звали газетного критика, недавно приступившего к возведению здания своей карьеры:

его фамилия была так длинна и нелепа, что я не помнил ее.

Они пили. Окна были раскрыты. Рассказав случай с автомобилем, я некоторое время слушал рассуждения и соображения адвоката, долго объяснявшего мне, почему не надо откидываться назад, если набегает автомобиль, ответил «да» и умолк. Разговор, не задержавшись на мне, вернулся к своему руслу — то был футуризм, с ненавистью отвергаемый Гопкинсом; Николай смеялся над ним. Им противился Томас и, как это ни было странно, — Кишлей, чье полное, добродушное лицо в момент методического, обдуманного и вкусного закуривания сигары казалось воплощением здоровых, азбучных истин.

— Всегда преследовали и осмеивали новаторов! — сказал Томас.

— Небольшая часть этих людей, конечно, талантливы, — возразил Гопкинс, — зато они, как это заметно по некоторым чертам их произведений, вероятно, пойдут особой дорогой. Остальное

— сплошная эпилепсия рисунка и вкуса.

— Я возмущен тем, что меня открыто и нагло считают дураком, — сказал Николай, — подсовывая картину или стихотворение с обдуманным покушением на мой карман, время и воображение. Я не верю в искренность футуризма. Все это — здоровые ребята, нажимающие звонок у ваших дверей и убегающие прочь, так как им сказать нечего.

— Но, — возразил Кишлей, — должна же быть причина, что это явление стало распространенно? Причины должны корениться в жизни. Вы относитесь к этому, как Сидней к автомобилю; он ни за что не поедет в нем, хотя десятки и сотни тысяч людей пользуются им каждый день.

— Кишлей прав, — сказал я, — футуризм следует рассматривать только в связи с чем-то. Я предлагаю рассмотреть его в связи с автомобилем. Это — явление одного порядка. Существует много других явлений того же порядка. Но я не хочу простого перечисления. Недавно я видел в окне магазина посуду, разрисованную каким-то кубистом. Рисунок представлял цветные квадраты, треугольники, палочки и линейки, скомбинированные в различном соотношении. Действительно, об искусстве — с нашей, с чело-

веческой точки зрения — здесь говорить нечего. Должна быть иная точка зрения. Подумав, я стал на точку зрения автомобиля, предположив, что он обладает, кроме движения, неким невыразимым сознанием. Тогда я нашел связь, нашел гармонию, порядок, смысл, понял некое зловещее отчисление в его пользу из всего зрительного поля нашего. Я понял, что сливающиеся треугольником цветные палочки, расположенные параллельно и тесно, он должен видеть, проносясь по улице с ее бесчисленными, сливающимися в сплошное мелькание, отвесными линиями карнизов, водосточных труб, дверей, вывесок и углов. Взгляните, прижавшись к стене дома, по направлению тротуара. Перед вами встанет короткий, сжатый под чрезвычайно острым углом, рисунок той стороны, на какой вы находитесь. Он будет пестрым смешением линий. Но, предположив зрение, неизбежно предположить эстетику — то есть предпочтение, выбор. В явлениях, подобных человеческому лицу, мы, чувствуя существо человеческое, видим связь и свет жизни, то, чего не может видеть машина. Ее впечатление, по существу, может быть только геометрическим. Таким образом, отдаленно — человекоподобное смешение треугольников

с квадратами или полукругами, украшенное одним глазом, над чем простаки ломают голову, а некоторые даже прищуриваются, есть, надо полагать, зрительное впечатление Машины от Человека. Она уподобляет себе все. Идеалом изящества в ее сознании должен быть треугольник, квадрат и круг.

— Черт возьми! — вскричал Гопкинс. — Не думаете же вы, что автомобиль обладает сознанием, душой?!

— Да, обладает, — сказал я. — В той мере, в какой мы наделяем его этой частью нашего существа.

— Поясните, — сказал Кишлей.

— Охотно, — сказал я. — Принимая автомобиль, вводя его частью жизни нашей в наши помыслы и поступки, мы безусловно тем самым соглашаемся с его природой: внешней, внутренней и потенциальной. Этого не могло бы быть ни в каком случае, если бы некая часть нашего существа не была механической; даже, просто говоря, не было бы автомобиля. И я подозреваю, что эта часть сознания нашего составляет его сознание.

— Доказательства! — вскричал Николай.

— Вы могли бы с одинаковым правом потребовать доказательств, если бы я утверждал, что кошка видит иные цвета, чем мы. Между тем ни

я, ни кошка не можем быть приведены к очной ставке, так как у нас нет взаимного понимания. Нет средств для этого. Однако животные должны иметь иные и, может быть, совершенно отличные, чем у нас, ощущения физические. Например, — стрекоза с ее десятками тысяч глаз. Согласитесь, что ощущения света при таком устройстве органа должны быть иными, чем наши.

— Неодушевленная материя, — сказал Киплей. — Железо и сталь мертвы.

Я ничего не возразил на это. Мне показалось, что за окном крикнул автомобиль. Действительно, крик повторился ближе, затем под самым окном.

— Вы слышите? — сказал я. — Вот его голос — вой, отдаленно напоминающий какие-то грубые, озлобленные слова. Итак, у него есть голос, движение, зрение, быть может — память. У него есть дом. На улице Бок-Метан стоит зайти в оптовые магазины автомобилей и посмотреть на них в домашней их обстановке. Они стоят блестящие, смазанные маслом, на цементном полу огромного помещения. На стенах висят их портреты — фотографии моделей и победителей в состязаниях. У него есть музыка — некоторые

новые композиции, так старательно передающие диссонанс уличного грохота или случайных звуков, возникающих при всяком движении. У него есть, наконец, граммофон, кинематограф, есть доктора, панегиристы, поэты, — те самые, о которых вы говорили полчаса назад, люди с сильно развитым ощущением механизма. У него есть также любовницы, эти леди, обращающие с окон модных магазинов улыбку своих восковых лиц. И это — не жизнь? Довольно полное существование, скажу я. Кроме того, он занимается спортом, убийством и участвует в войне.

— Выходит, — сказал Николай, — что… Впрочем, я скажу короче: некий автомобиль, покрытый грязью и ранами, вернулся с театра военных действий. Побрившись в парикмахерской, он отправился домой, где поставил в граммофон пластинку марша «За славой и торжеством» и приказал завести кинематографический аппарат с картиной «Автомобильные гонки меж Лиссом и Зурбаганом». От восторга у него лопнула шина.

— Ваш шарж показывает, что вы поняли меня, — продолжал я. — Взаимоотношения вещей, если они для меня безразличны, могут происходить так, как вытекает из их природы, как — мы

этого не знаем. Но когда эти взаимоотношения наносят определенный рисунок на рисунок моей жизни, кладут нужные или вредные черты, там необходимо проследить связь явлений, чтобы знать, с какого рода опасностью имеешь дело. Берегитесь вещей! Они очень быстро и прочно порабощают нас.

— Какие же это вредные черты? — спросил Томас. — Жизнь делается сложнее, быстрее, ее интенсивность возрастает беспрерывно. Этой интенсивности содействует техника. Не возвратиться же нам в дикое состояние?

## VII

С этого момента мои собеседники завладели разговором, и я терпеливо выслушивал их защиту автомобиля. Она состояла в том, что его скорость способствует быстрейшему обмену товаров, молниеносному прессованию деловых отношений и возможности перебрасываться в отдаленное место почти с быстротой чтения. Я выслушал их и ушел, посмеиваясь. У себя, оставшись один, я пересчитал деньги. Это было большое состояние. Меня тревожило немного, что я не испытываю головокружительного подъема — опьянения. Все

впечатления звучали во мне тупо, как стук по толстому дереву. Я держал в руках деньги и понимал, что из состоятельного человека превратился в богатого, но думал о том, как о прочитанном в книге. Быть может, все мои желания были заслонены в тот момент главным желанием, главной и неотступной мыслью — о девушке. Кроме того, я очень устал, думая все эти дни об одном. Но я никак не мог бы выразить, даже на всех языках мира, — что такое это одно, грызущее и уничтожающее меня. Я вдумывался и понимал его, лишь как мучительное препятствие сознанию самого себя. Но определить его я не мог.

Я уснул с солнечным светом, пригретый и убаюканный им из-за крыш. Завтрашний, вернее, наступивший день следовало начать действием. Я приказал разбудить себя в три часа. Мое изобретение — оно ждало — звало меня и ее. После долгого колебания я решился. Я поставлю ее лицом к лицу с Живой Смертью, ее, — Мертвую Жизнь.

## VIII

Мое знакомство с Корридой Эль-Бассо носило характер крайнего напряжения. Когда я не видел

ее, я, при всей любви к этой девушке, мог думать о ней, как вы уже знаете, беспристрастно; я мог даже непринужденно вести не обременяющий ее разговор. Но в ее присутствии я чувствовал лишь крайне стесняющее и связывающее меня напряжение. Это происходило не столь от ее красивой и легкой внешности, овладевавшей мной повелительным впечатлением, сколько от сознания несоответствия моего душевного темпа с ее темпом души; ее темп был полон перебоев и дисгармонии, в то время как мой медленно, ровными и острыми колебаниями звучал непримиримо всему, что не было моим настроением или случайно не отвечало текущему настроению. В то время как другие почти сразу легко осваивались и шутили с ней, я должен был оставаться в тени, так как хотел видеть ее лишь в том полном, сосредоточенном, исключительном настроении любви, в каком находился сам и которое перебить пустой болтовней казалось мне противоестественным, почти преступным. Поэтому, вероятно, я заставлял ее часто скучать. Но у меня не было выхода. Я хорошо знал, что не сумею перестать быть самим собой так искусно, чтобы это не обнаружилось тотчас же фальшью и ответной притворностью. Бессознательно я

хотел, чтобы она ни на мгновение не забывала мою любовь, чувствуя, что я связан, рассеян и неловок единственно от любви к ней.

По всему этому я сам тяготился долго оставаться в ее присутствии, если у нее был еще кто-нибудь, кроме меня. Мое напряжение в таких случаях часто разражалось сильной глубокой тоской, после чего немыслимо было уже оставаться; мрачное лицо, в конце концов, может вызвать страх и отвращение. Но я знал, каким был бы я, если бы окончилось ее сопротивление, если бы она сказала мне «ты».

В половине пятого я взял трубку телефона; мне было невесело, меж тем я должен был говорить с веселым оживлением затейника. Но я выдержал роль.

Услышав ее голос, я увидел — в себе — и ее лицо, с больным выражением раздражительно полуоткрытого рта, с всегда немного сонными и рассеянными глазами. Ее детский лоб — в другом конце города — внушал желание погладить его.

— Так это вы, — сказала она, и я вздрогнул — так приветливо прозвучал голос, — о, я очень рада, — я должна вас поздравить.

— С чем? — Но я уже знал, что она хочет сказать.

— Говорят, вы выиграли миллион долларов.

— Нет, — только половину названной суммы.

— Недурно и это. Теперь вы, надо думать, поедете путешествовать?

— Нет, я не поеду. Но я предлагаю вам — клянусь, — редкое удовольствие. Я окончил свое изобретение. Если вы ничего не имеете против, я покажу вам его первой; никто ничего не знает об этом.

— О! Я хочу! Хочу! — вскричала она. — И как можно скорее!

— В таком случае, — сказал я, — если вы свободны, вам предстоит небольшая прогулка верхом в ущелье Калло. Это не далее пяти миль. У меня есть лошадь, вторую мне дает кузен Кишлей.

— Отлично, — сказала она после небольшой паузы. — Я согласна. Вы, право, очень добры.

— Через полчаса я буду у вас.

— Я жду.

На этом закончился разговор. Пока седлали лошадей, я думал, — что может произойти из всего этого? Мне показалось, что я не имею права поступать так. Но это не расхолодило меня. Напротив, я укрепился еще более в своем решении, — ибо, может быть, всю жизнь сожалел бы о своей слабости. Хуже не могло быть, — лучшему я верил.

В это время начал звонить телефон. Звонок раздался на какой-то приятной, нежной и задумчивой минуте размышлений моих. Я взял трубку.

Кто это говорил со мной? Вкрадчивый, напряженный голос, как просьба о пощаде, и такой тихий, такой отчетливый, что, казалось, можно отложить трубку, продолжая слышать его! В тот день я проснулся с ощущением тумана, — день был торжествующе ярок, но казалось, невидимый, спокойный туман давит на мозг. Теперь это своеобразное ощущение усилилось.

То, что я услышал, напоминало окончание разговора; так бывает, если говорящий вам предварительно докончит говорить другому лицу. Этот отчетливый, стелющийся из невидимого пространства голос сказал: — «...пройдет очень немного времени». — Затем послышалось обращение ко мне: — «Квартира Эбенезера Сиднея?»

— Это я, — невольно я отстранил трубку от уха, чтобы она не касалась кожи, — так неестественно и отвратительно близко, как бы в самой руке моей, ковырялся этот металлический голос. Я повторил: — С вами говорит Сидней, кто вы и что желаете от меня?

— Мое имя вам неизвестно, я говорю с вами

по поручению скончавшегося вчера Эммануила Гриньо, мулата. Несколько мелких дел, оставшихся им не выполненными, он поручил мне. В число их входит просьба переслать вам выигранный четырехместный автомобиль системы «Леванда». Поэтому я прошу вас назначить время, когда покорнейший ваш слуга имеет исполнить поручение.

Я закричал, я затопал ногами, так мгновенно поразил меня неистовый гнев. Крича, я весь содрогался от злобы к этому неизвестному и, если бы мог, с наслаждением избил бы его.

— Подите прочь! — загремел я, — идите, я вам говорю, к черту! Мне не нужен автомобиль! Гриньо мне ничего не должен! Возьмите автомобиль себе и разбейте на нем лоб! Мерзкий негодяй, я вижу насквозь ваши намерения!

Но, сквозь мой крик, когда я задыхался и умолкал, — одновременно с моими бешеными словами, лилась речь человека, очевидно, нимало не тронутого этой бурей по проволоке. Бесстрастно и убедительно ввинчивал он ровный свой тонкий голос в мое волнение. Я слышал, изнемогая от ярости: — «примите в соображение», — «из чувства деликатности», — «сама природа случая» — и другое подобное; так ме-

тодически, покойно, веревка скручивает руки вырывающегося из ее петель человека. Я бросил трубку и отошел. Через несколько минут слуга доложил, что лошади готовы.

Прекрасный день! Даже туман, о котором я говорил, как будто рассеивался по временам, чтобы я мог полно вздохнуть, однако ж, по большей части, я не переставал чувствовать его ровное угнетение. Мне хотелось встряхнуть головой, чтобы отделаться от этого ощущения. Слуга ехал сзади на второй лошади. Приблизясь к дому, где жила Коррида, я заметил ее улыбающееся лицо: она была на балконе, смотря вниз и щекой припав к рукам, охватившим ограду балкона. Она издали стала махать платком. Я подъезжал в приподнятом и несколько глупом состоянии человека, с которым хороши потому, что он может быть полезен, что он — богат. Я не обманывал себя. Еще никогда Коррида Эль-Бассо не была так любезна со мной. Но я не хотел останавливаться на этом; моя цель была близка, хотя бы благодаря обаянию крупного выигрыша.

Оставив лошадей, я вошел твердым и спокойным шагом. Теперь, когда положением владел я, вдруг исчезла связывающая подавленность, — ощущение проклятия чувства, тяготеющего над

нами, если мы, сидя рядом с любимой, испытываем одиночество. Мной стала овладевать надежда, что затеянное будет иметь успех, смысл.

Я поцеловал ее узкую руку и посмотрел в глаза. Она улыбалась.

— У вас довольный вид, — сказала Коррида, — не мудрено — два успеха, — что более важным считаете вы? Но, может быть, изобретение принесет вам еще более денег?

— Нет, оно мне не принесет ни копейки, — возразил я, — напротив, оно может меня разорить.

— Как же это?

— Если не оправдает моих надежд; оно еще не было в деле; не было опыта.

— Что же представляет оно? И какой цели должно служить?

— Но через час вы сами увидите его. Не стоит ли подождать?

— Правда, — сказала она с досадой, опуская вуаль и беря хлыст. Она была в амазонке. — Оно красиво?

— На это я могу вам ответить совершенно искренне. Оно прекрасно.

— О! — сказала она, что-то почувствовав в тоне моем. — Итак, мы отправляемся в мастерскую?

— Ну да, — и я не удержался, чтобы не подзадо-

рить. — В мастерскую природы.

— Вы, правда, мистификатор, как говорят о вас. Все мистификаторы не галантны. Но едем.

Мы вышли, сели, и я помог ей.

— У меня отличное настроение, — заявила она, — и ваши лошади хороши тоже. Как имя моей?

— Перемена.

— Имя странное, как вы сами.

— Я очень прост, — сказал я, — во мне странное только то, что я всегда надеюсь на невозможное.

## IX

Выехав за черту города, мы пустились галопом и через полчаса были у подъема горной тропы, по которой лежал путь к ущелью Калло. Наш разговор был так незначителен, так обидно и противоестественно мелок, что я несколько раз приходил в дурное расположение духа. Однако я никак не мог направить его хотя бы к относительной близости между нами, — хотя бы вызвать сочувственное мне настроение по отношению к пейзажу, принимавшему с тех мест, где мы ехали, все более пленительный колорит. На все, что ее не интересовало, она говорила: «О, да!» или — «В

самом деле?» — с безучастным выражением голоса. Но мой выигрыш продолжал интересовать ее, и она часто возвращалась к нему, хотя я рассказал ей уже все главное об этой схватке с Гриньо. «О, я его понимаю!» — сказала она, узнав, что мулата хватил удар. Но мой отказ от автомобиля вызвал глубокое, презрительное удивление, — она посмотрела на меня так, как будто я сделал что-то очень смешное, неприятно смешное.

— Это все та ваша мания, — сказала она, подумав. — Я столько уже слышала о ней! Но я — люблю эту увлекающую быстроту, люблю, когда распирает воздухом легкие. Вот жизнь!..

— Быстрота падения, — возразил я. — Дикари очень любят подобную быстроту. То, что вы, кажется, считаете признаком своеобразной утонченности, есть простой атавизм. Все развлечения этого рода — спорт водный, велосипедный, все эти коньки, лыжи, американские горы, карусели, тройки, лошадиные скачки, — все есть разрастающееся увлечение головокружительными ощущениями падения. В скорости есть предел, за которым движение по горизонтальной превращается в падение. Вы наслаждаетесь чувством замирания при падении. И цель людей, рассуждающих, как вы, — это уподобить движение

падению. Что может быть более примитивно? И, так сказать, — бесцельно примитивно?

— Но, — сказала она, — весь темп нынешней жизни… Пестрота стала нашей природой.

— Совершенно верно, и очень худо, что так. Однако именно то, что совершается медленно, конечно, относительно медленно, так как мерила быстроты различны по природе своей, в зависимости от качества движения, — именно это наиболее ценно. Быстрота агента компании, совершающей торговые обороты, увеличивает количество, но не качество достигаемого, например, по сбыту и выделке коленкора, но пусть он попробует с его автомобильной быстротой расположить и распространить дуб, простой дуб. Деревцо это растет столетиями. Корова вырастает в два года. Настоящий, вполне сложившийся человек проделывает этот путь лет в тридцать. Алмаз и золото не имеют возраста. Персидские ковры создаются годами. Еще медленнее проходит человек дорогой науки. А искусство? Едва ли надо говорить, что его лучшие произведения видят, иногда, начало роста бороды мастера, в конце же осуществления своего подмечают и седину. Вы скажете, что быстрое движение ускоряет обмен, что оно двигает культуру?! Оно

сталкивает ее. Она двигается так быстро потому, что не может удержаться.

— Не знаю, — возразила Коррида, — может быть, вы и правы. Но жить надо легко и быстро, не правда ли?

— Если бы вы умерли, — спросил я, — а затем вновь родились, помня, как жили, — вы продолжали бы жить так, как теперь?

— Ваш вопрос мне не нравится, — холодно ответила она. — Я живу плохо? Если даже так, какое право имеете вы тревожить меня?

— Это не право, а простое участие. Впрочем, я виноват, а потому должен загладить вину. Через…

— Нет, вы не увильнете! — крикнула она, остановив лошадь. — Это уже не первый раз. Какая цель ваших вопросов?

— Коррида, — сказал я мягко, — если вы будете так добры, что, оставив пока сердиться, ответите мне еще на один вопрос, но только совершенно искренне, — даю вам слово, я так же искренно отвечу вашему раздражению.

Мы уже приближались к ущелью, из развернутой трещины которого разливался призрачный лиловый свет, полный далекой зелени. Смотря туда и припоминая, что хотел сделать, я сразу со-

образил, что мой вопрос преждевременен, однако я хотел убедиться. Туман понемногу рассеивался (я говорю о внутреннем тумане, мешавшем мне ясно соображать), и я с яркостью гигантской свечи видел все чудеса, вытекающие из моего замысла. Поэтому я не колебался.

— Я жду, — сказала Коррида.

— Скажите мне, — начал я (и это останется между нами), — почему, с какой целью ушли вы из… магазина?

Сказав это, я чувствовал, что бледнею. Она могла догадаться. У вещей есть инстинкт, отлично помогающий им падать, например, так, что поднять их страшно мешает какой-нибудь посторонний предмет. Но я уже приготовился перевести свои слова в шутку — придать им рассеянный, любой смысл, если она будет притворно поражена. Я внимательно смотрел на нее.

— Из магазина?! — медленно сказала Коррида, отвечая мне таким пристальным, глубоким и хитрым взглядом, что я вздрогнул. Сомнений не могло быть. К тому же цвет ее лица внезапно стал белым, не бледным, а того матового белого цвета, какой присущ восковым фигурам. Этого было довольно для меня. Я рассмеялся, я не хотел более тревожить ее.

— Более у меня нет вопросов, — сказал я, — я говорю о встрече с вами вчера, когда вы вошли в магазин. Вы тотчас вышли, и я не хотел снова подходить к вам.

— Да… но это очень просто, — ответила она, стараясь что-то сообразить. — Я не застала модистку. Но вы хотели сказать не это.

— Вы просто смутили меня резким отпором. Я спросил первое, что пришло на мысль.

Затем, не давая ей оставаться при подозрении, — если оно было, — я возвратился к игре с мулатом, рассказывал подробности стычки так юмористически, что она смеялась до слез. Мы ехали по ущелью. Слева тянулась глубокая поперечная трещина, подъехав к которой я остановил лошадь.

— Это здесь, — сказал я.

Коррида оставила седло, и я привязал лошадей.

— Меня несколько тревожит эта таинственность, — сказала она, оглядываясь, — далеко ли тут идти?

— Шагов сто. — Чтобы она не беспокоилась, я стал снова шутить, приравнивая нашу прогулку к ветхим страницам уголовных романов. Мы пошли рядом; гладкое дно трещины не замедляло

шагов, и скоро сумерки щели рассеялись, — мы подошли к ее концу, — к обрыву, висевшему отвесной чертой над залитой солнцем долиной, где, далеко внизу, крылись, подобно стаям птиц, фермы и деревни. Огромное, голубое пространство било в лицо ветром. Здесь я остановился и показал рукой вниз.

— Вы видите? — сказал я, вглядываясь в прекрасное прищуренное лицо.

— Вид недурен, — нетерпеливо ответила она, — но, может быть, мы все-таки отправимся в вашу лабораторию?!

Безумный восторг овладевал мной. Я взял ее руки и поцеловал их. Кажется, она была так изумлена, что не сопротивлялась. Уже двинул меня внутренний толчок; бессознательно оглянулся я на трещину позади нас, скрыться в которой было делом одной секунды, и загородил ее. Но мы одновременно кинулись к трещине, — по крайней мере, когда я охватил рукой ее талию, она была уже наполовину сзади меня и уперлась одной рукой в мою грудь. Ее лицо было бело, мертво, глаза круглы и огромны. Другая рука что-то быстро делала сбоку, где был карман. Задыхаясь, я тащил ее к обрыву, крича, убеждая и умоляя:

— Это один момент! Один! И новая жизнь! Там

твое спасение!

Но было поздно — увы! — слишком поздно. Она вырвалась волчком невероятно быстрых движений, подняв свой револьвер. Я видел, как он дернулся в ее руке, и понял, что она выстрелила. У моего левого виска как бы повис камень. Не зная, — не желая этого, — судорожно противясь падению, — я упал, видя, как от моего лица поспешно отпрянули маленькие, лакированные ноги. Но я успел схватить их и дернул.

Она упала рядом со мной; при падении револьвер выскочил из ее руки. Я мог видеть его, повернув голову. Если бы она не мешала мне, хватаясь за мои руки, я непременно достал бы его. Но у нее была кошачья изворотливость. Схватив за талию и прижимая к себе, чтобы она не вскочила, левой рукой я уже касался револьвера, стараясь подцарапать его, но она ломала мою руку у кисти, отводя пальцы. Наконец удар по руке камнем сделал свое. Скользнув, как сжатая рукой рыба, Коррида овладела револьвером, — здесь силы оставили меня. Я мог только лежать и смотреть.

Когда она поднялась, вскочила, револьвер был все время направлен на меня. Последовало молчание — и дыхание, — общее наше дыхание, слышное, как крик.

— Что же это?! — сказала она. — Теперь говорите, слышите?!

## X

Я не терял времени, чтобы она знала, чего лишается.

— Да, — сказал я, — это и есть мое изобретение. Вы видели лучезарный мир? Он зовет. Итак, бросимся туда, чтобы воскреснуть немедленно. Это нужно для нас обоих. Вам нечего притворяться более. Карты открыты, и я хорошо вижу ваши. Они закапаны воском. Да, воск капает с прекрасного лица вашего. Оно растопилось. Стоило гневу и страху отразиться в нем, как воск вспомнил прежнюю свою жизнь в цветах. Но истинная, истинная жизнь воспламенит вас только после уничтожения, после смерти, после отказа! Знайте, что я хотел тоже ринуться вниз. Это не страшно! Нам следовало умереть и родиться!

— Куда вы ранены? — сурово спросила она.

— В голову возле уха, — сказал я, трогая мокрыми пальцами мокрые и липкие волосы. — Ступайте! Что вам теперь я; ваше место не занято.

Она, приподняв платье, обошла меня сзади, и я почувствовал, как моя голова приподнимается

усилием маленькой, холодной руки. Послышался разрыв платка. Она туго стянула мою голову, затем снова перешла из тени к свету. Я же лежал, совершенно ослабев от потери крови, и безразлично принял эту заботу. Меня ужасало, что я не достиг цели.

— Можете вы пройти к лошади? — спросила Коррида. — Если можете, я вам помогу встать. Если же нет, — лежите и постарайтесь быть терпеливым; я скажу, чтобы за вами приехали.

— Как хотите, — сказал я. — Как хотите. Я не могу идти к лошади. Теперь мне все равно — жить или умереть, потому что я навсегда лишился вас. Может быть, я умру здесь. Поэтому будем говорить прямо. Нашу первую встречу вы должны помнить не по Аламбо, — нет; в Глен-Арроле состоялась она. Вы помните Глен-Арроль? Старик открывал кисею, показывая вас в ящике, это был воск с механизмом внутри, — это были вы, — вы спали, дышали и улыбались. Я заплатил за вход десять центов, но я заплатил бы даже всей жизнью. Как вы ушли из Глен-Арроля, почему очутились здесь — я не знаю, но я постиг тайну вашего механизма. Он уподобился внешности человеческой жизни силой всех механизмов, гремящих вокруг нас. Но стать женщиной, поймите

это, стать истинно живым существом вы можете только после уничтожения. Я знаю, что тогда ваше сердце дрогнет моей любовью. Я полумертв сам, движусь и живу, как машина; механизм уже растет, скрежещет внутри меня; его железо я слышу. Но есть сила в само-свержении, и, воскреснув мгновенно, мы оглушим пением сердец наших весь мир. Вы станете человеком, и огненной сверкнете чертой. Ваше лицо? Оно красиво, и с желанием подлинной красоты вошли бы вы в земные сады. Ваши глаза? Блеск волос? Характер улыбки? — Увлекающая энергия, и она сказалась бы в жизненном плане вашем. Ваш голос? — Он звучит зовом и нежностью, — и так поступали бы вы, как звучит голос. Как вам много дано! Как вы мертвы! Как надо вам умереть!..

Говоря это, я не видел ее. Открыв глаза, я осмотрелся с усилием и никого не увидел. Проклятие! Ее сердце могло перейти от простых маленьких рычагов к полному, лесистому пульсу, — к слезам и радости, восторгу и потрясению, — наконец, оно могло полюбить меня, сгоревшего в огне удара и ставшего смеющимся, как ребенок, — и оно ушло!.. Уверен, что она не хотела вспоминать Глен-Арроль. Правда, в том городишке на нее смотрели лишь уродливые подобия людей, но

все-таки…

Сделав усилие, я приподнялся и сел. Моя голова не кружилась, но было такое ощущение, что она недостаточно поднята, — что она может упасть. Я сделал попытку подогнуть ноги, желая тем облегчить дальнейшее движение, и успел в этом… Наконец я встал, хватаясь за стену, и двинулся. Мне хотелось домой, чтобы успокоиться и обдумать дальнейшее. Как я понимал, рана моя не касалась мозга, поэтому у меня не было опасения, что я свалюсь по дороге в состоянии более тяжелом, чем был. Я побрел, держась за неровные камни трещины и временами теряя равновесие, так что должен был останавливаться.

Пока я шел, сумерки (уже стемнело), распространяясь безвыходной тенью, сменились того рода неизъяснимо волнующим освещением, какое дает луна при переходе дневного света к магическому, призрачному мраку. Пройдя трещину, я увидел очарованный лог ущелья в блеске чистого месяца; дно, усеянное камнями, круглые тени которых казались черными козырьками белых фуражек, — было как ложе гигантской реки, исчезнувшей навсегда. Лошади исчезли. — Восковая взяла мою, думая, без сомнения, что я умер. Я не верил ее обещанию прислать за мной,

скорее мне могли подослать убийц.

Я потрогал платок, затем снял его. Легкий жар, боль и ощущение стянутости кожи все еще были там, куда ударила пуля, но кровь уже не текла. Заподозрив, что пропитанный кровью платок может что-то сказать, я рассмотрел на свет метку. Это были не ее инициалы. Я увидел знаки, неизвестные алфавитам нашей планеты: — и понял, что никогда не смогу узнать, какая природа существа, употребляющего подобные начертания.

— Коррида! — закричал я, — Коррида! Коррида Эль-Бассо! Я люблю, люблю, люблю тебя, безумная в холодном сверкании своем, недоступная, ибо не живая, — нет, тысячу раз нет! Я хотел дать тебе немного жизни своего сердца! Ты выстрелила не в меня, — в жизнь; ей ты нанесла рану! Вернись!

И эхо, наметив «ррри» из ее имени, упорно рокотало где-то за спиной высоких камней: звуки, напоминающие отлетающий треск мотора. Меня не оставляло воспоминание о Глен-Арроле, где я в первый раз увидел ее. Да, — там, на возвышении, в белом широком ящике под стеклом лежала она, вытянув и скрестив ноги, под газом, среди пыльных цветов. Ее ресницы вздрагивали и опускались; легкая, как лепестки, грудь дышала с тихим и живым выражением. Чудилось, вот

откроются эти разливающие улыбку глаза; стан изогнется в лукавой миловидности трепетного движения, и, поднявшись, скажет она великое слово, какое заключено в молчании. Теперь, с молчаливого попущения некоторых, она — среди нас, обещая так много и убивая так верно, так медленно, так безнадежно.

Томясь, вздрагивая и шатаясь, прошел я ущелье и заметил это, только когда прошел. Среди зеленого серебристого моря холмов вилось несколько троп; одна из них была круче, и я скатился по ней к лежащему ниже шоссе. Здесь, несколько в стороне, стоял дом, о котором можно только сказать стихами Грюида: «Он был беден и спал». Перешагнув низкую каменную ограду, я высмотрел, что окно не прикрыто, и сунул за стекло свой выигрыш, что-то опрокинув этим движением. Кто жил здесь? Какую силу разбужу я наутро ненужным мне подарком моим? Я знаю только, что на земле надо оставлять крупные следы; малый след скоро зарастает травой. Наутро будет крик, шум, споры и изумление, трясущиеся поджилки, вопли, может быть, заболевание от восторга, — что до того? — это жизнь, ее судорога, гримаса, вой и улыбка, — всякая жизнь хороша.

Луна взошла выше; ее круглый скелет свел гла-

за вниз, выбелив до горизонта шоссе. Шоссе в том месте лежало растянутым римским V, — столь растянутым, что оно напоминало скорее середину двойного изгиба лука. Стоя на возвышении дороги, я видел, как противоположное далекое возвышение пересекалось темной чертой. Там возникла и стала расти точка; она увеличивалась, как расплывающееся по бумаге чернильное пятно; пятно сползало к центру вогнутости с волнующей меня быстротой. Некоторое время я шел навстречу явлению, однако оно быстро остановило меня. Я не ошибся — серый автомобиль уже поднимался навстречу мне с той неприятной легкостью автомата, какая уничтожает обычное представление об усилии. Свернув к кустам, я притаился в их сырости; теперь меж мной и автомобилем оставалось столь небольшое расстояние, что я мог рассмотреть людей, — мог сосчитать их. Их было четверо и тот самый шофер в очках, которого я видел вчера. Они осматривались; один что-то сказал другому, когда машина пронесла рыкающий треск свой мимо меня.

Все было для меня ясно теперь. Это началась охота, месть, может быть, низменная и ужасная. Как напечатанные, стояли в воздухе те буквы и цифры, какие увидел я, изнемогая от ярости, и

эти буквы были «С. С.», цифры те были «77—7». Воистину, я был близок к безумию. Трясясь, как будто я уже был схвачен, я искал помраченными движениями иной дороги, чем та, какой уже завладел враг мой; я спотыкался в кустах, но идти не мог. Ямы и корни так тесно сплелись между собой, что я шел, все время словно проваливаясь среди груд хвороста; сухой терн цапал за платье. Кроме того, я шел с шумом, опасным для меня в смысле погони: иные ямы были так глубоки, что я падал с болезненным сотрясением во всем теле.

Остановясь и отдышавшись, я вновь приблизился к шоссе и выглянул. Дорога была пуста. Ни слева, ни справа не доносилось ни малейшего шума; поэтому, зная, что всегда могу скрыться в кусты, я вышел на шоссе с целью пробежать как можно быстрее возможно большее расстояние.

Итак, я побежал. Некогда я бегал так хорошо, что выигрывал в состязаниях. Искусство бегать не изменило мне и теперь, — дорога правильными толчками мчалась подо мной взад; быстрое движение воздуха охлаждало разгоряченное лицо. Между тем я очень устал, но я не позволял утомлению осилить себя.

Из этого состояния меня вывела выбоина, — небольшая черная яма, приметив которую

впереди, я с изумлением установил, что не могу достигнуть ее с той скоростью, какую принял мой бег. Будучи невдалеке, она приближалась так медленно, как если бы обладала способностью произвольно увеличивать расстояние. И тогда, с тоской оглянувшись, я понял, что не бегу, а иду, еле волоча ноги; довольно было этого обратного толчка — я сел, но не мог даже сидеть; склонясь на руки, лицом в сторону ущелья, услышал я по отзвукам отдаленной дрожи земли, что погоня вернулась. Не прошло двух минут, как серый автомобиль начал налетать издали, — ко мне, готовому принять последний удар.

Я чувствовал, что бессилен пошевелиться. Я был так исступленно, бесконечно слаб, что не ощущал даже страха. Страх мог спокойно сидеть на моей шее сколько хотел, без всякой надежды вызвать малейшее искажение лица и души. Я был неподвижен, распластан, был как сама дорога. Твердой воображенной улыбкой встречал я приближение свистящих колес. Смерть — вместо солнечной, живой пропасти ликующего бессмертия — уже тронула мое лицо светлой косой луча, протянутого наползающим фонарем, — как вдруг эта железная кошка, несущаяся наперерез моего тела, застукала глухим громом, свернула и

остановилась. Из нее выбежали четверо, подняли меня и перенесли на сиденье. Лишь двинув рукой, я тотчас сполз с него, перестав видеть, почти перестав слышать, — казалось мне, что глубоко под землей рвут толстый брезент.

## XI

Я очнулся в высокой небольшой комнате, с подозрительной тишиной вокруг и с глухой дверью. Сам я лежал на кровати, имея слева от себя небольшой столик, на нем стояли цветы — чрезвычайно искусная подделка: их лепестки (я их нюхал и трогал) обладали точь-в-точь таким же влажным холодком и такой же скользкой мягкостью, как настоящие, — они даже пахли, как настоящие. Дотронувшись до головы, я почувствовал, что она забинтована. Под потолком опускала круглую тень зеленая лампа. Себя же я чувствовал довольно сильным, чтобы говорить и требовать объяснения по поводу моего плена. Увидев провод звонка, я нажал кнопку.

Дверь открылась, и появился человек, которого я видел, несомненно, первый раз в жизни. Он был плотен и прям, с решительным, квадратным лицом и неприятно ясным взглядом, через очки.

Его покровительственная улыбка, очевидно, относилась ко мне, так как моя беспомощность и моя слабость были ему приятны.

— Кто бы вы ни были, — сказал я, — ваша обязанность немедленно объявить мне, где я нахожусь.

— Вы в квартире доктора Эмерсона, — сказал он, — я — Эмерсон. Лучше ли вам теперь?

— Меня похитили, — ответил я таким тоном, чтобы было ясно мое желание прежде всего знать, что произошло за время беспамятства. — Кто вы — друг или враг? Зачем я приведен сюда?

— Я вас прошу, — сказал он с удивительной невозмутимостью, — быть совершенно спокойным. Я друг ваш; мое единственное желание — как можно скорее помочь вам выздороветь.

— В таком случае, — и я встал, свесив с кровати ноги, — я немедленно ухожу отсюда. Я достаточно здоров. Ваши действия будут известны королевскому прокурору.

Он тоже встал и позвонил так быстро, что я опоздал схватить его за руку. Немедленное появление трех рослых людей в белых колпаках и передниках заставило меня откинуться на подушку в прежней позе — сопротивление четверым было немыслимо.

Лежа, я смотрел на Эмерсона с отчаянием и негодованием.

— Итак, вы в заговоре со всеми другими, — сказал я, — хорошо, — я бессилен. Уйдите, прошу вас.

— О каком заговоре говорите вы? — спросил он, делая знак людям выйти. — Здесь нет никакого заговора; вам предстоят лечение и отдых.

— Вы притворяетесь, что не понимаете. Между тем, — и я описал рукой в воздухе круг, — дело идет о заговоре окружности против центра. Представьте вращение огромного диска в горизонтальной плоскости, — диска, все точки которого заполнены мыслящими, живыми существами. Чем ближе к центру, тем медленнее, в одно время со всеми другими точками, происходит вращение. Но точка окружности описывает круг с максимальной быстротой, равной неподвижности центра. Теперь сократим сравнение: Диск — это время, Движение — это жизнь и Центр — это есть истина, а мыслящие существа — люди. Чем ближе к центру, тем медленнее движение, но оно равно во времени движению точек окружности, — следовательно, оно достигает цели в более медленном темпе, не нарушая общей скорости достижения этой цели, то есть кругового

возвращения к исходной точке.

По окружности же с визгом и треском, как бы обгоняя внутренние, все более близкие к центру, существования, но фатально одновременно с теми, описывает бешеные круги ложная жизнь, заражая людей меньших кругов той лихорадочной насыщенностью, которой полна сама, и нарушая их все более и более спокойный внутренний ритм громом движения, до крайности удаленного от истины.

Это впечатление лихорадочного сверкания, полного как бы предела счастья, есть, по существу, страдание исступленного движения, мчащегося вокруг цели, но далеко — всегда далеко — от них. И слабые, — подобные мне, — как бы ни близко были они к центру, вынуждены нести в себе этот внешний вихрь бессмысленных торопливостей, за гранью которых — пустота.

Меж тем одна греза не дает мне покоя. Я вижу людей неторопливых, как точки, ближайшие к центру, с мудрым и гармоническим ритмом, во всей полноте жизненных сил, владеющих собой, с улыбкой даже в страдании. Они неторопливы, потому что цель ближе от них. Они спокойны, потому что цель удовлетворяет их. И они красивы, так как знают, чего хотят. Пять сестер манят их,

стоя в центре великого круга, — неподвижные, ибо они есть цель, — и равные всему движению круга, ибо есть источник движения. Их имена: Любовь, Свобода, Природа, Правда и Красота. Вы, Эмерсон, сказали мне, что я болен, — о! если так, то лишь этой великой любовью. Или…

Взглянув на скрипнувшую дверь, я увидел, что она приоткрылась. Усатое, хихикающее лицо выглядывало одним глазом. И я замолчал.

Эту рукопись, с вложенным в нее предписанием к начальнику Центавров немедленно поймать серый автомобиль, а также сбежавшую из паноптикума восковую фигуру, именующую себя Корридой Эль-Бассо, я опускаю сегодня ночью в ящик для заявлений.

*1923*